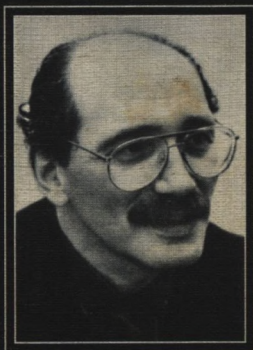


KING COUNTY LIBRARY SYSTEM

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



80189665



Последний герой



CS

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

Author: Kabakov, A.

Title: Poslednii geroi



• ВАГРИУС •
МОСКВА • 1996

**ББК 84 Р7
К 12**

**THIS BOOK CAN BE ORDERED
FROM THE "RUSSIAN HOUSE LTD."
253 FIFTH AVENUE
NEW YORK, NY 10018
TEL: (212) 685-1010**

**ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.**

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.**

**ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.**

**4702010201
К ————— Без объявл.
С82(03)-96**

ББК 84 Р7

ISBN 5-7027-0215-8

**© Издательство "ВАГРИУС",
ИЗДАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 1996**

© А. Кабаков, автор, 1996

© Е. Вельчинский, дизайн серии, 1996

*Одержимым любовью
посвящает эту книгу
растерянный автор*

Пролог

Он, еще голый, сразу шел к стоящей в нише у самой двери маленькой плите, зажигал газ под кофеваркой, с вечера заправленной кофе и залитой водой, — будучи педантично аккуратным и бессмысленно рациональным смороду, с возрастом приобрел к распорядку и мелким обычаям страсть непреодолимую. Огонь тихо шипел, а он шел в душ, открывал воду несильно — чтобы не будить ее, туго свернувшуюся, спрятавшую в подушке лицо от холодного утреннего солнца, лезущего в комнату сквозь щели старых, перекошенных жалюзи.

Она, как всегда, просыпалась тяжело, капризничала. Ну, еще две минутки, просила она, по-детски показывая два указательных пальца, две минутки, ляг со мной, согрейся и меня согрей, пожалуйста, две минуточки.

Кофе остынет, говорил он, ложась, прижимаясь, согревая и согреваясь. Она уже не спала, двигалась, тихо постанывала.

Под окном скреб по тротуару, расставляя маленькие плетеные стулья и тяжелые мраморные столики, знакомый вьетнамец — кафе было слишком дорогое, но в конце недели они иногда ужинали здесь, если заработок был приличный и можно было позволить лишние полсотни, чтобы сразу после еды подняться к себе, лечь, включить вечерние новости, взять в постель бутылочку хоро-

шего белого, обняться, дремать, просыпаться, снова дремать.

Потом, подняв жалюзи, они пили кофе. В окне справа мутно сверкали кони на мосту Александра Третьего, слева заслонял все небо купол Инвалидов.

Он отправлялся на работу. Бобур кипел. Накалялся под берущим дневную силу солнцем корабельный дизель дэка имени товарища Помпиду (старая Володькина шутка, вроде названия Парижск). Независимо от того, щедрой или нет казалась публика, к вечеру у каждого из площадных артистов набиралось примерно одинаково — сотни две-три. Ну, за исключением звезд... Избранная им как объект страстного, но бессловного объяснения в любви, немецкая или голландская туристка, как правило, тоже очень немолодая, в седой стрижке, охотно подыгрывала, ее товарищи по групповому туру охотно смеялись и клали деньги.

Она отвозила в издательство очередную порцию корректуры, брала новую. Иногда удавалось сразу выудить из старой Оболенской сотню-другую за прошлый месяц.

Ночью он думал о том, что было, о том, что едва не отняло у него такой финал. Она уже спала, счастливая, а он все вспоминал, вспоминал... Но наконец засыпал и он, уже перед самым провалом, беспмятством радуясь: а все же всплыл, поднялся. Это она, уже во сне думал он, пока любишь — плывешь... И он плыл, как не плавал никогда в прежней жизни, и спал крепко, как прежде не спал.

Часть первая. **П**аспорт
на предъявителя

В то лето я почувствовал, что наконец начинаю пропадать.

Мысль о неизбежности падения, точнее, ощущение этой неизбежности, или, еще точнее, навязчивая идея социального падения возникла очень давно, и отнюдь не только под сюжетным влиянием многих романов, пьес, очерков и рассказов, но — и, возможно, прежде всего — как нечто, уравнивающее реальную основу моей жизни: с детства проявившуюся склонность к упорядоченности, устроенности, некоторой степени усредненности. Так довольно часто агрессивная мужественность связана с тайной склонностью к половой перверсии, и здоровые мужики щеголяют, запершись, в дамских трусиках и туфельках сорок четвертого размера на каблуках. Кстати, где они их берут? Женская обувь, как правило, заканчивается на сорок первом даже в англосаксонских странах.

Я родился в самый разгар века и его главной войны. Появление мое на свет оказалось побочным результатом некоторых стратегических решений главного командования инженерных войск, в которых в чине лейтенанта и в должности командира роты служил мой отец. Часть, довольно потрепанная авиационными налетами на строившийся ею укрепрайон, была отправлена в глубокий тыл, за Урал, на переформирование.

Мой отец, Иона Ильич Шорников, послал телеграмму моей будущей матери, жившей со своею матерью, сестрами и братьями в Омске, куда они все были эвакуированы из Москвы. Мать выпросила отпуск на заводе, где работала счетоводом, и, втискиваясь на пересадках в скользкие от заледеневшей мочи вагонные тамбуры, поехала куда-то под Челябинск, показывая станционным комендантам телеграмму примерно такого содержания: «До марта нахожусь отдыхе срочно выезжай помощью комендантов Иона». Адреса, по которому матери следовало срочно выехать, в тексте не было, и она поехала просто по указанному на телеграфном бланке в графе «пункт отправления», надеясь, что в маленьком поселке часть отца разыскать будет нетрудно. Коменданты, — возможно, польщенные тем, что все свои надежды на встречу с молодой и, видимо, любимой женой какой-то офицер связывает только с ними и с их добрым могуществом, — действительно иногда помогали матери, но чаще всего она попадала в нужный ей поезд собственными силами...

Забегая вперед, скажу, что вообще историю своей семьи я знаю очень плохо, поверхностно, без деталей. Причин тому несколько, первая из которых — почти полное отсутствие во мне любопытства к собственному происхождению. Вероятно, тут и есть начало процесса, сделавшего меня полнейшим в семействе вырождаком уже годам к двадцати, вырождаком в строгом, без оценки, смысле этого слова: профессия, интимные и бытовые склонности и, как итог, судьба — все в моей жизни было и остается абсолютно не похожим и даже противоположным обычным профес-

сиям, устройству душ, быту и судьбам других членов довольно большой, особенно со стороны матери, фамилии. Соответственно, и мои родители, и бабушка (по маме) не слишком старались обратить меня к корням, бессознательно, вероятно, принимая мою отдельность. Ну, и, кроме того, не исключено, что в их почти безразличном отношении к моему отпадению от рода сказалось понимание, что рода-то никакого особенного нет и нет причин корнями так уж интересоваться. Никого хотя бы отчасти выдающегося: ни городского сумасшедшего, ни лучшего в деревне печника, ни оголтелого картежника, ни, уж конечно, кого-нибудь более существенно преуспевшего среди людей.

...Итак, мать приехала в этот поселок, назовем его Сретенск, и, начав спрашивать на вокзале, побрела искать часть, в которой служит инженер-лейтенант Шорников И.И. По перечисленным выше обстоятельствам я совершенно не знаю каких-либо подробностей этих ее поисков, как, собственно, и всей поездки, а уже описанные (замерзшая моча в тамбурах и тому подобное) мною, кажется, придуманы или позаимствованы из чьего-нибудь чужого рассказа. Более того — я не вполне убежден, что и сама поездка была. Но, коли я существую и известна дата моего рождения, то выходит, что мать и отец мои обязательно должны были увидеться в конце зимы того года, который в официальной истории называется годом перелома войны. А раз уж они должны были повидаться, то более удобного для этого случая, чем переформирование отведенной в тыл части, не придумаешь, согласитесь.

Словом, мать шла по совершенно пустому поселку и искала отца. Было это так. Несло мелкую снежно-ледяную крупу, и несло почти параллельно земле, поскольку ветры в тех краях вообще очень сильные. Ветер вылетал, неся эту ужасную крупу, из переулков на центральную улицу. Было уже темно, часов около шести вечера, но тьма отсвечивала мутновато-белым, снежным светом, хотя, казалось, светиться снегу не под чем: в окнах, почти без исключения, было темно, а звезды и луна, понятное дело, закрылись теми самыми тучами, из которых все сыпал и сыпал снег, вблизи земли встречаемый ветром и менявший полет вертикальный на горизонтальный. Она шла по узкой, в полторы ноги, тропе, прокопанной среди сугробов, уже оледеневавших под новым слоем ледяных кристаллов. Левый сугроб отделял тропинку от дороги, проложенной как раз ротой отца. Правый сугроб служил как бы дополнительной оградой, находясь между тропой и сплошными, переходящими один в другой заборами «частного сектора», домишек и даже изб, которые, в общем, и составляли эту главную улицу. Мама моя шла по тропинке в белесой темноте, почти наугад ставя ноги одну перед другой, стараясь идти по одной линии, как пьяный по доске. И все-таки она уже пару раз оступилась и чувствительно черпанула острого, полусмерзшегося снега ботиками, провалившись в сугроб — раз слева, раз справа.

Тут, я думаю, стоит отвлечься и рассказать, как вообще в то время была одета и, даже шире, как выглядела эта женщина, Инна Григорьевна Шорникова, счетовод бухгалтерии главного про-

изводства завода № 47, жена офицера, находящегося в действующей армии, двадцати шести лет от роду, уроженка города Москвы, из служащих.

Лицо Инны Григорьевны было почти скрыто большим клетчатым платком черно-зеленых цветов, которые можно было бы, конечно, разглядеть только при свете, а в описанной мутной, как сильно снятое молоко в темной бутылке, мгле платок был просто черным.

Такие платки из очень жесткой и тяжелой ткани в крупную черно-зеленую, черно-коричневую или черно-серую клетку по всей стране носили пожилые сельские женщины, хотя были они фабричного дешевого производства и сильно пахли москательной — попросту говоря, керосином, что плохо сочеталось с естественной, казалось бы, для крестьянок природностью и домодельностью жизни. Но на самом деле крестьянки эти назывались колхозницами и никакой природности уже давно в их повседневном обиходе не было. Пушистые платки из бежево-серого и белого козьего пуха, называвшиеся оренбургскими, делались только на продажу, и на станциях их покупали богатые эвакуированные, расплачивавшиеся кто большими пачками денег, сизыми и бурыми крупноформатными бумагами, кто трехпроцентными серыми облигациями, а кто и просто тоненьким золотым колечком с черно-серебристой звездчатой вставочкой, посередине которой сверкал, пускал синие лучики маленький прозрачный не то камень, не то стеклышко...

Впрочем, я еще более отвлекся, так что лучше скажу коротко: платок на Инне Григорьевне был деревенский, но все прочее абсолютно городское

и даже очень модное. Под платком скрывалась темно-красная шляпка, имевшая форму как бы растянутой в ширину и немного приплюснутой пилотки, но сделанная не из сукна, не из офицерской диагонали, а из фетра. Впоследствии, примерно через сорок лет, когда такие шляпки опять вошли в моду, их стали называть таблетками и вновь носить сдвинутыми косо вперед, к правой или левой брови, а тогда, ветреной, пуржистой ночью в поселке Сретенск Инна Григорьевна шляпку надела поплотнее, да еще и примотала сверху платком, который покрывал отчасти и плечи, поэтому не было видно небольшого, вокруг шеи обернутого воротника, представлявшего собой мягкое чучелко рыжей лисички, с головой и лапами, причем лапы были с коготками, а голова смотрела стеклянными глазами почти осмысленно, и, если бы не уже столько раз упомянутый, скрывавший лису платок, можно было бы сказать, что они вдвоем высматривали дорогу: молодая женщина и мертвая лисица с ее плеча.

Такое чучело в гардеробе дам называлось «горжетка», и это был не совсем воротник, а скорее шарф, поскольку он никак не скреплялся с пальто, а просто лежал, обернутый вокруг шеи, на довольно прямых и широких, сильно поднятых ватой плечах, прикрывая простую, заведомо как бы недоделанную, горловину этого теплого, из темно-серого габардина, пальто, в котором, между габардином и атласной, антрацитового цвета подкладкой, был еще целый слой, а то и два, ватина на специальной, крепко пристроченной основе, а в районе груди еще и бортовка, плетенка из конского волоса, который, когда

вещь немного изнашивается, начинает, распрямляясь, вылезать, царапая вдруг чью-нибудь руку, положенную на плечо... Все это вместе, да еще в сочетании с сильной утянутостью пальто в талии, а дальше, вдоль бедер и до середины икр, с узостью, придавало фигуре Инны Григорьевны чрезвычайно модный в сороковые силуэт. И если бы ей снять, черт его дери, надоед, платок, то с темно-красной-то шляпкой на лоб — ну, хоть в Голливуд! А если кто думает, что это все позднейшая выдумка и что никакой моды тогда не было, а были только нищета и страх, то такой реалист сильно ошибается: все было вместе, и мода шла из журналов и кино, из все отделявавшейся тушенкой Америки, из быстренько оккупировавшейся Франции и даже из проклятой Германии.

И Инна Григорьевна от моды не отставала ни в чем, ни в уже описанной одежде, ни в прическе с сильно поднятым надо лбом валиком очень светлых, пергидролью доведенных до такого чудесного цвета от природного темно-русого, волос, ни в почти полностью сбритых и высокими дугами заново нарисованных тоненьких бровях, ни в темно-алой губной помаде, еще из московского магазина ТЭЖЭ в Охотном, с помощью которой были нарисованы губы, гораздо шире и изогнутее настоящих в центре, если можно так выразиться, зато кончающиеся далеко от натуральных уголков рта, чем он и превращался в желаемое «сердечко»...

Словом, еще долго можно было бы описывать эту молодую даму, Инну Григорьевну Шорникову, прекрасно выглядевшую в середине сороковых, ее короткий, немного широковатый и ту-

поватый, но ровный носик, круглые — немного слишком — темно-голубые, называвшиеся тогда фиалковыми, глаза и — тоже немного слишком, но не очень — выступающие скулы над слегка подрумяненными не только ветром щеками, но уже хватит. И так я увяз в отступлениях и описаниях, и мой рассказ совершенно не движется.

А между тем, ведь рассказ мой только о том, как одним недавним летом я начал пропадать, в соответствии со старым предчувствием, и как пропал, и что было после этого. Рассказ этот, как нетрудно понять, для меня необыкновенно важен, и я доведу его до конца, чего бы ни стоило и как бы ни сбивали меня с толку отвлечения и описания всякого рода подробностей, которые я очень, признаться, люблю.

Вернемся же в поселок Сретенск (скорее, все же, небольшой город), по которому моя без девяти месяцев мать шла ночью в конце января, прикрывая лицо от снежно-ледяной крупы надвинутым низко старушечьим платком. Молочная муть неслась косо, дома были слепы, сугробы высоко белели по обе стороны тропы, и бедной моей будущей матери вдруг стало страшно. То есть ей стало страшно, как только она поняла, что идти ночью по темному и пустому незнакомому городу очень страшно.

Но когда она это поняла и испугалась, тут же и заметила метрах в пятнадцати впереди, на максимальном расстоянии не то чтобы видимости, но различения в темноте еще более темных силуэтов, фигуру, вероятно, человека, движущуюся, кажется, по тропке ей навстречу. Но поскольку пятнадцать, максимум, метров — рас-

стояние небольшое, то бедная женщина даже не успела толком испугаться, что сейчас с нее могут снять лисью горжетку, а то и целиком пальто. Эту горжетку, честно говоря, она и надела-то в дорогу не столько для того, чтобы предстать перед любимым и повоевавшим мужем во всей привлекательности и шикарности, тем более, что именно он ей перед самой войною эту вещь и купил из своих отличных инженерских зарплат, — кажется, чуть ли не четыреста рублей в месяц, — что, впрочем, могло бы быть такой дополнительной причиной рискованного наряжания в дорогу, как доказательство верности и памяти, — если бы главная причина не была более практической: она допускала обмен меха на билет или еду, если в пути уж совсем туго придется.

И вот теперь горжетку могут просто взять и снять.

Человек же, понятное дело, в это мгновение успел подойти близко и остановиться прямо перед нею, перегородив узкую дорожку.

Человек этот показался ей с мгновенного и испуганного взгляда морским офицером. Сейчас, вроде бы, странно и необъяснимо, почему Инна могла предположить встречу в ночном южно-уральском городке именно с морским офицером, а на самом деле все было логично и просто. Во-первых, любой мужчина в то время с наибольшей вероятностью мог быть и был военным; во-вторых, этот был одет в нечто длинное, черное, узкое в талии, а на голове имел черный же, сильно сдвинутый набок убор, что в белесой тьме больше всего походило на флотские шинель и

фуражку; в-третьих, он должен бы быть офицером, а не матросом второй статьи, допустим, или главстаршиной, потому что женщина каким-то образом почувствовала — человек немолод, очень немолод, таких не призывают, они кадровые.

Инна Григорьевна, мама моя, сообразила все это в одно мгновение и в то же мгновение успокоилась, поскольку капитан первого ранга, или даже третьего, не станет, конечно, снимать с нее горжетку, а, напротив, как человек военный, может помочь разыскать ее военного же мужа.

И точно! Так ведь и вышло... Кто ж тогда мог знать, что кончится все горестями, ночными моими слезами на кухне, ужасным этим летом... Кто ж мог знать, а хоть бы даже она и знала, куда ей, в самом деле, было деваться ночью, в чужом месте, если она приехала мужа повидать?

— Вы Инна Шорникова? — спросил человек, близко придвинув к ней лицо, чтобы слышно было сквозь ветер и шуршание острого снега. Голос его был хриповат, по естественной простуде, очевидно, а лицо темновато, так что почти не видимо, но она разглядела довольно большие усы и, кажется, еще какую-то растительность, что окончательно утвердило ее в догадке: да, моряк.

— Шорникова? — повторил встреченный уже с раздражением и почти грубо. И добавил нечто совсем непонятное: — Я же вижу, что Шорникова, чего ж молчать-то? Странно...

Теперь, казалось бы, Инне и окончательно успокоиться, приняв, допустим, встреченного за какого-нибудь мужниного сослуживца, переведенного, предположим, в инженерную сухопут-

ную часть из флотских инженеров, и, опять же, сделаем предположение, сблизившегося с Яном — так она называла своего мужа, Иону Ильича — настолько, что мог видеть ее фотографию. Так что, будучи зорким моряком, опознал ее по фотопортрету в темноте... В общем, понятно.

Но, напротив, Инна не поддавалась в мыслях этой несколько условной, но все же логике, а просто ужасно встревожилась, услышав свою фамилию ночью. И, возможно, от обострения чувств вообще, вызванных этой тревогой, она вдруг вспомнила стихи или песню, которых вспомнить не могла, потому что стихов этих, да и песни, конечно, в то время просто не существовало, хотя впоследствии... Но об этом позже. Сейчас лучше привести без объяснений те строки, которые прозвучали зимней ночью сорок третьего года во взбудораженном женском сознании Инны Шорниковой:

Ранним утром на Пушкинскую зарюлю,
а точней, на Страстную...
Уходя, напоследок, тебя полюблю
и во сне поцелую,
и на улице Горького, то есть Тверской,
не поев, закурю я...

Тут в сознании возник некоторый пробел, несколько строчек были неразборчивы, а в пробел немедленно встрял мужчина в черном:

— Да хватит же вам, дамочка, молчать, честное слово! Ну, Шорникова вы, Инна Григорьевна, муж ваш, Иона Ильич, вас уж заждался, а вы ночью по Сретенску топаете в совершенно, между

прочим, обратную от расположения его части сторону, да еще и вырядились, как фифа какая, видать, хотите, чтобы раздел кто-нибудь из местной шпаны или дезертиров, да еще и стихи дрянные вспоминаете, не написанные, кстати, пока...

Но как раз на этих словах пробел закрылся, и в Инниной памяти появились еще какие-то строчки, вроде вот этих:

...и заплачу на Бронной, не слишком Большой,
но непреодолимой,
о себе, и тебе, и, конечно, о той
тишине над долиной...

К изумлению и даже ужасу своему женщина услышала эти слова, произносимые ее собственным голосом, как бы в ответ сверхъестественному, но раздражительному незнакомцу, охнула про себя — «Господи, как неудобно, он же меня за сумасшедшую примет! И чьи ж это стихи? Не Симонова...» — но тут уж ей стало не до стихов.

Потому что черный человек подступил к ней совсем вплотную и поднял.

Сделал он это следующим образом: несколько отклонившись в сторону и даже став одной ногою на откос сугроба, взял Инну Григорьевну под мышку, как берут ставшего в лужу или другим образом напроказившего ребенка, ноги которого при этом болтаются в воздухе почти параллельно земле, само же дитя извивается и орет. Инна, конечно, не заорала и извиваться не стала, напротив, она вся обмякла, голова ее свесилась, так что шляпка и удержалась-то лишь благодаря платку, и ноги свесились тоже, суконные ботики

на резиновых литых подошвах, повторяющих форму вставленных внутрь ботиков туфель на среднем каблучке, косо легли друг на друга, и по всей фигуре молодой дамы, только что обруганной «фифой», вспомнившей неизвестные ей, да и никому еще, стихи и наконец оказавшейся под мышкой у почти незнакомого мужчины — по всей ее фигуре стало понятно, что Инночка Шорникова потеряла сознание.

Причем именно потеряла и именно сознание — только так можно определить то, что с нею произошло, а не «погрузилась в беспамятство», например, или «лишилась чувств». Совершенно напротив: никакого из свойственных человеку чувств она, свисая мягкой куклой с руки высокого в черном, не утратила и память сохранила, и потом долгие годы помнила этот удивительный случай, хотя вспоминать вслух не любила, более того — честно говоря, никогда и никому не рассказывала, даже мужу своему Ионе Ильичу Шорникову и, конечно, мне, своему сыну, Михаилу Яновичу Шорникову. Поэтому, как обычно бывает с тайными эпизодами жизни, с течением времени все стало искажаться, утрачивая одни и приобретая другие детали, меняя очертания и даже последовательности. Тем не менее, случай был, она знала точно. А что сознание потеряла, так это ничего не значит, просто Инна перестала сознавать, насколько странно, необъяснимо и, может, даже опасно то, что с нею происходит, это сознание как бы выпало из нее, как могли бы сейчас выпасть из карманов и потеряться в снегу монеты или ключи — но у нее в пальто не было карманов, а сознание именно потерялось, раз —

и нету, исчезло, и ничего уже не странно и не страшно, просто висешь себе в воздухе, под мышкой какого-то мужчины в черной, кажется, шинели, возможно, флотского офицера и, кажется, он говорит хриповатым своим простуженным голосом:

— К мужу, к мужу, Инночка! И немедленно делом займитесь... Заодно, хе-хе, и согреетесь...

Поскольку сознание Иннино уже было потеряно, то единственное, что заметила она в этих словах, была их явная скабрёзность, или, как она это определила, «сальность». Так она, как ей показалось, и ответила, немного косо продолжая висеть в воздухе:

— Перестаньте сальности говорить, а еще офицер! А если действительно знаете, то проводите меня, пожалуйста, к Яну... то есть, конечно, к лейтенанту Шорникову Ионе Ильичу, моему мужу, который... где-то здесь...

Тут Инна, как ей послышалось, наконец расплакалась, хотя имела все основания сделать это гораздо раньше. Всхлипывания черного мужчину, как и любого другого, заставили засуетиться, то есть: переступив с ноги на ногу, слегка Инну встряхнуть, как если бы он хотел привести ее в сознание, которое она потеряла, затем откашляться, а затем начать быстро расти в высоту за счет удлинения исключительно ног или чего там было под достающими до земли полами шинели, причем замечу, что и полы эти одновременно и соответственно удлинялись, так что продолжали доставать до земли, хотя Инна уже оказалась на высоте не то четырех, не то шести метров, сам же растущий товарищ, прокашлявшись, но, все равно хрипло, сказал:

— И никакие это не сальности, Инночка, а совершенно серьезная вещь. Вы ж на врача не обидитесь? Ну вот, а я тоже... в каком-то, конечно, смысле, но доктор, и совершенно ответственно вам говорю: если вы не хотите, чтобы какая-нибудь ерунда вышла, а именно в октябре и именно его, то тянуть нечего... Да и Ян тоже... вы ж больше полутора лет не видались, вы соображаете?! Все, хватит с вами болтать, пошел я...

И пока уж не висящая, а как бы парящая высоко над землю Инна пыталась — без сознания — понять смысл жуткой чепухи, которую нес черный насчет своего докторства, какого-то октября и прочего, человек действительно пошел. Он сделал шаг, другой, третий, переступил через забор, через проулок, еще немного подрос, перепрыгнул, чуть присев перед прыжком, через какой-то кирпичный барак... в белесой, все убыстряющей полет снежной мути... в сизо-черной тьме... в беззвездной и безлунной ночи... и смерзшийся, ломкий и острый на изломе верхний слой лежавшего на земле снега не скрипел под шагами... и тень идущего ползла по небу среди других теней, среди теней снеговых туч... и женщина косо, раскинув руки, чуть согнув в колене одну ногу, как всегда делают лежащие на боку женщины, летела в небе, на фоне этой черной длинной тени, несомая тенью... и еще шаг.

— Кто там? — вглядываясь в струи крупы и в тьму ночи, спросил лейтенант. Он стоял на крыльце в плохую, без портянок натянутых яловых сапогах, в бриджах с высоким корсажем и в

нижней байковой рубаше фасона «гейша». Бриджи и сапоги он натянул, услышав стук в верхний край оконной рамы и чей-то голос за окном, называвший, кажется, его мало кому известное, домашнее имя. Голос был мужской, вроде бы, а лейтенант не припоминал ни одного мужчины, которому было бы можно так звать лейтенанта Шорникова. «Ян!» — еще раз произнесли за окном, и лейтенант, сминая голенища, вбил ноги в сапоги, кинулся в сени, вернулся, сунул руку под подушку, снова кинулся к двери...

Чего он так спешил? И почему так уж взволновался? Неужто, отвоевав полтора года, не испытал много чего куда более волнующего, чем звук в ночи собственного имени, хотя бы и малоизвестного, хотя бы и произнесенного мужским голосом... Кто ж теперь знает, чего так всполошился в ту ночь Иона Ильич. Но выскочил на крыльцо и закричал во мглу: «Кто там?!»

И увидел женщину, лежащую на снегу под тем окном, в которое стучали, и побежал к ней, а дверь тут же хлопнула от ветра, и снова открылась, и снова хлопнула, а Иона уже склонился над женщиной и увидел, что это жена его Инна лежит под окном комнаты, которую он за два дня до того снял у семейства местного военкоматского старшины именно для свидания с Инной, телеграмму о выезде от нее он ждал на адрес части, а комнату снял, честно и просто говоря, чтобы спать в ней с женой, ужасно по ней соскучившись, но телеграммы все не было, а жена вот лежала на снегу, и он поднял ее, и внес в комнату, положил на кровать, вернулся запе-

реть дверь, зажег свет и стал при свете раздевать жену, развешивая по стульям ее одежду для просушки и согревания, уложил жену под одеяло, разжег прогоревшую уже и начавшую остывать печь-голландку, а когда вернулся к постели, размышляя, как же приводить Инночку в чувство — успев убедиться, что она просто в обмороке и никак не повреждена, и даже дышит довольно ровно — когда вернулся к кровати, он увидел, что жена уже пришла в чувство.

Ей стало жарко, она откинула одеяло, посмотрела на него темно-голубыми глазами, в свете десятилинейной лампы казавшимися не фиалковыми даже, а лиловыми, она села на постели в одной сорочке, собственноручно сшитой из старого куса белого батиста и собственноручно же украшенной тонкой розовой лентой и пробивками, она протянула к мужу руки — как в каком-то, еще немом, фильме, она видела в детстве, протягивала к мужу руки героиня — и что-то сказала, не важно, что именно.

Было это в конце января сорок третьего года. В октябре Инна Шорникова родила сына и назвала его Мишей — в честь своего покойного брата. Иона Шорников, к октябрю уже старший лейтенант и начпотех строительного батальона, в это время рыл со своими пленными и охранявшими их сержантами раскисшую глину где-то на Украине. Письма от него приходили довольно регулярно, по аттестату Инна получала неплохо, а всякие распашонки и прочее умудрилась добыть из американских посылок — заранее покупала на толкучке.

Почему, начав свой рассказ о том, как прошлым летом я стал пропадать, я тут же отвлекся и так подробно изложил историю своего рождения, или, если быть точным, зачатия? А Бог его знает, почему... Во всяком случае, история эта мне кажется очень существенной, и не только из-за того, что мистическая ее фабула мне льстит, демонстрируя заинтересованность неких высших — возможно, дурных, но высших — сил именно в моем появлении на свет, но и в связи с кое-какими событиями в моей жизни, с которыми это доисторическое по отношению ко мне происшествие представляется связанным.

Но не буду торопиться.

Продолжу лучше описание своего летнего пути на дно, в ничтожество, своей наконец удавшейся попытки пропасть.

Главной, не подберу другого слова, предпосылкой моей гибели стало пьянство.

Рассказывать, как люди спиваются, смешно и глупо. По-русски про это написаны сотни рассказов, романов, пьес, очерков, статей и монографий. Но, с другой стороны, и про любовь написано не меньше, а все пишут и пишут...

Однажды — дело было летом, в конце июля — я ехал в поезде. Ехал я из одного южного города в другой южный город, дороги там было часа на четыре-пять, а жара стояла ужасная, под сорок, так что никакой еды я с собою не взял, а купил зато на вокзале почему-то вполне свободно продававшегося чешского пива «Праздрой», две бутылки... нет, три, и к тому маленький кулечек

соленых сушек, бараночек таких очень твердых, обсыпанных крупными кристаллами соли, которая по их внутренней поверхности налипла погуще, а с внешней, особенно с узких закруглений — сушки имели форму овальную — осыпалась, и эти поверхности блестели коричневым как бы лаком, в то время как в остальном сушки были просто желтенькие с белыми солевыми крапинками. Вот с этими сушками и пивом в портфеле, — тоже, между прочим, чешском, наполненном, кроме того, электробритвой «Харків», зубной пастой «Колинос», двумя рубашками «Дружба» и прочей бытовой мелочью различного происхождения, — с таким багажом я и вошел в купе, поскольку билет, даже и на короткую дорогу, мама мне велела брать в купейный вагон, чтобы ехать прилично, а не в запахах и грязи плацкартного или, тем более, общего.

Происходило все это, кстати, в шестьдесят первом, и, следовательно, мне тогда было около восемнадцати лет, еще не исполнилось.

В купе два места уже были заняты, но чисто условно, потому что мои попутчики, как я сразу почему-то понял, тоже ехали недалеко, и никто не собирался размещаться по собственным, указанным в билетах, верхним и нижним полкам, а просто сидели за маленьким, укрепленным металлическим подкосом столиком и разговаривали.

Слева я увидел женщину — или даму, поскольку дело происходило на юге — средних лет, как я оценил, а на самом деле вполне еще молодую, полную... а больше ничего не помню. Справа же сидел морской офицер в полной летней

форме, как из музыкальной комедии «Севастопольский вальс», то есть в белом кителе со стоячим воротничком и серебряными инженерскими погонами, в белых брюках и даже в белых ботинках. Фуражка его в белом полотняном чехле лежала рядом с ним, и там же стоял маленький чемоданчик.

Чемоданчик этот я запомнил очень хорошо потому, что он был точно такой, какой мне самому хотелось иметь еще с детства, когда родители ездили отдыхать в военные санатории в Сочи или Юрмалу и брали меня с собой, снимали для меня койку у какой-нибудь санаторской горничной или сестры. У нас таких чемоданов не было, а были самые обычные, фибровые, со стальными уголками и ручками, но на пересадке в Москве или Харькове — мы ехали с пересадками из какого-нибудь военного городка — я иногда видел молодых людей с такими чемоданами, пиджаков, как их называл отец. Молодые люди быстро шли по перрону, мимо носильщиков с ляжками, милиционеров со шнурами вокруг мундирных воротников, мимо перронных открытых столовых с длинными столами, за которыми пассажиры дальних поездов ели борщ и котлеты с вермишелью во время долгих стоянок, а молодые пиджаки, в кремовых пиджаках с короткими рукавами, в серых летних туфлях, в голубоватых брюках шли мимо и несли эти чемоданчики — черные, лакированные, обшитые по ребрам желтой кожей.

Вот и рядом с капитаном третьего ранга стоял такой чемодан, из самых небольших. Тогда, в шестьдесят первом, он уже не был для меня так

притягателен, поскольку в моду вошли чешские пузатые портфели и чемоданы из толстой красноватой кожи, а черный лакированный как раз и остался провинциальным щеголем, вроде флотского, наверняка добирающегося до столиц из Севастополя, фасоня по дороге белым кителем и лакированной балеткой (так тогда назывались маленькие чемоданы) — но все же я отметил про себя эту блестящую, хотя и старомодную роскошь.

Войдя в купе, я поздоровался, поставил портфель на вторую полку и сел рядом с моряком, ближе к двери, по другую сторону проклятого чемодана. Тут же поезд тронулся, сразу после станционных стрелок въехал на мост, прогрохотал по нему, и за окном начало темнеть, день будто остался в том городе, который я на время покидал.

Офицер вздохнул почему-то довольно горестно, но тут же и засмеялся, извинился перед соседкой, — которая ничего не ответила, глядя в темнеющее все быстрее окно, — расстегнул белый китель, под которым обнаружилась глубоко вырезанная майка-тельняшка, и произнес следующее:

— Люблю на паровозе ездить, не потонешь! Шучу. Поздравляю вас, дорогие товарищи, с нашим праздником! И предлагаю всем налить.

При этом он только улыбался и не сделал никакого движения, чтобы, допустим, действительно что-нибудь налить, да и нечего было наливать: на столике, кроме хорошо постиранной и накрахмаленной, слегка съехавшей под локтем нашей попутчицы салфетки, не было ничего.

Соседка, продолжая смотреть в окно (ну, не помню я ее лица, и вообще не помню, хоть убейте, полная — и все), спросила:

— А какой же у вас праздник, извиняюсь, конечно?

Но не успел моряк ответить, как я, будучи довольно сообразительным юношей, вспомнил и воскликнул:

— Ну, как же, конечно. С Днем Военно-Морского флота вас, товарищ капитан третьего ранга! С праздником!

Затем я вскочил, причем, хотя вагон как раз в это время слегка качнуло, ловко, как мне показалось, избежал удара лбом о верхнюю полку, стащил с нее портфель и немедленно вынул оттуда сушки и три... нет, все же две бутылки «Праздроя». Моряк молча и строго установил пиво на столик, поближе к окну, так же молча развернул кулечек, чтобы удобнее было брать сушки и, повернувшись, щелкнул замками чемодана. Я успел увидеть мыльницу из перламутровой пластмассы, никелированную коробку с кисточкой для бритвы и какую-то незначительную одежду, но чемодан уже закрылся, а на столике, посередине, оказалась поллитровая зеленоватая бутылка, налитая до верху горлышка прозрачной жидкостью, заткнутая свернутым газетным обрывком и обмотанная поверх него синей пластиковой изоляцией, тогда еще только в военной промышленности появившейся — прочие пользовались черной матерчатой. Дама тоже почему-то вздохнула, не вставая низко наклонилась, вытащила из-под сиденья сумку, развязала носовой платок, которым были стянуты ручки и, не раз-

гибаясь, стала выкладывать на стол помидоры, огурцы, кусок жареной рыбы в газете, соль в спичечном коробке и половину высокого круглого белого хлеба, который в тех краях называется паляницей. Моряк, все так же молча, глянул на меня, но я уже и сам все понял: как младший, я встал и отправился к проводнице за стаканами, которые она, вынув из стальных подстаканников (с выдавленными на них буквами «МПС» и изображениями локомотивов, здания МГУ на Ленинских горах и главного входа ВДНХ), без возражений мне и вручила.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, я иногда размышляю о том, как повернулась бы моя жизнь, не случись тогда в купе праздничного капитана третьего ранга со спиртом, сэкономленным его морячками на протирке приборов, наверное, или заартачься, как иногда бывает, проводница и не дай мне стаканов, или хотя бы соседка скажи: «А вам не много будет, я извиняюсь, конечно...» — когда морячок вбухал мне в стакан почти под край неразведенного, столько же, сколько и себе, предварительно, разумеется, со всей галантностью налив на палец — «Ой, мне ж хватит, хватит!» — даме... Или закашляйся я после первого глотка, опозорюсь, не допей... и все пошло бы по-другому, и не было бы ни бессонниц горестных, когда ни с того ни с сего вдруг взвоешь тихо, вожмешься мокрым лицом в подушку, понимая, что все идет к концу, и эта проклятая жизнь катится под уклон, и скоро уже исчерпается — хорошо, если инфарктом — отпущенное мне, а еще не все, не все было, и встанешь, тихо достаешь недопитое, тихо откручива-

ешь пробку, стакан искать лень, да и звякнешь еще нечаянно, так что прямо... Боже мой, Боже мой, за что Ты, Милосердный, послал мне все это — горький этот спирт спирта, сладкий этот спирт любви, огненный этот спирт жизни, и почему от пьянства болит печень, и почему от любви страдают те, кто не любит, а что же делать, что делать...

Вы, может, и сами замечали, что о чем бы ни начали думать — о самых, казалось бы, отвлеченных вещах, — но если думаете ночью, то уже через минут десять от всей мысли остается только «Что делать? Что делать?», которое твердит внутри вас какой-то идиот.

Ну-с, а что касается той истории в поезде, то развивалась она вполне естественным образом. Я резко выдохнул, как и полагалось по имеющимся у меня откуда-то сведениям, в два глотка проглотил спирт, услужливый моряк отколупнул — специальной штукой, имеющейся под столешницей — крышку с одной из бутылок пива и дал мне, задохнувшемуся, запить, потом я съел половинку помидора, подернувшегося как бы инеем на разломе, потом угостил моряка сигаретой «Шипка» и вышел с ним в коридор покурить, а потом упал.

В свои почти восемнадцать лет я уже давно и курил, и водку пил вполне исправно, но тонкий стакан спирта, залитый пивом, действие оказал серьезное.

Моряк, как впоследствии выяснилось, не посрамил ни офицерского звания, ни флота, в честь праздника которого едва не отправил меня на тот свет. Как только поезд прибыл на место, он, не

стесняясь погон и не жалея своей белизны, будучи совершенно трезвым, дотащил меня до вокзального медпункта, откуда сначала меня было хотели отправить, понятное дело, в вытрезвитель, но потом передумали. Роль тут сыграли три вещи: обаяние и настойчивость элегантного морского офицера, доброта фельдшерицы и то, что она не обнаружила у меня пульса. Тут милая девушка засуетилась, вкатила мне в предплечье камфару, влила, едва я задышал, в меня пять литров теплой воды с марганцовкой, сделала еще один укол и спасла мне жизнь.

Моряк, увидав, что я открыл глаза, попрощался с фельдшерицей и пошел добывать место на Ленинград. Я же остался лежать на клеенчатой кушетке, портфель мой стоял рядом на полу, и рядом же, на стуле, была сложена вся одежда, а я лежал в одних трусах из синего сатина, чувствовал спиной сквозь довольно ветхую медпунктовскую простынку липкий холод клеенчатой обивки и смотрел в потолок, то надвигающийся на меня, то взлетающий в отчаянную высоту, сердце стучало так, что мне было самому слышно, несмотря на звон в ушах, и наступила ночь, фельдшерица выключила свет и что-то сказала, кажется, насчет того, что до утра, так уж и быть, отлежись, а утром, если что, надо перевозку вызывать и в больницу, я за вас таких отвечать не буду...

Или что-то в этом роде.

Потом она ушла в другую, отгороженную матово-стеклянной ширмой, половину комнаты, где были умывальная раковина, стол для заполнения документов и еще одна кушетка, на которую,

судя по звукам, она, немного повозившись, и легла.

А я заснул.

И во сне она пришла ко мне, и все сделала, что должна была бы сделать добрая девушка с симпатичным молодым человеком наяву, но не сделала, и только во сне, в несчастном одиноком сне едва не отравившегося спиртом насмерть юноши произошло то, что потом происходило бесчисленное количество раз между мною и другими женщинами, после выпивки и без нее, с наслаждением или почти без, в разных комнатах и под открытым небом, но потом, потом! А в ту ночь она не пришла, хотя, засыпая, я почему-то был уверен, что придет, и так с этой уверенностью и заснул, и во сне эта женщина и явилась.

Ее-то лицо, в отличие от лица соседки по купе (интересно, куда она-то делась, когда пришлось со мной возиться? в медпункт меня притащил моряк в одиночку), лицо этой фельдшерицы, спасшей мое тело, с того времени требующее отравы, но погубившей душу, возжаждавшую навсегда любви и никак не могущую утолить эту жажду, — это лицо я запомнил.

Собственно, теория, которой я объясняю почти все, случившееся со мною после той ночи, не лучше и не хуже любой другой теории, то есть полна натяжек, ничем не обоснованных предположений, произвольных допущений и нарушений логики. Хороша же она тем, чем и другие верные теории: она легко и прочно связывает то, что произошло и не произошло в ту ночь в вокзальном медпункте, с тем, что происходило и не происходило со мною всю последующую жизнь. По-

бывав в смерти и вернувшись из нее, я навсегда приобрел страсть к средству, которое позволило проделать мне это самое увлекательное из всех путешествий. И хотя я люблю порассуждать о предпочтительных напитках и их сортах, о нюансах опьянения, о его технологии и психологии, на самом деле, если быть честным, надо говорить об одном: я пытаюсь, все время пытаюсь пройти этот путь в обе стороны, и, думаю, многие мои товарищи по страсти пытаются проделать то же самое, испытав, может быть, однажды — не обязательно с камфарой — но ничего не выходит, только все любезнее предлагает кондуктор one way ticket... Что же до женщины, то и она укладывается в эту теорию. Она обманула ожидания наяву и оправдала полностью в сновидении, став первой и навек оставив этот отпечаток — всегда уклоняться и всегда соглашаться, уклоняться в трезвой жизни и приходить во сне, который по-английски то же самое, что мечта, поить теплой и розовой от марганцовки водою, спасая, и поить своею кровью, губя...

Она пришла во сне.

Я должен описать ее, потому что не было и не будет в мире женщины красивей, и, согласитесь, несправедливо было бы унести с собою это описание.

В тот раз она была темноволоса.

Конечно, никакая стрижка или прическа не могла бы стать подходящей для первой — и последней тоже — любви, поэтому волосы ее просто лежали по плечам, не слишком длинные, но и не короткие, едва заметно вьющиеся, скорее даже

просто растрепанные, и когда она склонилась надо мной, в свете высоко висящей лампы пряди сверкнули красноватым, а их распущенные концы засветились даже темно-оранжевым, и все это вместе напомнило мне старые, вытертые шубы «под котик», которые во времена моего детства были у многих окружавших меня женщин, а потом из этих шуб выкраивались воротнички, но даже и наименее вытертые куски, которые для этого использовались, отсвечивали сквозь лаково-черное красноватым.

Вероятно, она мыла голову хной для укрепления волос.

Из-под очень темных и очень густых, — кажется, такие прежде называли соболиными, — бровей смотрели на меня большие, чуть-чуть косо прорезанные глаза, светло-коричневые, с почти невидимыми зрачками, очень ярко блестящие, и цвет их, темно-золотой, в то время я бы затруднился описать более точно, чтобы можно было представить этот блеск, и сияние, и игру, но теперь, тридцать с лишним лет спустя, жизнь помогает описателям, и я просто скажу: глаза женщины были цвета «коричневый металл».

Тонкий и ровный ее нос, может, чуть длинноватый, на самом кончике был как бы усечен, и получилась едва заметная площадочка, ежиный пятачок. Именно эта, пожалуй, единственная как бы некрасота в ее лице сразу притянула мой взгляд, и я уж не мог его отвести, и сейчас, когда вспоминаю это лицо, чтобы и вы могли представить себе прекраснейшую в мире, я вижу смешной пятачок, и, конечно, слезы мешают мне разглядеть остальное, и я вынужден прерваться и

выпить какой-нибудь дряни, к примеру, болгарского бренди, дешевлешего «Slantschew brjag», чтобы успокоиться.

Рот ее я описать не могу, скажу только, что губы были абсолютно правильной формы, и нижняя, более полная, изгибом и розовым перламутровым блеском напоминала чуть вывернутый наружу край большой морской раковины.

Тонкая шея, тонкие, даже слишком, запястья и очень маленькие ладони, тонкие щиколотки и несколько по-детски расширяющиеся к пальцам ступни — и при этом очень полные плечи и руки до локтя, мощные бедра, талия, которую, казалось, можно обхватить кольцом пальцев — и тяжелый круп, именно круп, поскольку во всей ее фигуре, в тонкокости, сочетающейся с большими округлостями, было очень много от лошади, из тех тонконогих и сильно прогнутых под седлом лошадей, которые скачут или стоят, слегка приподняв переднюю ногу, на старых изображениях.

Грудь лежала низко, темные соски были окружены как бы маленькими сосочками, и в губах моих скользила и распрямлялась ее плоть, тонкая и смуглая кожа, и очень мелко выющиеся волоски, и сейчас еще чувствую я их своим языком, они прилипли к небу, я задыхаюсь, но уже тридцать с лишним лет не могу вздохнуть, и все глубже погружаюсь в эту смуглость, в эту тьму, так что не обращайтесь внимания на мои слова — это просто хрип удушья и счастья. Темная тонкая кожа, темные тонкие пальцы, темные тонкие волосы.

Розовокожие северные блондинки или тем-

новолосые, с зеленовато-желтым оттенком кожи оужанки, крупные или маленькие, полнотелые или тонкие — можно ли говорить, что мы любим их, потому что они такие? Нет, нет, все наоборот — мы любим первую, или последнюю, и она-то и становится образцом, а иные вызывают равнодушие, в крайнем случае любопытство. Не верьте, что кто-нибудь любит блондинок, просто у него светловолосая любовь.

Я обнял ее, и она поцеловала меня под ключицу, и еще раз, точно в середину креста, который уже тогда образовывали на моей груди год от года густевшие волосы, и сердце, еще полное отравы и только приноровившееся снова стучать, опять остановилось, и в эту пустоту, оставшуюся от звука остановившегося сердца, хлынул другой звук, это она что-то шептала, или пела тихо, или просто дышала. Не верьте никому, кто рассказывает о любви. Любовь нельзя рассказать. Можно описать цвета и даже запахи, можно вспомнить слова и стоны, можно назвать все по имени и определить место. Но нельзя передать другому ту пустоту, которая появляется на месте сердца и заполняется иным существом, и рот заполняется иной плотью, и жизнь заполняется иной жизнью, и ее кровь заполняет твои жилы. Так и опьянение нельзя пересказать, нужно, чтобы яд проник в твою кровь.

Я проснулся и сразу же посмотрел на часы. Было около шести утра. Чувствовал я себя прекрасно, если не считать того, что был дико голоден, пустой желудок жестко требовал своего. Одеться удалось почти без звука, потом я загля-

нул за ширму. На столе лежала крупным почерком заполненная бумага. «Шорников М. Острое алкогольное отравление. Ослабление сердечной деятельности, пульс слабого наполнения...» Фельдшерица спала на кушетке, укрывшись серым байковым одеялом с казенным штампом. *Светлые, туго завитые волосы сохраняли круглую, одуванчиком, прическу. Во сне ее дыхание присвистывало, тонкие губы слегка открылись, ноздри вздернутого, немного картофелиной носа вздрагивали. Руки она выложила поверх одеяла, крупные, почти мужские, но довольно красивые кисти лежали мертво.* Под моим взглядом она перекатила голову по подушке и несколько раз часто вздохнула во сне.

Я сунул бумажку с историей своей первой — или последней — любви в карман, взял портфель и вышел, постаравшись прикрыть за собой дверь без стука.

Теперь, когда я начинаю новую работу, меня все чаще преследует безумная идея: а может, плюнуть на все и написать просто обнаженную, смуглую, с тонкой и нежной кожей, с отливающими красноватым мехом «под котик» прядями вокруг лица, с тонкими запястьями и щиколотками, похожую на изысканную лошадь со старой гравюры... Вот она стоит, прямо обращенная к зрителю, ноги ее ниже коленей перечеркнуты, закрыты белой больничной кушеткой, на которой, запрокинув голову, выставив юношеский кадык, лежит не то мертвый, не то спящий мальчик, бледнотелый, блестящий остывающей испариной, и утреннее напряжение натягивает синюю ткань... Или написать светлые, туго завитые во-

лосы, словно одуванчик на подушке, большие кисти на сером одеяле, розовую, немного воспаленную кожу и спину юноши, стоящего над спящей... Или...

Ничего этого я писать не стану. Для кого? Лучше, как обычно, заполню холст блекло-голубым, ровным светом, или бежево-серым, или пересеку его багровой косой полосой — на это уже есть заказ.

Возможно, я бы плюнул на заказ и решился бы, но любовь не напишешь, не стоит и пытаться, да еще и деньги терять. Идея все же время от времени вновь возникает, я как бы созреваю для нее, но каждое следующее созревание все бесплоднее, все яснее видны последствия решительных поступков, цены глупостей, все очевиднее, что неудача похищает время удачи, и уже не можешь себе позволить плюнуть *на все* просто потому, что *этого всего* остается все меньше. Каждое созревание — это кризис, но кризис пятидесятилетнего совсем другой, чем воспаленный подростковый переход, беспутный занос в двадцать пять, отчаянный перелом в тридцать три... Прожившийся тратит совсем по-другому, чем просто бедный, к концу игры ставки скупее.

В общем-то, не слишком все это интересно, и не стоило бы говорить, но пришлось к слову, вспомнил старый и все возвращающийся сон. Ведь главное всегда возвращается, жизнь обязательно замыкает круг.

Лжец будет обманут.

Будет побежден победитель.

У грабителей все отнимут.

И первая любовь вернется последней, и отомстит за вину, которой не было.

3

Я открыл глаза и сразу вспомнил, что с вечера на двери подъезда был приклеен листок: «Уважаемые жильцы! Горячее водоснабжение будет отключено с 10.00 11.VI до 10.00 2.VII. Приносим наши извинения. РЭУ-14». Принесение извинений у дверей подъезда, загаженного по колено, с омерзительно вонючим лифтом, обклеенным засохшей жевательной резинкой с воткнутыми в нее окурками, не могло не вызвать умиления. Эта проклятая жвачка с раздавленными окурками была наиболее отвратительна, даже бродяги, спавшие на каждой площадке, и лужи, вытекавшие из-под них, не возбуждали такой тошноты.

И примите уверения в совершеннейшем нашем почтении, сударь... Искренне ваш, ответственный квартиросъемщик, эсквайр... Остаюсь вашим покорным слугой, техник-смотритель и кавалер...

Вытащив из-под подушки руку, — как обычно, я спал, уткнувшись в наволочку лицом и обняв этот измятый подголовник, из которого время от времени вылезали маленькие, острые, скрученные полукольцом белые перышки, — я посмотрел на часы. Прежде всего в сотый или в тысячный раз порадовался их виду: купленная за гроши на одной из многих нынешних толкучек, «омега» пятидесятых годов утешила чистыми очертаниями, черным, не выцветшим циферблатом, фосфорно-зелеными цифрами и громким, не сбивчивым тиканьем... Затем я сообра-

зился со временем. До страшного мига оставалось еще около двух часов. Я осторожно откинул сбившееся внутри пододеяльника одеяло и сел на кровати, тут же сам заметив, что даже утром поза моя обнаруживает усталость: склонившись вперед, уперевшись локтями в ляжки и свесив кисти меж колен, я с бессмысленной сосредоточенностью рассматривал свои ступни с уже явно проявляющимися косточками и покорежившимися ногтями на некоторых пальцах, узловатые икры, почему-то обезволосившиеся на внешних сторонах, колени в пупырышках, отвисшие мышцы, на которых от локтей останутся красноватые вмятины, и длинные штанины любимых, но уже сильно застиранных клетчатых трусов «боксерс». У самой границы поля зрения болтался крест на тонкой серебряной цепочке, серебряный крест с распятием, и буквами ІНЦІ поверху и ІС и ХС — по бокам.

Иисус Назаретянин Царь Иудейский, Иисус Христос.

Там, где во сне крест был прижат к груди, под волосами остался его багровый отпечаток.

Посидев таким образом минут пять, я решил, что в оставшееся время я использую горячее водоснабжение только для душа и первоочередной стирки, а побреюсь потом, электрическим «брауном», — несмотря на нелюбовь к нему надо опять привыкать, впереди по крайней мере три недели мучений.

Я встал с дивана, и тут же проснулась кошка.

Сначала она сильно вытянулась на подушке во всю длину, выпрямив напряженные задние лапы, так что они оказались похожи на куриные,

торчащие из хозяйственной сумки, ноги, а передними загребая воздух перед собой. Потом она резко скрутилась в кольцо, вывернув голову, и ясно посмотрела на меня одним, уже широко раскрывшимся глазом. Лапы ее при этом соединились все в точке, и она начала месить — выпускать и поджимать когти, растопыривая и сворачивая короткие пальцы с темно-розовыми подушечками. Синий глаз был серьезен.

— Ну, пошли, — сказал я ей, — пошли мыться и стирать, кошка. А то скоро нам воду отключат.

Она побежала одновременно впереди, позади и рядом со мной, путаясь под ногами, норовя от утреннего счастья цапнуть за голую щиколотку. Миновав ванную, мы пришли на кухню, где в одно блюдо я сыпанул ее американских коржиков, созвучных моему любимому напитку, в другое — откромсал кусок мяса, специально замороженного и лежавшего в блюде на верхней полке холодильника, а в литровой кружке сменил воду для ее питья. Она, естественно, сначала все это зарыла, но увидев, что я не реагирую и направляюсь в ванную, тут же захрустела — ну, характер!..

Горячей воды уже не было, конечно. Приносим извинения, сэр...

Слегка охая и отдергиваясь, я помылся холодной, кое-как смывая мыло из подмышек, грея воду в ладонях, чувствуя, что простуда приближается с каждой каплей — вода была просто ледяная, хотя и в июне.

Потом я влез рукой в пластмассовое ведро с грязным бельем и начал выбирать то, что следует постирать сегодня во что бы то ни стало. На-

бралось: носки «берлингтон» в черно-красно-зеленый ромб, уже почти протершиеся, что поделаешь, еще с английских гастролей, из Эдинбурга; трусы, опять же клетчатые и тоже сильно не новые — Франкфурт; голубая рубашка «эрроу», сорок долларов, магазин как раз напротив того театра, на Сорок четвертой улице... Это что ж, выходит, ей уже пять лет?! Выходит, так... Ну, и платок шейный «ланвэн», рю Фобур-Сент-Оноре, изумительный тот год, когда глож от аплодисментов, а рецензии — не читая, не вырезая, всю газету — совал в чемодан на шкафу в прихожей...

Быстро простирал в холодной воде — руки сводило — трусы и носки (так оно даже «для гигиены полезней», говаривал один помреж), я притащил из кухни вскипевший чайник и, вслух проклиная все искренние извинения, начал намыливать воротник рубашки и тереть его специально для этих целей выделенной махровой рукавицей. Я обжигался, но темная полоска не отходила, да и как ей отойти, если носить рубашку столько лет, да еще стирка такая.

Наконец я одолел полоску, расправил рубашку и, не выжимая, повесил на плечики над ванной. Меньше будет проблем с глажкой... И настало самое трудное — платок, фуляр. Намокший шелк тут же перекосялся, слипся в жгут, расправить его, чтобы потереть — а пачкается он, естественно, не меньше, чем рубашечный воротник, — не было никаких сил, руки под холодной струей совсем окоченели, а при первой же попытке воспользоваться еще не остывшим чайником с тряпки потекла красноватая вода, «ланвэн» стал

линять, вот тебе и на, интересно, чего ж это он раньше не линял?

Когда я все развесил и вытер размытые до сморщенной кожи, как положено прачке, руки, было уже около десяти. Жутко захотелось есть, как обычно к этому времени, если накануне пил и ел поздно вечером, если просыпался в пять, растворял соду от изжоги, принимал аллохол и снова задремывал в седьмом часу, чтобы в восемь проснуться уже окончательно... Я надел часы, на время купания и стирки повешенные на крюк, снял с этого же крюка черное, ставшее уже белесым от носки кимоно, натянул его, туго подпоясал и открыл дверь ванной.

Кошка сидела в узком коридоре и внимательно смотрела на меня снизу вверх. У нее не было никаких комплексов маленького существа, она не боялась меня, не завидовала моему росту, обходилась со мной нежно и строго, могла слегка укусить — в основном за то, что я пытался встать или хотя бы сменить позу, когда она сидела у меня на коленях, — а лежа рядом со мной, целовала в губы, по всем правилам, и тут же прижималась к щеке, как это всегда делают давние, привязавшиеся друг к другу партнеры. Она досталась мне стерилизованной, и поэтому теперь наши темпераменты все более совпадали.

— Пошли, кошка, — сказал я, — кофе пить. Ты, рожа, позавтракала, а я стираю целое утро, как золушка...

Но кошка, сделав вялый полупрыжок, повела меня не на кухню, а в клозет, показывая, что прежде всего надо за ней убраться, а потом уж кофе и прочее сибаритство. В этом она была не-

преклонна. Выбросив намокшие клочья газеты в унитаз и ополоснув используемый ею старый поддон от давно сгнувшего холодильника, я снова помыл руки, снова направился на кухню, взял там чудовищно закопченную итальянскую кофеварку, состоящую из двух граненых металлических конусов, соединенных усеченными вершинами, развинтил ее, вытряхнул из фильтра слежавшийся выпаренный кофе в пластиковый мешок с мусором, приткнутый между холодильником и мойкой, налил в нижний конус воды, наложил фильтр, опять вымыл руки, обнаружил, что молотого кофе в мельнице мало, досыпал зерен, смолот с грохотом и воем, высыпал в фильтр шесть ложек, слишком много, навинтил верхний конус, поставил устройство на плиту. Кто мне его подарил? Не помню уже. Жутко неудобное, но кофе получается отличный, и не ломается оно уже лет десять.

Пока кофе варился — семь минут — я полез в холодильник, достал масло, зацепил кусок ножом, стряхнул, сдвинул об уже нагревавшийся край сковородки, масло растеклось, достал два яйца, надсек ножом одно над сковородкой, разломил, бросил скорлупу в мусор, надсек второе, разломил, бросил, долго отряхивал над сковородкой соль, прилипшую к пальцам, бросил в уже начавшую подергиваться пленочкой яичницу оставшуюся со вчера в холодильнике сморщенную вареную сосиску — предварительно разрезав ее вдоль.

Снова помыл руки.

Поставил сковородку на керамическую подставку с деревянной рамой, с синим охотничьим

рисунком, — Дания? Голландия? не помню, — взял вилку, нож, поставил кофеварку на другую подставку, толстое стекло в металлической рамке с завитушками, — Германия? кажется, — взял кружку с надписью «Home, sweet home», — Лондон, это точно, — взял старую синего стекла пепельницу с выдавленной с нижней стороны дна головой оленя, взял сигареты, зажигалку, сел, отковырнул сразу четверть яичницы и кусок сосиски, прожевал, налил кофе...

«Разрешите же мне, Экселенц, откровенно, насколько позволит мне природная, свойственная моему сословию и цеху, лживость, изложить соображения, которыми я руководствовался, с одобрения Вашей Милости решаясь на известные Вам действия.

Итак, во имя Святейшего, да продлит Создатель его дни.

Мы отправились в экспедицию, отплыв от вполне безлюдного берега в среднем течении этой ужасной реки. Противоположный, высокий берег, постоянно подмываемый мощным и быстрым потоком, краем сполз в воду. Местная растительность, представленная по преимуществу невысокими и тонкоствольными деревьями с белой, в темных разломах корой, называемыми на туземном наречии «биериоза», оказалась, таким образом, в реке, и светлые ее листья колебались в струях, создавая дополнительную подвижность и рябь на поверхности воды, просвечивающей под солнцем вплоть до близкого илистого дна, по которому, если всмотреться, скользили тени от этих странных крон, волнуемых не

ветром, а несущейся жидкостью... Само собою, вместе с названными деревьями сдвинулись в русло и низкорослые, обсыпанные красными — отвратительного, к слову, вкуса — ягодами кусты, именуемые на том же варварском диалекте «каллино-маллино» и давшие название дикой аборигенской пляске; сползли в воду и прочие мелкие растения. Обнажившийся глинистый срез, багрово-коричневый, с вылезавшими наружу корнями, представлял собою зрелище безобразное и удручающее.

Длинные наши суда, движение которым придавали нанятые из местных обитателей гребцы, достаточно быстро неслись вперед — не столько даже усилиями этих гребцов, тощих и ленивых (сведения о физических и душевных чертах туземцев изложу Вашей Милости позже), сколько самим течением, легко влекущим эти сравнительно небольшие, узкие при значительной длине лодки с плоскими днищами. Насколько я понял, эта их особенность отражена и в оригинальном названии «плеззь-кодон-ка», хотя, возможно, я и ошибаюсь, так как тем же словом один из наших гребцов и проводников называл женщину, о которой говорил, как о жене...

...Итак, берега неслись мимо, наши кирасы и шлемы сияли и накалялись под солнцем. Природа была дика, первобытна, и нигде не замечалось и следа пребывания цивилизованного европейца и христианина. Лишь уродливые храмы туземного культа — высокие тонкие цилиндры из кирпича, наподобие турецких минаретов, только выше, исторгающие отвратительный дым, да железные строения, вроде виселиц для великанов, соединенные между собою железными же нитя-

ми, — мелькали то справа, то слева. Лес местами был вырублен, местами выжжен, и там можно было видеть могильники, оставленные, видимо, предками дикарей: странные железные коробки с колесами, большею частью ржавые; тяжелые каменные плиты с ровными поверхностями, обработанными какими-то титанами, и металлическими прутьями, торчащими из камня. Когда мы проплывали мимо одной из таких гека-томб, гребец, сидевший недалеко от меня, произнес следующую фразу на своем языке (записываю сейчас по памяти): «Зплощнайа пом-ой-кха, ноб твайу мадь!» — и плюнул за борт лодки.

Я давно присматривался к этому человеку и пришел к выводу, что его роль в дикарском сообществе примерно та же, что моя — в нашем...

— ...Что ж, — с изумлением продолжил я свои расспросы, — вы всерьез убеждены в том, что можете противиться воле Божьей и Святейшего?

Он оглянулся на своих соплеменников, среди которых и сам еще недавно набивал кровавые мозоли веслом, и повторил своим громким, визгливым голосом:

— У нас своя жизнь, и свой путь в этой жизни, и то, что вы называете Божьей волей и цивилизацией, нам не подходит и никогда не приживется на этой земле. Вы считаете нас дикарями, а мы дикарями считаем вас, отправляющихся за золотом в чужие страны, на муки и гибель, проводящих всю жизнь в тяжком труде, в добывании богатства, в украшении своего существования ценою самого существования. Вам кажется, что жизнь — это есть жизнь, что действительность видима и что поступки — это есть человек.

А мы верим, что действительность — это то, чего нет, что истина скрыта и что человек проявляет свою сущность не в том, кто он есть, а в том, кем он хотел бы и мог бы стать. Вы поверх одежды носите металл, чтобы отделить себя от мира, выделиться в нем. А мы нашу одежду носим наизнанку, чтобы слиться с подкладкой жизни.

— Но тогда вас необходимо силой привести в человеческую жизнь, — вскричал я, не переставая одновременно удивляться их способности к нашему языку, позволяющей произносить даже такие речи. — Вас надо сначала заставить, чтобы вы потом...

— Повесить всех, кого не перестреляете, и таким образом цивилизовать? — усмехнулся он.

Но тут показался плывущий нам навстречу левиафан, из тех, что мы уже довольно повстречали на этой проклятой реке: гигантский белый корабль, движущийся необъяснимой силой. С его палубы доносилась варварская музыка. Он приближался с невероятной скоростью, и наши суда стало подтягивать к его бортам. Выстрелы мушкетеров потонули в грохоте, издаваемом чудовищным судном, и в визге дикарских свирелей. За кораблем шла волна...»

Я представил себе, как болела бы голова от раскаленного шлема, как тек и высыхал бы пот под кирасой и камзолом и как минимум два дубля пришлось бы барахтаться у бортов теплохода «Владимир Семенов», с риском быть действительно затянутым под его брюхо, лихорадочно нащупывая шнурок автоматически надувающегося спасательного жилета, по-дурацки над-

этого под доспехи и потому не надувающегося, как выныривал бы с выпученными глазами, почти задохшийся, а идиоты на режиссерском плоту хохотали бы, не понимая риска, и только каскадеры, изображавшие гребцов и моих рядовых солдат, смотрели бы сочувственно, и один из них, плывя рядом, булькнул бы: «Дурацкий сценарий, дурацкая постановка...»

За дверью никого не оказалось. На площадке было абсолютно пусто и даже относительно чисто — то ли кашлявший здесь всю ночь бомж прибрал за собой, то ли несчастная уборщица вернулась в наш чертов подъезд... Только две старые лебедки, как всегда, украшали площадку, оставленные у чердачной лестницы механиками еще в прошлом году, когда наконец починили лифт...

Звонок раздался снова. Теперь он слышался явно — от телефона. Споткнувшись и едва не свалившись из-за кошки, которая, естественно, крутилась под ногами, норовя и выйти на лестницу, и не удалиться от квартиры, обругав ее и подхватив, извивающуюся, поперек живота, захлопнув пяткой дверь, я бросился в комнату, нащупал на полу у дивана, под краем сползшей простыни, телефон и снял трубку.

В трубке, понятное дело, молчали.

— Говорите, — орал я целую минуту, как безумный, — говорите же!

В трубке слышались дыхание, шум сети, ветер пространств.

— Ну, как угодно, — сказал я с внезапной аристократической холодностью и, положив

трубку, отправился на кухню заканчивать завтрак. Кофе быстренько подогрел в эмалированной кружке, яичницу доел холодную, закурил за кофе, как всегда... День ожидался не самый худший, можно сказать, даже неплохой. В театре дел у меня фактически не было никаких, и даже если Дед, как обещает, займет меня в следующей его затее, то это будет нескоро, хорошо, если начнем читать осенью, а до тех пор шататься по коридорам, сидеть в буфете, мерить костюм очередного гостя, ходить на склочные собрания, стараясь не принимать участия в бесконечной сваре из-за здания и каких-то сомнительных акций, снова сидеть в буфете, и худсовет, худсовет, худсовет... Вечером же, конечно, очередная тусовка, тосковать в разговорах до начала банкета, ловить автоматически все еще возникающий шепот: «Шорников... тот самый... да, вон тот, седые усы... ну, конечно, в «Изгое», помнишь, как он дрался... да, постарел... кто сейчас молодеет?..»

Кретины.

Как будто раньше люди со временем молодели.

В общем, пора одеваться. И, учитывая вечерние планы, кое-что придется подглядить.

Я разложил на столе одеяло, включил утюг, сходил в ванную и принес воды в специальном пластиковом стаканчике, влил в этот чудесный — каждый раз радуюсь, глядя — утюг, в «ровенту», купленную, кажется, во время немецких гастролей из экономии, отдавать рубашки в прачечную и глажку там было совсем не по деньгам, выставил регулятор на «хлопок» и принялся

за рубашку, извлеченную из кучи неглаженных в шкафу...

Снова позвонили, когда я уже был почти готов уходить — в бежевых замшевых, неизносимых ботинках «кларк'с», в каких ребята фельдмаршала Монтгомери шли по пустыне навстречу солдатам Роммеля; в вельветовых коричневых штанах с сильно вытянутыми уже коленями, оттого приобретших особо «художественный вид»; в пиджаке «в елочку» из «харрис-твида», который можно носить десять лет, не снимая, только подкладка в клочья; в голубой рубашечке «ван хойзен» с мелкой, «оксфордской» белой пестринкой... Я стоял в прихожей перед зеркалом, поправлял в нагрудном кармане шелковый платок «пэйсли», повязывал вокруг шеи фуляр соответствующего же рисунка — и тут позвонили уже точно в дверь.

Я глянул в глазок. Что-то мне после всех этих звонков не хотелось открывать дверь, не глядя.

Искаженная линзой глазка, как бы слегка скрученная, была видна вся площадка, и даже лестница просматривалась до поворота к предыдущему этажу. Никого там не было — только перед самой моей дверью, чуть отступив, очевидно, чтобы ее лучше мне было видно, стояла женщина, уже отпустившая кнопку звонка, но держащая руку высоко, чтобы позвонить снова.

Женщина мне была абсолютно незнакома, но поскольку я вообще очень быстро и точно замечаю детали, за те несколько секунд, что рассматривал, я успел увидеть многое.

Ей можно было дать от тридцати до сорока

лет — если смотреть на не слишком светлую лестничную площадку, да еще через линзу и одним глазом. Фигуру при этом тем более не рассмотришь, однако, если сделать скидку на искажение, фигура была нормальная, не выдающаяся, но и не уродливая. Волосы были светлые, крашеные, конечно; глаза, кажется, голубые, а черты лица такие, о которых говорят «отвернулся — и забыл»: так называемый «русский» нос, довольно скуластая, рот небольшой, лоб прикрыт челкой... Тот тип, который уже давно выработался в Москве благодаря мощному татарскому присутствию, довольно приличному, по сравнению с остальной страной, питанию, влиянию европейских и, особенно, американских фильмов и журналов и внимательному изучению частых в столичной толпе иностранок.

Выражение лица я не совсем рассмотрел, но оно показалось мне безразлично-спокойным, как и вся ее поза.

Одета она тоже была так, что на улице тут же потерялась бы: черные плоские туфли без каблуков, черные тонкие рейтузы, черный свитерок-водолазка, широкий черный пиджак... Позапрошлогодня парижская униформа, уже и в Москве ставшая заурядной.

Она сделала движение, чтобы снова позвонить, и тут я распахнул дверь.

В ту секунду, когда женщина вытащила руку из кармана пиджака, точнее, на полсекунды раньше, я почему-то все понял, сделал короткий шаг в сторону, за стену, и дверь захлопнул.

«Пуля, вывернув ключья обивки и щепки, прошла сантиметрах в пяти под глазком и вмялась в противоположную стену, рядом с забытым с

весны на вешалке плащом. Из рваной дырки в обоях тонкой стружкой высыпались штукатурка и кирпичная пыль». Допустимо и такое развитие...

4

И только присмотревшись, я понял, что вижу через глазок свою вторую жену — из женщин, с которыми я был относительно подолгу связан, встречаемую в последние годы реже всех, практически не звонившую и, уж конечно, никогда не приходившую ко мне домой. Так что ее появление на лестничной площадке было в своем роде не менее страшно, чем если бы она действительно открыла огонь по двери. Я же, будучи склонен к жанру приключенческому, довольно часто и более простые и привычные ситуации, — например, небольшую прогулку по центру города с намерением в конце ее посетить своего издателя, — продлеваю и развиваю мысленно именно таким образом: стрельбой, стычками и погонями.

Собственно, можно было бы долго размышлять на эту тему, и даже припомнить те считанные случаи из моей жизни, когда авантюра реализовывалась не в фантазии, а в действительности. Но я уже твердо решил не отвлекаться больше от основного сюжета, который следовало бы, как школьное сочинение, назвать: «Как я пропал этим летом».

Итак, я открыл дверь, и Галя вошла.

В моей жизни было довольно много женщин, вероятно, больше, чем в жизни среднего пятиде-

сятилетнего мужчины, я был несколько раз женат, но так и не смог привыкнуть, как к рутине, к тем отношениям, которые возникают между мужчиной и женщиной через несколько минут, или дней, или лет после знакомства. Я не до конца понимаю, как могут люди, еще помнящие время, когда они даже не подозревали о существовании друг друга, и не уверенные в том, что они уже не расстанутся до смерти — вместе, иногда даже не отворачиваясь, а то и помогая взаимно, раздеваться, снимать белье, распространяя на какие-то минуты смешивающийся запах тел, трогать чужую кожу, проникать в рот, сливаясь слюной, сплетаться ногами и, наконец соединяться, подобно деталям какого-то механизма или сооружения, и обливать друг друга секретцией, а языками, пальцами рук и ног, и сосками, и животами приникать, прижиматься, гладить, и говорить все, что приходит в голову в этот миг, и рассказывать о себе то, что никогда не рассказывают родственникам и даже друзьям, а потом расцепляться, надевать одежду, и через некоторое время, иногда даже не очень большое, проделывать все то же самое с другими. И бывает, что немного спустя — месяцы или годы — они, встретившись, смотрят друг на друга, как совершенно посторонние, чужие, будто скрытые под одеждой тела никогда не соединялись, не вкладывались одно в другое; а бывает, что они даже начинают вредить друг другу, намеренно причиняя зло, словно это не они когда-то были открыты, и незащищены, и близки так, как можно быть близким только с тем, кто никогда и ни за что не сделает тебе больно. Эти связи, самые, на мой

взгляд, прочные и тесные из тех, которые бывают между людьми, рвутся, словно перетянутые струны, разбивая в кровь, хлестко прорезая искаженные — то ли еще любовной, то ли уже враждебной страстью — лица, но и увечья эти заживают, и уже совсем отдельные люди сходятся, сцепляются с другими отдельными людьми, и все это длится, расплзается, и цепочка, растянутая во времени и человечестве, обвязывает группы, города, страну, всю землю и всех людей.

Любой знает, что через праотца, по крайней мере, каждый каждому родственник по крови. Но родство это все же очень дальнее и, главное, давнее, через много поколений, колен. Родство же — а я чувствую это родство, воля ваша, не могу не чувствовать! — по иным человеческим жидкостям, если задуматься, прослеживается едва ли не всего мира со всем миром за какие-нибудь десять, двадцать, ну, тридцать лет. Мужья любовниц становятся любовниками жен, жены уходят от мужей к встреченным случайно чужеземцам, а оставленных мужей утешают подруги, а другие мужья ищут утешения в другом городе, и находят, и звенья множатся, цепь запутывается, длится, снова складывается и затягивается узлами, конца ей нет, и даже когда кто-то умирает, ничто не прерывается, потому что звено это осталось во времени, сквозь которое из поселка в деревню, из деревни в столицу, через океаны и пустыни тянется цепь сплетенных, сплетающихся, сплетавшихся когда-то тел.

Не причиняйте же зла никакому человеку, потому что вы не только братья, но и любовники.

А инцест... Об инцесте не думайте, было что-то такое ведь и с самого начала, когда нечто произошло с ребром. С другой же стороны... Все это лишь ничего не значащая мысль, игра неощутимого ветра на чуть рябящей поверхности сознания, под которой тишина, покой, темные неподвижные воды. Но при этом...

Однажды, находясь в небольшом, но весьма приличном и даже изысканном собрании, в публичном месте, скажу точнее — в одном из тех клубов, которые в Москве называются творческими домами, и где в последние годы уже не только водку пили вхожие, но и довольно часто спорили и ссорились откровенно, как прежде только по кухням решались — так вот, находясь в таком дискуссионном собрании, я обнаружил, что из четырех присутствовавших там женщин был я с тремя близок, причем с двумя в одно и то же время, правда, недолгое. А ведь я не донжуан вовсе, обычный человек, а в молодости и вообще был робок и неуверен с девушками.

— Входи, что же ты в прихожей-то... — сказал я Гале. Она было попыталась сбросить туфли, но я решительно и бурно запротестовал, что за азиатская манера, и слегка подтолкнул ее положенной на плечо рукой, ввел в комнату, усадил в кресло, изодранное кошкой, которая, кстати, немедленно прыгнула гостье на колени — устанавливая отношения.

— Скинь ее, будешь вся в волосах, на черное цепляется... Я кофе поставлю? — молол я нечто довольно бойко, хотя, надо признаться, чувствовал себя странно. Не виделись мы давно, она по-

старела, но почти не изменилась, так бывает. Смотреть на нее было любопытно, но главное — я не мог понять, зачем и почему она пришла.

— Ну и пусть волосы, — засюсюкала она, обнимаясь и целуясь носами с кошкой, что мне, конечно, понравилось, — ну и пусть волосы — волосы — волосы... ах ты красавица — красавица — красавица... кофе не хочу, спасибо... ну, значит, так ты теперь живешь, красиво, всегда ты из помойки музей устраивал... а я на днях посмотрела по второй программе, был какой-то ваш вечер, что-то со стихами, мне не понравилось, если честно... но на тебя посмотрела и думаю вдруг, надо повидаться, обязательно... а тут рядом была, но из автомата не прозванивается... но, слышу, ты трубку снимаешь, значит, дома, а меня не слышно... думаю, зайду нагло, пока рано, по делам не убежал... постарела я сильно?.. нет, кофе не хочу, а вот, извини, у тебя выпить ничего нет?.. нервничаю почему-то, хотя неприлично с утра, да?

— Неприлично не выпить, когда хочется, — коротко как бы бросил я, автоматически начиная партию сурового мужчины, крутого (между прочим, как попала эта калька с английско-американского *tough guy* в наш полуворовской язык?), воображая про себя то, что уже привык за все последние годы. — Водка есть, виски есть приличный, «Passport», коньяк есть, правда, паршивый, из ларька...

— А чего-нибудь не такого... вина какого-нибудь у тебя нет? Крепкое все...

— Насчет вина извини. Ты уж забыла... Я же вина почти не пью, только если обед какой-ни-

будь парадный, отказываться неудобно... Так что выбор у тебя только мужской.

— Ну, водки, что ли... Немного...

Я вынул бутылки из старого, с кое-где отклеившейся красного дерева облицовкой буфета, достал любимые свои небольшие, но тяжелые хрустальные стаканчики, быстренько выскочил на кухню, выложил на хлебную хохломскую доску каким-то чудом оказавшийся в холодильнике кусок сыру, обнаружил еще большее чудо — маленькую банку испанских оливок с анчоусами, притащил виски...

— Да не хлопочи так... Хватит, хватит... Ну, будь здоров.

Она выпила, хорошо, залпом, выловила оливку, отрезала сыру. Я налил себе виски сразу на три пальца, глотнул. Похоже, что день пойдет не по плану. Она подняла сумку с полу, порылась, достала сигареты, я порылся в карманах, поднес зажигалку.

— В мыльной опере играем, Галочка, — сказал я, — сейчас начнем вспоминать, ты скажешь: «А знаешь? Я ни о чем не жалею. Я была счастлива с тобой...» А я, сдержав горькое мужское рыдание, отвечаю: «И я никогда не был счастлив после того, как мы расстались...» И, на два голоса проплакав «Прости меня!», мы бросимся в объятия друг друга. Конец. Роли исполняли... Вы смотрели двести сорок шестую серию...

— Ты как всегда, а мне правда грустно, — она сунула сигарету в пепельницу и, как обычно, недодавила, тонкий противный дымок зазмеился. Я придавил окурочек, достал свою, закурил. Галя посмотрела на голубую пачку, вздохнула: —

И куришь, конечно, эту дрянь французскую, махорку...

— Что ж делать, если кубинских теперь нет. — Я ответил автоматически все в том же ерническо-суперменском тоне, хотя вдруг понял, что она действительно расстроена, а приход ее просто странен, и объясняется чем-то вполне серьезным, и что сейчас может начаться нечто тягостное, сложное, способное не то что сегодняшней день сломать, но и еще на долгое время испортить жизнь, разрушить уже, кажется, установившийся относительный покой.

— Расскажи, как живешь, — попросила она.

— Ну, как я живу... — налил себе еще немного, посмотрел на нее, она кивнула, налил и ей. — Живу я обычно, как многие в моем возрасте живут. Слава была, книжки были, концерты вот до сих пор по телеку хоть два раза за год, а покажут... Была слава, да почти сплыла. Пишу, и даже издаю, — не скажу, чтобы мало, а кто это видит? И песни поют даже... С тем же результатом: спроси сейчас любого на улице, когда он последний раз о поэте Шорникове слышал. Уверяю тебя, половина в ответ поинтересуется, а жив ли этот прекрасный поэт, а другая половина, помоложе, и вовсе фамилию не вспомнит... Деньги — соответственно. Те, что тогда посыпались, прожиты. Вот кое-какое барахлишко осталось, «шестерка» во дворе ржавеет понемногу, но еще ездит, а денешки — ушли. Они со мной быть не хотят, им уважение нужно, а я их просто люблю. Нынешние же заработки... ну, на еду, ботинки купить, когда старые совсем развалятся, — все. Вот хорошие люди из этих... из бо-

гатых, им спасибо. Посоветуются с кем-нибудь, кто еще наши имена помнит, да и пригласят куда-нибудь, на корабле сплавать в такие места, о которых раньше только у Хемингуэя читали, в Барселону какую-нибудь или на Канарские, извини, острова... Круиз. Кормят, напоить желающих полно: «Я извиняюсь, конечно, можно с вами будет выпить?» И после стакана «на ты», обнимать, про жизнь расспрашивать... Цепь золотая на шее, наколка «Буду помнить не забуду а забуду пусть умру», костюм спортивный шелковый... И — давай, поэт! «А сам спеть можешь? А Высоцкого знал?» Бывает, и пою, говорю, что знал...

Тут я замолчал, потому что она заплакала. Плакала она точно так же, как пятнадцать лет назад плакала, сидя на скамейке на Тверском бульваре, когда все уже стало ясно, но тогда я, помню, почти ничего не чувствовал, глядя на ее совершенно неподвижное, только заливающееся слезами, намокающее лицо, в немного выпуклые голубые глаза под водяной пленкой — только неловкость, которую испытываешь, глядя на любого плачущего человека. Теперь же я ощутил вдруг острое сочувствие и какую-то странную тревогу — не за нее, а, с некоторым стыдом, за себя, будто это меня она оплакивала, сидя в глубоком, старом, в лапшу изодранном кресле, сама наливая себе, звеня горлышком, осыпая пеплом черную свою одежду. Будто траур.

— Что с тобой? — спросил я тихо и, перегибаясь через давно уже перешедшую на мои колени и заснувшую кошку, через столик между нашими креслами, взял ее ладонь в свою. Кожа на тыль-

ной стороне ладони была сухая, в мелких морщинках, следах порезов и ожогов — я как-то уже и забыл, чем она занимается, эту ее постоянную возню с ножницами, булавками, утюгом... — Что с тобой, Галочка? Ну, успокойся...

— Так я и знала, знала, что ты ужасно живешь... не в телеке дело... еще два месяца назад увидала тебя на улице, ты шел, а я ехала... по Чехова... такое ужасное у тебя было лицо... горькое, знаешь... хотела приехать, но как-то неудобно, а тут по телеку... ты ужасно живешь, ужасно!

Она выпила, закурила уже третью или четвертую сигарету, достала из сумочки бумажную салфетку и осторожно промокнула глаза, которые уже успели слегка потечь, всхлипнула, успокаиваясь.

— Успокойся, — повторил я и убрал руку. — Лучше о себе расскажи. Чего ты так разжалобилась? Да так, как я живу, другие только мечтают. Нашла, кого жалеть... У тебя-то как? Муж... как его... Игорь? А мальчик как? Ему... девять, наверное?

Она уже встала, вышла в прихожую, что-то быстро делала с лицом, стоя перед зеркалом.

— Двенадцать. Двенадцать мальчику. Зовут его Слава. А мужа, кстати, не Игорь, а Олег. И у меня все в полном порядке. Свое ателье. Все отлично. Только что из Китая приехала. Все хорошо...

Она оторвалась от зеркала, повернулась ко мне, заново покрашенные ее глаза опять влажно заблестели, но на этот раз слезы уже не пролились. Она сделала шаг вперед, обняла меня за шею, приподнявшись на цыпочки, и поцеловала.

— Не болей. Не расстраивайся. Не ешь себя.

Я открыл перед нею дверь, успев подхватить на руки попытавшуюся просочиться на лестницу кошку.

— Как ее зовут? — спросила Галя.

— Нана.

Она усмехнулась.

— В честь группы?

— Какой группы? — не понял я. — Это Золя...

— А-а, — она почему-то вздохнула, погладив кошку. И, уже закрывая за нею дверь, я услышал:

— Держись, слышишь? Не позволяй себя губить.

За дверью грохнул и пошел лифт. Я вернулся в комнату, снял и бросил на диван пиджак, снова сел в кресло, вылил себе в стакан остатки виски. В конце концов, дело у меня более или менее обязательное только вечером...

На полу, возле того кресла, в котором сидела Галя, я увидел сложенный листок бумаги. Выпал из сумки.

Я поставил уже пустой стакан, дотянулся, поднял — это был обычный белый лист формата «под машинку», сложенный вчетверо. Я развернул его, кошка на коленях заворочалась, протянула лапу, норовя отобрать бумажку. Я тихонько спихнул ее, продолжая читать короткую записку. Дочитал. Посмотрел на пустую темную квадратную бутылку с пестрой вертикальной наклейкой. Вылил в свой стакан всю оставшуюся водку. Выпил, съел две оливки, потом еще одну — вкус водки после виски был отвратителен. Закурил.

И стал перечитывать короткий текст.

«Мишенька! Вчера на улице ко мне подошел мужчина. В белом костюме, итальянском, высокий, пожилой. Назвал меня по имени, сказал, что твой старый друг, знает тебя очень давно. Сказал пойти к тебе и предупредить, чтобы ты был осторожнее. Он говорит, что это лето для тебя очень тяжелое и чтобы ты не знакомился ни с кем близко, а он тебя предупредить не может, потому что в Москве только один день. Мишенька, я боюсь, что это мафия или кавказ. Он с усами, лицо темное. Я так и знала, что побоюсь тебе сказать такую глупость, ты будешь смеяться, поэтому написала письмо и оставлю его. Пожалуйста, Мишенька, дорогой мой мальчик, будь осторожней! Я за тебя боюсь. Я тебя не разлюбила и не разлюблю, зря ты меня тогда бросил. Целую тебя, будь осторожней, не знаю, что он имел в виду, целую, твоя Гала».

Я открыл коньяк. Такой гадости я не пил давно.

В моей жизни бывали странности и прежде, но никогда до этой записки не долетал ко мне такой внятный голос оттуда, из зимнего Сретенска, такой разборчивый привет опекуна. Летом он носит белое, но почтальоншу все же надоумил в черном явиться... Какая, с другой стороны, дешевка, если задуматься, попса, как теперь говорят... Но что же, однако, он имеет в виду, что страшного сулят мне близкие знакомства в это лето?

Вероятно, что-нибудь с женщиной. Хотя каких уж только бед и хлопот не пережил я из-за

горестной своей слабости, склонности, бессмысленной и непрерывной тяги, и чем особенным можно меня еще потрясти... Я был трижды женат с участием государства, фиксировавшего в паспорте не только где, но и с кем должен жить человек. Фактически же я был женат никак не менее восьми раз, браки эти длились по году, а то и больше, налезая друг на друга, однажды я расходился с двумя женами одновременно, уже сойдясь с третьей, причем, повторю, я не безумный бабник, а вполне средний в отношениях с женщинами экземпляр, и было их у меня если и больше, чем у какого-нибудь идеального отца семейства, то ненамного. Да и, согласитесь, профессия такая, что без хотя бы некоторого чувственного излишества не обходится. Просто отличаюсь я тем, что чаще, чем нормальный мужчина, ощущаю себя женатым. «Ты через пять минут уже женат», — сказала мне однажды какая-то из жен, подразумевая, что любая моя измена более опасна для существования нашей семьи, чем обычные приключения не так устроенных мужчин. Она оказалась права впоследствии. Я не умел и не научился радоваться просто близости, просто наслаждаться, хотя к собственно наслаждению очень даже склонен, чтобы не сказать — к сладострастию. Но это не мешает мне — стоит лишь пробыть с женщиной хоть сколько-нибудь достаточное для минимального сверх физиологического сближения время, а это может быть и неделя, и одна ночь — начать думать о будущем больше, чем о настоящем, строить планы общей жизни, решать общие проблемы и чувствовать себя по уши в обязательствах...

Однажды я ужасно тяжело переживал разрыв, состоявшийся по моей инициативе. Мне было безумно жалко ее, я представлял, как, разбитая и несчастная, она забросила все свои дела, отказывается от ролей, — была она вполне заметной в своем актерском цехе, — ревет ночами, портя лицо и тем еще больше вредя своим делам... Я даже вполне серьезно опасался сердечных приступов и суицидных припадков. Но через две недели мой приятель рассказал, что на капустнике в их театре (кажется, юбилей режиссера) она была, как всегда, прелестна, оживлена, пела, пила и уехала — приятель глянул мне в глаза и улыбнулся — с молодым парнем, красавцем и быстро взошедшей звездой, гордостью их труппы. «Я выходил, они как раз отъехали к нему», — сказал добрый друг и еще раз мне улыбнулся. Я жестоко разочаровал его своей искренней радостью и необъяснимым жаром, с которым я его вдруг поблагодарил, неизвестно за что, и даже обнял. Тогда я понял, что большая часть моих терзаний объясняется явным завышением ценности собственной персоны для женщин. Я вдруг задал себе вопрос: ну, хорошо, допустим, Лена (я тогда был влюблен как раз в некую Лену, из-за чего и порвал с быстро утешившейся любительницей капустников), Лена меня бросит — что со мною-то будет? Вот придет, как я пришел к ее предшественнице, и так же скажет: «Извини. Мне было с тобой очень хорошо. Но теперь я не могу... Я не хочу объяснять, почему, но не могу. Давай разойдемся по-человечески». Ну, и еще какие-нибудь пошлости, обозначающие тот простой факт, что увлечение про-

шло, или, скорей всего, вытеснено новым. Что же я сделаю? Покончу с собой, запью больше обычного, опущусь, перестану бриться и принимать душ, брошу съемки? Да ничего подобного! — ответил я себе честно. Я буду жить, как жил, и даже необходимость терпеть в связи с новым разрывом довольно существенные практические неудобства, поскольку мы с Леной уже съехали, устроили квартиру, из которой мне пришлось бы уйти, не привели бы меня в смертельное отчаяние, как-нибудь устроился бы, потерпел... Главное — продолжал бы жить, и смеялся бы, и с какого-нибудь спектакля, а то и капустника, через пару недель, уехал бы с кем-нибудь. Тогда же, если не ошибаюсь, я впервые и представил себе ту цепь связей, любовей, длительных или мгновенных сцеплений между мужчинами и женщинами, цепь, опутавшую весь мир, которая, в конце концов, и должна объединить мир и миръ, world and peace, и когда-нибудь будет написана, наконец, не «Война и мир», а «Мир и миръ», и это и будет конец света, а отнюдь не какой-то идиотский гриб. Затрубят трубы, и поднимутся мертвые, чтобы занять свои места в цепи, и мы все двинемся держать ответ за любовь.

Сумерки мало меняют мою квартиру, потому что я почти никогда полностью не отодвигаю темные и плотные шторы. В сумерках я допил коньяк, умылся, крепко вытер лицо свежим, жестким после прачечной полотенцем, снова старательно оделся, взял с вешалки твидовую панаму — в последнее время даже редкие узнавания на улице стали почему-то раздражать, а любая

шапка сильно меняет внешность — и отправился по намеченным вечерним делам. Какой-то прием, названный, естественно, презентацией... Одни и те же, большей частью знакомые люди, выпивка, закуска стоя, разговоры об абсолютно неинтересном... Но жить без этого было уже нельзя, потому что и роли, и прочие все необходимые для жизни вещи можно было получить только в таких местах. Тусовка, только тусовка, ничего, кроме тусовки.

К тому же я не выношу вечернего одиночества дома.

Я пошел пешком, цель была недалека, в пределах получасовой прогулки, да и садиться за руль после выпивки я все-таки избегаю. И поэтому все чаще простаивает моя бедная «шестерочка», догнивает под едкими московскими дождями... Я шел дворами и переулками, механически отмечая про себя их новые старые названия, косясь на вездесущие «мерседесы», взъехавшие тяжелыми своими задами на тротуары, на бесчисленные вывески меняльных контор, обходя приткнувшиеся друг к другу стеклянные коробочки ларьков, набитые большими пластиковыми бутылками с жидкостями химических цветов — когда-то в витринах аптек стояли стеклянные шары с таким ярким содержимым, которое изображало, вероятно, яды... Я шел, поглядывая на всю эту новую жизнь, которая для меня и тех, кто постарше, так навсегда и останется новой, а для тех, кто моложе — просто жизнь, я шел от Пресни в сторону Смоленской и вдруг ясно понял, что предупреждение мне сделано, и предупреждение серьезное, а теперь уж все зави-

сит от меня, и, если не остерегусь... Пошел дождь, я развернул зонт, захваченный и из предусмотрительности, и для завершения английского стиля. За последние два дня сильно похолодало, будто не разгар лета, а середина осени. После чудовищно липкой жары порадоваться бы, но унылый рассеянный свет сразу заставил забыть потные муки и одновременно испортил настроение, и никакой радости от прохлады не было, вместо нее пришла обычная осенняя тоска, предчувствие ноябрьского отчаяния, хотя до ноября еще было чуть ли не полгода...

— Скажите, а вы аид или нет? — услышал я и, конечно, вздрогнул, как вздрогнул бы, неожиданно услышав такое в пустом переулке, любой из вас.

Непонятно откуда взявшийся, передо мною стоял человек. Весь в белом.

5

Собственно, путь мой на дно в то страшное лето и начался с появления этого человека. Потому что записка, брошенная Галей на ковер у кресла, была, если говорить всерьез, скорее попыткой остановить меня в самом начале этого пути, не дать даже тронуться в опасном направлении. Человек же, возникший передо мной в Десятинском переулке, стал как бы привратником или, точнее, указчиком ложной дороги, ведущей в ад, в Ад. В Ад.

Как я уже сказал, он был весь в белом, а именно: в белых парусиновых ботинках с квадратными носами, на красноватой резиновой подошве; в

белых (или, скорее, светло-серых) брюках (пожалуй, штанах) из сурового полотна, что шло на дачные шторы и мебельные чехлы, с застегивающимися на белые пуговицы хлястиками-стяжками по бокам; в слегка кремового оттенка пиджаке из настоящей китайской чесучи (или чесунчи?), с большими накладными карманами и опущенными, как бы немного оплывшими (как раз свечного, воскового цвета) лацканами; а под пиджаком синевато-белая, после стирки с синькой, поплиновая рубашка (точнее, наверное, сорочка) с узкими, длинными углами воротничка, наглухо застегнутая, так что воротник завернулся углами вперед; без галстука. Все грязное, с черными полосками по воротникам и манжетам, а штаны еще и в недвусмысленных рыжих пятнах.

Это был очень старый — весь в пигментных пятнах по лысому черепу и тыльным сторонам кистей, с густыми седыми волосами, лезущими из носа, ушей и прорехи расходящейся на груди описанной выше рубашки, косолапый, из-за чего были сбиты, смяты задники упомянутых туфель, с пропотевшими подмышками и лопатками — еврей. С приплюснутым, немного звериным носом и широким лягушачьим ртом, коротконогий, с непропорционально маленькими ступнями и ладонями.

Откуда он здесь взялся, эта мерзкая анти-семитская карикатура на моего инфернального хранителя, под вечер в Девятинском переулке? И почему я его раньше не заметил? И что он от меня хочет?

— Так вы айд или нет, я вас спрашиваю? — раздраженно повторил он, и только со второго

раза я понял вполне, в общем, простой вопрос. Ответил же слишком серьезно и точно:

— Ну, допустим... Что из этого следует?

— Так вы ж должны помочь аиду! — вскричал безумный старик. — А вы в бизнесе или что? Я сам с Украины, вы ж знаете, какой там анти-семитизм, так я уехал в Германию как обязанный ими чтобы принять еврей, ну, даже поджегил там, она, знаете, с Австрии, но очень хорошая женщина и совершенно молодая, у ней свой бизнес, стайлинг и вообще, по-нашему, портниха дамская, так бабки у нас есть, но я хочу же делать деньги, как положено еврею, и хочу вас спросить, как интеллигентного человека, а можно, допустим, если еврей с Украины или с Германии, все равно, открыть в вашей Москве, например, взять кафе или просто кнайпу, потому что ж мне положена льгота, как участнику вова, но вашей москальской прописки, конечно, нет, так я хочу написать вашему Ельцин, или пусть Лушкин, бургомайстер, чтобы как ветерану помогли, и скажите мне, я же вижу, что вы интеллигентный человек, знаете все, у вас наверняка есть бизнес, они допоможут еврею, мне шестьдесят восемь лет, жена молодая еще, так не думайте, ей сорок шесть лет, а я с ней имею каждую ночь, и пусть будет свой бизнес, а?

Все время, пока он нес эту околесицу, я стоял молча, разглядывая его последовательно сверху вниз и как бы кивая, как бы без слов одобряя все, что он бормотал, как бы обещая ему, что аид аиду поможет. Почему у меня возникла эта ужасная привычка поддакивать, соглашаться, уступать? Причем это же совсем не значит, что я дей-

ствительно соглашусь или уступлю — ничего подобного, стоит напиравшему на меня отвернуться, пропасть из поля зрения, выйти из контакта, как я тут же обзову его, хорошо если идомом, никаких уступок и не подумаю делать и вообще укреплюсь в своем мнении, но уже останется нечто — ведь своим согласием я как бы пообещал...

Я отвлекся этой, увы, привычной мыслью и не заметил, как старик вдруг перешел к совершенно новой теме, причем излагать ее начал столь же новым языком и даже интонации южно-еврейские утратил.

— Видите ли, вам кажется, что жизнь ваша устоялась, — он вздохнул, но и вздох был не местечковый «э-хе-хе-хе-хе, вейз мир, почему несчастье всегда найдет голову еврея, и этот еврей как раз таки я», нет, вздох был сдержанный, едва слышный, и он продолжал свою новую речь: — Вам кажется, что уже ничего существенно нового с вами не произойдет, что так и доживете, в большем или меньшем комфорте, приличном достатке, в не влияющих на судьбу связях, фактически без близких отношений с кем бы то ни было, поскольку можно не считать близкими отношения, не меняющие жизнь...

Потрясенный совпадением того, что говорил этот странный, как бы из двух персон состоящий старик, с тем, о чем я думал в последние дни неотступно, я перебил его:

— Да как раз теперь я уже так не думаю, наоборот, вы знаете, у меня возникло чувство, что я вот-вот вступлю в полосу таких перемен, о которых уж с молодости забыл и думать, и что Бог

снова обратил на меня взгляд и начинает посылать мне то, что наполняет дни жизнью... Но, простите, как вы угадали, что именно мысли об этом мучают меня последнее время? Вы так странно говорите...

— Ему странно!.. — раздраженно пожал плечами еврей. — Вы, случайно, не юрист будете? Мне нужен юрист, я сам сейчас с Германии, а вообще с Украины, так я хотел узнать у юриста по льготам для ветеранов, или их нет? Я так скажу вам, как аиду, у вас умное лицо, так вам я скажу, как в Германии даже такой пожилой, как я, может поджениться, и у бабы есть гельд...

Он продолжал еще что-то нести про бизнес и бабки, но оцепенение уже сошло с меня, я обогнул его, успевшего в последний момент сунуть мне какую-то мятую бумажку, и быстро пошел к перекрестку, вон из переулка.

На ходу я взглянул на бумажку. Это была рекламная листовка какой-то из новых этих бесчисленных контор, торгующих жильем. Текст начинался так: «Ваша недвижимость ждет вас...» Апокалиптический оттенок этого сообщения окончательно расстроил меня, и весь остаток пути до веселого ужина я прошел уже не просто огорченный, а убитый, и чувствовал, что лицо у меня искажено неприятной гримасой, как от физической боли, и встречные поглядывают, но поделать ничего не мог. В словах старого сумасшедшего прозвучало то, что я не только сам чувствовал, но и говорил себе вполне внятно, однако, произнесенное вслух, это стало совсем невыносимым.

Я понял именно тогда, выходя из Девятинско-

го к Смоленке, что поделаться ничего нельзя и в это лето мне предстоит пропасть. Можно было произнести то же самое и с другим ударением — пропасть, и об этом я думал тоже вполне всерьез.

В конце концов, не слова этого мыслителя, так удачно женившегося, а просто его появление, безумие, сам вид безусловно свидетельствовали: нечто началось, первый указатель пройден.

Большой, полуосвещенный зал. На стенах плохая живопись, расставлена дешевая, «под роскошь» мебель, несколько длинных столов, накрытых для фуршета, — оливки, рыба, ветчина, виски, джин, водка, апельсиновый сок в кувшинах и все, что бывает на такого рода фуршетах. Публика частью выстроилась в очереди у столов, за которыми молодые люди, не глядя ни на кого, раздают еду, частью уже с тарелками и бокалами сбилась в небольшие беседующие группы.

Входит поэт в летнем костюме и с женой. Быстро наполнив тарелки, они присоединяются к той группе, где стою и я, Михаил Шорников.

П о э т (выпив и закусывая): — Здравствуйте, здравствуйте... А кто, господа, сегодня «Беспредельную» читал?

П о л и т и к, п е в е ц, е щ е о д и н п о л и т и к, п о л и т и к е с с а - а к т р и с а, п р о с т о а к т р и с а, п и с а т е л ь, д р у г о й п и с а т е л ь (э м и г р а н т) и М . Ш о р н и к о в : — Я, читал, читала! А как же! «Беспредел» обязательно! Надо их читать... Противно, а надо, ничего не поделаешь. Только их теперь и читаем, да, пожалуй, «Надысь», хоть и негодяи, конечно, а надо читать...

Еще один политик (выпив и закусывая): — А я бы тем, кто «Надысь» читает, руки бы не подавал. Вы их своими деньгами поддерживаете, а они вас потом и повесят!

Политик (благодарно выпивая): — Авось не повесят... Никто никого не повесит... Я вот, например, с удовольствием «Жлоба» читаю. Название остроумное...

Писатель (раздраженно выпивая): — Это не остроумие, это стеб! (Политикесса-актриса заметно вздрагивает и как бы краснеет.)

Политик (благодарно выпивая): — Очень остроумное название, и бумага, и полиграфия... Просто эстетическое удовольствие получаю...

Политикесса-актриса (горько, перестав закусывать): — Вот мы здесь выпиваем, закусываем, светские разговоры ведем, а в Сретенске театр закрылся, денег нет... Я запрос внесла, а вы (показывает в еще одного политика вилкой с куском осетрины холодного копчения) этот запрос похоронили! Я теперь, как представляю себе Сретенск без театра, спать не могу...

Просто актриса (с удовольствием закусывая): — Кстати, у тебя вид усталый. Хочешь, позвоню одной даме, она тебе биоэнергетику наладит? И похудеешь заодно... (Политикесса-актриса с ненавистью в лице отходит к другой группе.)

Другой писатель (эмигрант) (без тарелки, курит): — Я помню, два года назад заехали ко мне ребята в Эл-Эй... Ну, Коля Пяткин, Зураб, Валечка Прихожая, Витька По-

лоумов... В общем, вся наша компания пицундская... Пошли в ресторанчик малайский, посидели... А сегодня я иду по Тверской, смотрю — представительство открылось малайской авиакомпания... Вот такое совпадение, господа, вот так...

П и с а т е л ь (лицо искривлено раздражением, закусывает): — Какое тут, к черту, совпадение! Ты, Володя, просто жизни нашей теперешней не понимаешь, извини... А Витька Полоумов просто сволочь и в «Надысь» печатается! А-а, не знал? Вот так. В малайском-то ресторане... (Роняет вилку, наклоняется, роняет бокал и тарелку.)

М . Ш о р н и к о в (допив): — А пойдете-ка, ребята, к столу да нальем себе выпить, пока есть чего...

П о э т (идя рядом с Шорниковым): — Миш, а ты не знаешь, случайно, по какому поводу сама тусовка?.. И чего-то народ вяло подтягивается, ждут, что ли, кого-то попозже?..

М . Ш о р н и к о в (наливая себе): — А черт его знает... Тебе виски?

П о э т (наливая себе): — Нет, джину.

Сидя ночью на кухне, наливая и наливая купленной в ларьке по дороге с тусовки какой-то фальсифицированной дряни, я плакал о своей жизни. Принято считать, что брошенные женщины плачут в одиночестве и бедная девичья подушка намокает горькими слезами, а утром опухшие веки, и проявившиеся морщины, а надо жить, прилично выглядеть, ловить новую возможность, которая всегда может быть, — все это

так, но, увы, не только, не только дамы, поверьте мне! По-другому плачут мужчины, но плачут, и еще как... Вот, например, сидя на кухне с бутылкой, добывая многотерпеливую печень, не брошенные, а бросившие, да в том ли дело, кто кого бросил? Не в самолюбии дело, ей-Богу.

Как и положено пьющему в одиночестве мужчине, я думал о собственной жизни, о жизни вообще, о женщинах брошенных и еще нет, о профессии и своем в ней месте, о безусловно скорой смерти, о пьянстве, о поражении как итоге всего и о прочей ремарковско-хемингуэевско-аксеновской чепухе, давно вышедшей из моды вместе с пьянством, женолюбием и прочей романтикой.

Когда все они начинали, думал я, у них была большая фора. Папа писатель, академик, посол, зэк, дворянский осколок, сталинский сатрап, гэбэшный генерал, газетная номенклатура... Квартира на Восстания, на Кутузовском, в левом крыле «Украины», на Горького, в Лаврушинском... Дача в Серебряном Бору, в Архангельском, на Пахре, в Переделкине, в Краскове... Машина от рождения. Знакомые. Университет. Знакомые. ВГИК. Знакомые. МИМО... Коктебель, Дубулты, Пярну, Гагры...

У меня тоже все было.

Деревенская школа.

Дядя Юра, дядя Сережа, дядя Гена и дядя Яша.

Случайное поступление.

Случайный успех.

До сих пор не могу понять, как все это удалось — цепь случаев, удач, везений, прорывов, до сих пор не верю, что это я был в Париже, и

там обо мне писали, и я стоял рано утром на Одеон, только что отпустив такси после круглосуточного празднования с нудными и подобострастными рецензентами сенсации по имени Михаил Шорников, в новеньком, но хорошо сидящем вечернем костюме, вы совсем не похожи на русского, месье Шорникофф, я стоял на Одеон, на островке у входа в метро, напротив кинотеатр и маленькая пиццерия, на углу банк, и я никак не мог найти улочку, где жил в небольшой, но вполне стильной гостинице, и спросил на тогда еще никуда не годном английском дорогу у мужичка в газетном киоске, и он стал объяснять руками и по-французски, но вдруг запнулся, полез в журнальные кипы, вытащил свежий «Экспресс» и, тыкая в обложку, с которой смотрел я, и даже в том же галстукe, стал восторженно объяснять уже подходившим покупателям, что вот же, вот этот знаменитый русский, вот он стоит, он только что спрашивал у меня, как пройти в гостиницу «Аббатство», вот он! Я же улыбался вполне безразличным утренним французам и слегка плыл от чудовищной ночной, в поддержание патриотической репутации, выпивки и, главное, от того, что я стою на Одеон, знаменитый среди парижан.

И портрет, огромное, в человеческий рост, мое лицо в Эдинбурге.

И полный, битком, с сидящими на ступеньках в проходе, зал в Сиднее.

Преувеличенно радостные знакомства — а, ну, наконец-то! звезда нового времени! — в Берлине.

Полный зал, камеры, свет, робкие учительницы в очереди за автографами и снисходительные

признания правительственных поклонников в еще не сгоревшем ВТО.

Контрастно бурные после других участников аплодисменты на благотворительных концертах.

Разговоры «на ты» со знаменитыми, вошедшими в знаменитость, когда я был на первом курсе. Ваш поклонник, Миша... Спасибо, Леонид Степаныч... Да какой там Степаныч, Леня... Ленечка, привет, целую... Миша, привет, зашел бы в мастерскую...

Надо было получить все это вовремя. В тридцать или даже до, когда все они — Коляша, Витька, Ленечка — уже получили, уже пили в ВТО, ЦДЛ, ЦДРИ, ДЖ, обнимались, целовались, сходились и расходились со своими женщинами, сдержанно воевали с властями, уезжали, внедрялись в ту жизнь, давали пресс-конференции... Был бы нормален, не чувствовал бы так явственно мистики и незаслуженности в любом успехе, не ждал бы конца еще до начала, не предвидел бы последствий раньше причин, был бы счастлив в день счастья.

В старости нельзя пережить молодость, и никакое здоровье, никакие силы не помогут — старость есть знание последствий, и уж если ты их знаешь, от них не отвернешься, не сделаешь вид, что невинен, решителен и глуп, а даже если и притворишься, и бросишься как бы очертя голову в как бы авантюру, то обязательно попробуешь подстелить соломки, и тем все испортишь: разбиться — то все равно разобьешься, а в полете свободы не будет.

Я налил еще, глянул на бутылку сбоку, вылил остатки и, перед тем, как выпить и, прове-

рив старательно, все ли выключил, поползти к постели, с удовольствием принял обязательную перед сном мысль: а все же я их всех достал, и встал рядом, и постоял там, на обдуваемой этим сладким ветром тесной площадочке, на которой совсем немного места, и куда многие либо сверху спустились, спланировали, либо сбоку десантировались, либо встали еще до тектонического сдвига, вынесшего площадку в высоты, а я вскарабкался, влез, и даже почти не сорвался, и утвердился, а что теперь до площадочки этой никому дела нет, и другие вершины озарены новым светом — что ж, не я первый и не один оказался в тени. Выпьем, Миша, сказал я себе, черт с нею, с печенью, выпьем — мы побывали, где хотели, стоит отметить успех экспедиции, мы дошли до полюса, капитан Гаттерас, и лучше спиться на обратном пути, в низких широтах, чем сбрендить по пути к цели. За обратный путь, Миша, пусть он будет короток — укоротим же его, чем сможем, хотя бы и этой гадостью, если на скотч денег нету. Выпьем, дружок, за то, чтобы в нижних широтах приветливые аборигены и их женщины оказывали гостеприимство усталому путешественнику, и чтобы одна из них, ясноглазая и солнцеволосая...

Тут-то и зазвонил телефон в первый раз.

Зная, что я в этот вечер один, проверяла мое одиночество Таня, бесконечно длинного романа героиня, наваждение проклятой моей натуры, телесный мой тиран. Проверяла молча.

— Говорите! — зарычал я в трубку, с сожалением, но и с удовольствием — последний же — отставив стакан. — Говорите же!

— Это я, — детским, лживым голосом пропел телефон. — Ты один?

— Да, милая, я один, — еще более лживо проворковал я. — А ты?

— Я тоже. Я люблю тебя...

— Я тоже тебя люблю...

Так мы поговорили несколько минут. Боже, как можно так лгать?! Ведь я — не знаю, как она, но, думаю, что и она тоже — хотели только одного: быстро, по-деловому, договориться, кто к кому приедет, скорее всего, все же я к ней, во-первых, я в практических вещах джентльмен, во-вторых, у нее район страшноватый и ненадежный в смысле ловли машины; быстро съехаться, выпить, для порядка, по рюмке (хотя мне уже и так много, есть вероятность неудачи из-за алкоголя); лечь в постель и сосредоточенно, с опытом, приобретенным в совместных многолетних трудах, заняться сначала ею, общими стараниями, положи руки сюда, ну, ты же знаешь, а я... вот... вот... остановись... вот, а потом и мною, положи руки сюда, ну, ты же знаешь, а я... вот... вот... остановись... вот; и сразу заснуть, повторить на рассвете, и разъехаться, и больше ничего до следующего вечера, а там желания могут и разойтись, потому что ее опять потянуло бы на полный повтор, у меня же могли возникнуть обстоятельства — но ни о чем таком мы говорить не стали. Мы говорили о любви, а раздражение от невысказанного нарастало, и в конце концов мы поссорились.

Я положил трубку. Тут же раздался междугородный.

Это звонила Женя, с которой я прожил даже

не годы, а десятилетия, да как бы и сейчас жил, хотя уже давно она работала в Питере, где, как оказалось, ее жаждала концертная общественность, а я оставался в Москве. Ситуация стала удобней, но оставалась такой же фальшивой.

— У тебя было занято, — сказала она, и я сразу расстроился от этих простых и выразительных интонаций, от того, что с такими возможностями она не смогла по-настоящему выбиться, все ее чертовы безразличие и высокомерие. — Я тебе звоню с того времени, как кончился концерт, а у тебя все занято...

— С Колькой трепались, — сказал я. — Ну как ты там? Здорова?

— Ты опять пьешь, — вздохнула она. — Я всегда слышу, когда ты выпил...

— Ну, немного совсем, на презентации, — я врал без энтузиазма, да и почти не врал. — Так что насчет здоровья? Ты не простудилась?

И опять было минут десять лжи. Между тем, честный разговор мог состояться, но мы были неспособны решиться на него, да и не знаю, кто был бы способен. Сказать же следовало мне: да, я говорил с одной женщиной, но не в ней дело, а в нас, я очень рад, что ты сейчас в Питере, и было б неплохо что-нибудь сделать, чтобы так все и оставалось, например, мою квартиру можно поменять на роскошную, хоть на Невском, для тебя, а я тут устроюсь, не волнуйся, и в любом случае это будет лучше для меня, чем снова каждый вечер чувствовать, что жизнь кончается... И сказать следовало ей: да, я давно поняла, что ты только и счастлив, когда я в отъезде, что давно уже хочешь ты оторвать свою жизнь от моей,

но у меня нет моей жизни, и даже здесь я остаюсь твоей, и все это знают, и если этого не будет, мне не нужна квартира ни на Невском, ни на Тверской, я смогу жить и в деревне, и никто не вспомнит об этом, и потому я не отпущу тебя, пусть кончится твоя жизнь, но продлится наша...

— Ну, целую, — сказала она.

— Целую, — ответил я, повесил трубку, и телефон немедленно зазвонил снова.

— Слушай, я жутко соскучилась, — сказала Валя, с которой я расстался вчера утром. — Приезжай, а? А хочешь, я приеду...

Это были первые честные слова, которые я услышал за весь вечер, включая светские беседы, хотя и тут была не вся правда — Валюша опустила продолжение: «А там, может, останешься, или я останусь, и будем жить вместе, и вместе появляться на людях, и зарегистрируемся в интересах экономии на гостиницах, и тогда я буду стареть без страха, и не стану бояться ночей без мужика...» Но все же хотя бы сказанное было искренне и просто.

Поэтому я сказал: «Подожди минуту, моя хорошая, ладно?», допил стакан, договорился с Валей, что приеду к ней утром и побуду часок, перезвонил Тане и сказал, что сейчас выезжаю и буду, если не возражает, до утра, а потом набрал восьмерку... гудок... восемьсот двенадцать... номер в гостинице.

— Женечка? Это я. Да нет, я совершенно трезвый. Просто пожелать спокойной ночи и попросить, чтобы ты не расстраивалась...

— Ты разбудил меня, — сказала она, и я по-

нял, что даже в самых запущенных случаях человек иногда бывает искренен — только в ответ на искреннее чувство.

— Не сердись, — сказал я смиренно, положил трубку, оставил кошке еды на сутки и вышел в ночной подъезд, заселенный бродягами.

Машину я поймал сразу же.

Это был очень фасонистый белый «жигуль — восьмерка», за рулем которого сидел человек в черном плаще и черных автомобильных перчатках — без пальцев и с дырками. Он повернул ко мне лицо, и я увидел, что его левый глаз вертикально растянут, а через лоб тянется глубокий шрам-вмятина. Такой след мог бы остаться от удара саблей по лицу слева.

6

С детства, будучи полным и типичным маминим сыночком (да еще и бабушкиным предметом круглосуточного попечения), впечатлительным читателем и рано созревшим чувственником (соски на груди набухли, ни черта не могу понять, прижимаю их с естествоиспытательскими целями, замирая, жду, смотрю вниз, а, вот, вот, на черном сатине уже проступает... и, высыхая, превращается в проклятое, белое) — с детства я не переносил вида разрушенной или разрушаемой плоти. Шрам на животе отца, обезглавливаемая на чурке курица, продырявленная оставшимся в доске гвоздем ладонь друга, кровь, текущая по лицу пьяного, вызывали одинаковое содрогание, быструю тошноту. Впрочем, тошнило от многого: от угольного смрада паровозов, от

качки в «Ли-2» между Сталинградом и Адлером, от пыли, влетающей под брезентовый полог «вил-лиса», от комков в каше, от запаха, свойственного Генке Качаеву, — но сильнее всего и почти сразу до рвоты от вида живого тела, цельность которого была нарушена.

Бог миловал меня самого от травм, хотя, конечно, Всевышнему в четыре руки помогали и две женщины. В городке, где преступности не было как таковой — если не считать повторявшегося ежегодно сюжета: солдат бежит из части с оружием, комендантская рота его ловит в степи, соседка говорит матери «изнасиловал», мать замечает меня и уводит соседку в прихожую, плотно прикрыв дверь, занимайся, занимайся, арпеджио, потом Гедике — в нашем тишайшем городке мать провожала меня и в школу, и в музыкальную лет до одиннадцати, гулять позволялось до восьми, в лагерь не отправляли ни разу, что будет, если раскроется тайный поход в степь (а уж тем более на реку), я даже старался не думать. Драки в классе и на школьном дворе всего раз или два кончались кровью, но из носа, то есть как бы не совсем кровью, без видимых разрывов, разломов, без открывания внутренностей! Вот чего я боялся — внутренностей, вторжения в тайное, скрытое, в жизнь под кожей, под покровом. А потом я очень быстро вырос, перерос весь класс, и длинными руками не то чтобы повергал противников, а просто удерживал их на расстоянии, чаще всего схватив за запястья. И с велосипеда почти не падал, а если падал, то не обдирался так, как другие, — чуть не до кости свозя локти и колени. Первую ерундовую операцию сдела-

ли мне уже семнадцатилетнему, нарыв под мышкой, известный в народе под названием «сучье вымя», результат первой студенческой поездки в колхоз, спанья не раздеваясь, холодной грязи вокруг. Я хорохорился под местной анестезией, шутил с врачешкой, потом скопил глаза, увидел входящий в меня синеватый скальпель, услышал хруст — и потерял сознание. Тогда еще говорили «отключился», а не «вырубился»...

Все прошло. Уже не тошнит меня ни от чего, и рвало в последний раз лет двадцать пять назад, не знаю уж, сколько мне теперь надо для этого выпить, во всяком случае, засыпаю раньше. И когда слегка поддавшийся в тяжелую праздничную ночь доктор в 20-й, специализированной по «скорой» больнице вытаскивал упершийся в мою грудинную кость и отломившийся конец старенького, сильно сточенного ножа, вполне спокойно наблюдал я его работу, надрезы, стягиванье, шитье, только шипел тихим матом, потому что все дело шло без всякой заморозки — был я куда пьянее хирурга моего, и он совершенно резонно решил добро на меня не переводить... И лежавший у автобусной остановки на въезде в тот город почти пополам перерезанный очередью армянин... И живая корова с аккуратно отрубленными ногами... И двадцатилетняя снайперша с выколотыми глазами... И вдавленная в распаханный гусеницами асфальт голова, и туловище, от которого она была оторвана, — в метре, совершенно не поврежденное... Сгоревшие, скрюченные, сломанные, порванные. Все. Не тошнит.

Ночью, наливаясь на кухне, не вспоминаю. И не снятся уже. Плачу не о них, — о себе плачу,

о мелких своих бедах, о будущих горестях, о пьянстве своем кухонном, о невыносимости любви, о горьких обидах. А о растерзанной плоти человеческой уже не плачу.

Но с тех пор, как стала она переносимой, все чаще вспоминаю то, что и помнить-то не должен.

Мне было три года. Мы жили в бараке, в одной комнате — мать, отец и я. Я сидел за столом, на обычном стуле, как бы венском, но с сиденьем, забитым крашеной фанерой. Я повернулся лицом кгнутой спинке, вцепился в нее руками и начал рулить, рычать, как мотор «доджа 3/4», на котором мы недавно ездили в город. Мать тоже сидела за столом, на который перед тем поставила ручную машинку «зингер» и быстро-быстро крутила ручку, и сшиваемая ею в простыню портяночная, желтоватая, в узелках бязь ползла на стол. Было скучно, может, поэтому я умудрился сквозь свое рычанье и стук машинки услышать шаги отца по длинному коридору. Спрыгнув со стула, я побежал на еще кривых ногах к двери, распахнул ее изо всех сил — она открывалась наружу — и шагнул через порог.

Двое солдатиков, которых утром привел с гауптвахты конвойный для рытья общего погреба в офицерском бараке, за день работу почти закончили, а именно: они вскрыли пол в коридоре, выпилив в нем квадратную дыру и под этой дырой вырыли яму метра в полтора или чуть больше глубиной. Им еще предстояло яму эту углубить, подровнять ее стены и укрепить их брусками, сколотить из разного подручного материала (включая и выпиленные куски половых досок) крышку, выстрогать и прибить к этой

крышке деревянную же ручку в виде низкой буквы «П» — и уж тогда сдать работу жене старшины, который с огромным своим семейством тоже жил в офицерском бараке и чьими стараниями погреб, собственно, и возникал. Но завершить дело губари — производное от губа, гауптвахта, слово, употребляемое в гарнизоне всеми, в том числе и образованными женами офицеров — не успели, поскольку конвойный их увел на прием горячей пищи, которая, как известно, положена им раз в день.

А яма в темном коридоре осталась. И осталась на дне ямы воткнутая «гребнем» в землю и торчащая «штыком» вверх кирка. И я полетел в эту яму.

Когда отец спрыгнул за мной, я сидел на дне, а кирка торчала прямо у меня за спиной и ее штыковидный конец возвышался над моей головой. Отец попытался меня поднять, но что-то ему мешало, он потянул, раздался треск, и моя бязевая рубашка — сшитая матерью, естественно, из того же портяночного полотна, думаю, приворовываемого старшиной и продаваемого его женою офицершам — разодралась на спине полностью, обнаружив, что кирка прошила ее сзади насквозь. На спине у меня были две небольшие царапины, никакого другого увечья не обнаружилось. Когда мать заглянула, посветив фонариком, в яму, у нее началась истерика...

Что же касается меня, то я почти не плакал, не стал заикаться, чего очень боялась мать, но непрерывно и очень оживленно рассказывал всем желающим — соседкам, в основном — о случившемся. Я говорил нечто о яме, о папе, о лопа-

те (так я называл кирку), о рубашке, и женщины слушали, пугались, хвалили маме мою речь (ну прямо как взрослый, такой он у тебя, Инночка, развитый, да ты ж и сама начитанная) и снова пугались (ведь проткнула бы, насквозь проткнула бы, один миллиметр всего). Но я продолжал рассказ, и дамы начинали удивляться.

Там был дядя, черный, говорил я, он стоял в яме, он меня поймал, потом толкнул и улетел вверх, как аэростат, черный дядя, настаивал я, весь черный, он меня поймал, прицепил к лопате и улетел, это дядя меня прицепил к лопате, я упал прямо попой на лопату, а дядя поймал, прицепил за рубашку и улетел. Испугался он у тебя, Инна, говорили женщины, придумывает чего-то, испугался сильно. Какой дядя, маленький? Мишенька, где дядя-то был? В погребе? Чего он черный, Мишенька? Не в погребе, злился я, не в погребе! Черный дядя там стоял, он меня поймал и прицепил к лопате (это он кирку лопатой называет, да, Инночка?), он меня взял, когда я упал.

Все думали, что я просто очень испугался. И только мать мне поверила. Он был весь черный, спросила она — весь, весь, мамочка, мамулечка, быстро-быстро заговорил я, на нем была черная шинель — или пальто, спросила мама — пальто, спешил я, и черная шапка, черные волосы и здесь, вот здесь — усы, сказала мама, это был большой дядя, спросила она — большой, как ты, бормотал я, засыная, большой дядя, черный...

Отец уже спал, и я засыпал, а мать сидела рядом со мной, рядом с моей кроватью, детской настоящей кроватью, привезенной среди трофеев в

эшелоне из Кенигсберга. Боже, чужая детская кровать, я засыпал и бормотал о черном дяде, который спас мне жизнь.

Сидя же на кухне, и наливаясь водкой, или коньяком, или виски, я теперь не плачу об убитых и растерзанных — я поминаю их по-другому: я укоряю черного дядю за то, что он свел ночью сорок третьего мужа с женою, за то, что поймал мальчишку в сорок шестом, летевшего задницей на кирку. Я думаю, что если я не плачу сейчас о всех убитых, то, может быть, лучше было бы не быть мне рожденным или быть растерзанным тогда, в три года, прошедшим насквозь металлом... Боже, ну почему же не плачу я по ним?

Бормочет, как во сне, приемник. В Нью-Йорке тридцать шесть, в Лондоне двадцать один, в Париже тридцать, в Риме... в Дели... в Буэнос-Айресе... Ночной прогноз мировой погоды. О чем же я плачу, если не о растерзанной плоти?

Но звонит телефон, и одна только жизнь остается во мне, мучительная жизнь, пересиливающая муку смерти. Быстро, быстро, мой маленький дружок, нас ждут, душ быстренько, рубашечку, носочки, плавочки итальянские, туалетную воду «One man show», переводимую на русский веселыми продавщицами как «Один мужик показал», сейчас начнется этот не кончающийся, в общем-то, театр одного актера, быстро, ботинки протереть и бегом, бегом, зубную щетку в один карман, верный «браун» в другой, смешной одеколон в третий, сигареты, зажигалка, ножичек красный со швейцарским крестом и наконец сзади, за пояс, как Ив Монтан, Царствие ему Небесное, стволом на копчик... И — вперед!

Изуродованный шофер в черном был страшен не только шрамом. Весь его вид, и вид его машины изнутри, и манеры его были не то чтобы странны, но просто необъяснимы, безумны.

Повертевшись в тесном и засыпанном, как у нас водится, всякой дрянью нутре этой маленькой машинки, я с удивлением понял, что это даже не «восьмерка», как показалось мне в темноте снаружи, а «таврия», примодненный «запорожец». Удивление было вызвано тем, что люди, как этот водитель, на «запорожцах» не ездят, и не возят на приборной доске «запорожца» небрежно брошенный радиотелефон, «cellular phone Motorola», и не носят на правом запястье несколько уже не актуальный, но аутентичный американский солдатский браслет с группой крови, а на мизинце Йельский университетский перстень, а на другом запястье тяжеленные часы «seico» типа «подшипник», фетиш семидесятых, и чикагского стиля черный плащ не так запахнут, и черная рубашка под ним с черным же похоронным галстуком не так распущена в вороте, и не так косится изуродованный левый глаз через приплюснутую и кривую переносицу на пассажира...

Но — главное! — не так едет нормальный «запорожец», да хоть бы и «таврия». Не несется по осевой даже ночью, не взлетает правыми колесами на тротуарные бордюры, не перепрыгивает открытые канализационные люки, не выскакивает на пустую иногда по ночному времени встречную полосу, не протирается у светофоров в первый ряд и даже перед ним, не зашкаливает стрелку какой бы то ни было «таврии» за сто-

двадцатикилометровым лимитом. И мотор, ох, не так мотор шумит...

— Гараж? — спросил в «селлулар фон» перерубленный водила, одной рукой прижимая к уху дьявольский аппарат (странно все-таки, согласитесь, из маленькой машинки на всем скаку по телефону звонить?), а другой, всем предплечьем, налегая на небольшую баранку и выворачивая ее на сотке так точно, что, слегка подпрыгнув, машинка въезжает на трамвайную линию, идущую вдоль низкой чугунной ограды бульвара, мчится, дрожа, по рельсам, обгоняет подтягивающийся к перекрестку поток и успеваает просквозить на зеленый. — Гараж? Привет, это седьмой говорит. Я задерживаюсь немного, тут нужно товарищу помочь. Через тридцать две минуты буду. Отбой.

— Интересная у вас машина, — робко сказал я, косясь на шофера, как бы приплывшего из молодости моей, из дивной и удивительно жизненной в деталях песни «Мы идем по Уругваю», из фильма «Плата за страх», из еще чего-то столь же ушедшего в прах времени. — Странная такая машина, и ведете вы...

— Веду, как положено, — сказал водила, закладываясь в левый поворот там, где и правого-то не могло быть, — спецправила по спецвозведению для спецмашины, седьмая часть: «Калым, подкалымливание и другие нештатные использования спецавтотранспорта». А аппарат, действительно, хорошо ребята подготовили: стойки укрепили, подвеску перебрали, двигатель Ванкеля, электрика вся с «мицубиси» взята, только кузов с «таврии», но наварной. Машина, действительно, что называется...

— А я тут спешил, — начал я, — поздно уже, народ ехать не хочет, как будто им деньги не нужны...

— А я вижу, что интеллигентный человек спешит. — Шофёр вытащил из бардачка не столь уж популярный сегодня «Kent», положительно, он задержался в семидесятых, прикурил «gopson'ом» реактивных форм. — Ну, вижу ведь, что интеллигентному человеку нужно...

С этими словами он въехал на тротуар, обгоняя троллейбус, и спрыгнул на мостовую точно в объятия пыльного (видно было даже в темноте) инспектора-капитана, в центре мегаполиса почему-то стоявшего в грязных сапогах.

Я сидел в машине, а он пошел объясняться.

— Может, вы дадите ему десять тысяч, — сказал он, вернувшись и роясь в сумке, вытащенной с заднего сиденья, — может, вы покажетесь ему вместе с документом, может, отпустит? Что же я, пистолет ему буду показывать, что ли...

Он, продолжая рыться в сумке, как бы что-то ища, как бы нечаянно, немного распахнул плащ и обнаружил слева подмышечную кобуру, светлой кожи итальянское изделие ширпотреба, в которое был не очень ловко упакован один из величайших пистолетов — довоенного выпуска, с крупным рифлением на затворе — «ТТ», калибра 7,62 (подходит и «маузер-7,63»).

— Может, стоило бы показать? — робко предположил я.

— Не рекомендуется, — твердо сообщил водитель. — Лучше я этому козлу две кассеты дам с Брюсом Ли, он согласен...

Я промолчал, поскольку на Брюса Ли возразить было нечего.

И мы поехали.

Мы поехали, черт бы нас побрал, въехать бы нам по дороге в ставший поперек асфальтовый укладчик, в его тяжкий крутой зад, в неподъемный его, памятникобразный задний каток, да расшибиться бы в кашу, в слизь, в уничтожение, да кончить бы все это дело. Мы поехали в самоубийство, сто тридцать в городе, поперек сплошных линий, прямо на ментов, через газоны и разделительные полосы.

— Так я понимаю, вы спешите к даме, — сказал спецводитель. — Все ясно, дело знакомое каждому. Единственно, что хотел бы посоветовать, если позволите: с дамою этой вы к концу свидания сегодня же и порвите. Сколько можно тянуть? Запутываетесь вы в отношениях все ужаснее, прежде, бывало, в именах лишь ошибались, а сейчас вам ваши блондинки уже все не только на одно лицо, но, пардон, и прочие детали организмов сливаются...

— Позвольте, — от неожиданности этой интонации и оттого, что кривой наглец был совершенно прав, я даже забыл про его аргумент под мышкой и перебил довольно резко, — а какое, собственно, ваше дело? Моя личная...

— Есть дело! — рявкнул дьявол. — Вы по званию кто?! Старший лейтенант запаса. А я Полковник! Специальных! Внутренних! Воздушно! Десантных! Войск! Особого! Назначения!

И замолчал. Провизжав по асфальту резиной, его взбесившаяся консервная банка стала задом точно к тому подъезду, где меня, вроде бы, должны были ждать.

— Счастливенько вам, — как ни в чем не бывало сказал шофер голосом обычного калымщика, принимая десятитысячную бумажку.

Был этот страннейший человек весь в черном и знал то, что никак случайно остановленный водитель знать про меня не может, будь он хоть маршалом спецназа всея НАТО, СЕАТО и остальных некогда агрессивных, а теперь глубоко дружественных блоков. Человек в черном, дающий мне совет, как облегчить, сделать выносимой мою жизнь. Конечно, если уж он ее спас, эту задницу, от кирки, то смотреть, как на нее ищут приключений, ему неприятно. Опекун. Его, что ли, почерком и записочка была накарябана? Интересно, Галка у них в штате или разовое поручение?

— Здравствуй, — сказала Таня, открывая дверь, установленную в сотрудничестве с соседями на входе с лестничной площадки в отсек, общий тамбур для четырех квартир, — я видела, как ты подъехал на каком-то драндулете. Так спешил, что взял машину, а приехал только через два часа. Что-нибудь случилось?

Не помню уж, что я ответил, но нечто раздраженное. Боже мой, ну почему ей надо проникнуть в каждую секунду моей жизни?! Неужели это навсегда — ее расчеты моей средней скорости, расстояний и времени, сопоставление, анализ, вопросы?

В комнате уже была раздвинута во всю ширину, накрыта свежим бельем тахта, горела небольшая лампа в углу, маленький стол был придвинут к ложу и, в соответствии с классическими рекомендациями, стояла на нем большая та-

релка с яблоками. Для завершения картины я достал из сумки бутылку шампанского.

И лишь следующие полчаса дали отдых от пошлости.

Потому что любить в постели она умела так, как никто до нее не мог и после не сможет. Во всяком случае, она сама была в этом уверена, а самоуверенность передается окружающим в виде почтения. И как только она ложилась — или вставала, или садилась, или выгибалась, или повисала, или взмывала, или падала — я проникался полнейшей серьезностью и в течение некоторого времени, от пятнадцати минут до часа, бывал старателен, упорен, сосредоточен и делал порученное мне дело достойно и честно.

Если же не ерничать, то с огромным наслаждением, которое не мог уменьшить даже ее характер, — она была столь же невыносима в жизни, сколько неотразима в постели.

А через полчаса, уже одевшись, уже выпив нелюбимого шампанского, вдруг я открыл рот и сказал вот что:

— Ну, будем считать, что мы попрощались. Я не могу больше продолжать наши отношения. Извини...

Я произносил эту небольшую речь и удивлялся каждому слову все больше и больше. Я чувствовал, что открывается мой рот, но слышал его голос, ах, проклятый водила, да кто тебя уполномочил рвать за меня с моей многолетней любовью, лезть в мои действительно запутанные амуры — но в мои?! Впрочем, незаданный этот вопрос был чисто риторическим, потому что как

раз полномочия-то у него были, не могли не быть.

Она плакала, слезы ползли по весьма уже глубоким, увы, носогубным складкам, рано отмечающим наших женщин. Закаленные столичные жительницы, выкуривающие по две пачки, перепивающие мужскую компанию, не спящие по три ночи подряд, не последние в выбранных профессиях, навсегда застрявшие между тридцатью пятью и сорока — они сохраняют в недоступности для времени и усталости все: небольшие скромные груди, вполне пригодные для самостоятельной жизни в достойных руках, а не в белье «Triumph»; тонкую и чистую кожу повсюду, не темную даже там, где у ровесников иного пола она уж давно стала сизо-коричневой, а лишь чуть розоватую; ясность глаз, создаваемую сочетанием хорошо проявленного (карандаш «Lancome») цвета радужки с голубизной, без единого кровоизлияньица, белка; свежесть всех слизистых и волосяных, тайных и явных... Но две... нет, три вещи подводят бедных наших прекрасных товарищей. Немного, чуть-чуть разносившиеся ступни: едва заметно изменившие заданному направлению — хотя ухоженные, ухоженные! — пальцы, и косточки, косточки, черт бы их взял! Взгляд, когда отвлекутся и сосредоточатся, твердый, даже суровый, мужской совсем, ох, мужской, а жизнь какая, девки, какая у нас жизнь? И, наконец, the third one: складки, соединяющие иногда (от слез, в основном) красноватые крылья носа, носика даже, с уголками рта (о, рот, особый разговор!), все глубже они с каждым прозрением, откровением, открыванием

жизни, старая уж ты дура, чего ж ты ждала, чего можно дожидаться от этих истериков, алкоголиков, боящихся всего на свете, — смерти, жены, безденежья, неудачи, жизни, бедная девочка, чего ж ты ждала, неужто счастья и верности? Все глубже складки на чистеньком, без морщинок лице. Все больше сходства придают они кокетливому личику первой красавицы сезона с твердым фэйсом землепроходца, авантюрного одиночки, тихо раскуривающего сигарету перед форсированием водопада...

— Ты все придумал, — сказала она, продолжая плакать, халат распахнулся, и я видел небольшие скромные груди, тонкую и чистую кожу, свежесть всех тайных и явных... Я видел также ступни, косточки, залитые слезами складки и все остальное — но все это меня почему-то уже совершенно не касалось, чертов спец, чтоб ему провалиться туда, откуда вышел! — Ты придумал себе какую-нибудь очередную любовь, как ты придумал в свое время любовь ко мне. Но у нас уже годы, все стало давним, я привыкла, понимаешь?! Ты понимаешь, сука ты бесстыжая, что я к тебе привыкла? Ну, пожалуйста, пожалуйста, милый мой, мальчик мой любимый, не бросай меня, и мы еще долго, долго, и все пройдет...

— Не кричи, — сказал мною Полковник. — И если ругаешь меня, то почему же в женском роде? Не кричи, пожалуйста, все равно ничего не сделаешь уже...

После чего я разделся, она кинула назад халатик, и мы проделали весь путь с самого начала. После чего я ушел, попытавшись ее поцеловать на прощанье, но она отвернулась.

«Таврия» стояла у подъезда, и как только я вышел, он включил зажигание.

— Теперь к которой? — спросил он, выезжая на шоссе, на тысячу раз езженное шоссе, все, прощай, шоссе, прощай! — На Дмитровку, на Шереметьевскую или сразу домой?

— На Шереметьевскую, — ответил я, не то что не удивившись, но даже начиная задремывать, что нередко бывает со мною, стоит мне занять в машине пассажирское место, — на Шереметьевскую, шеф, по дороге на полчаса на Делегатскую, ну, шеф, сам понимаешь, Пролетарку надо проехать, ну, там буквально пятнадцать минут, а уж оттуда на Дмитровку, конечно, командир, на Дмитровку обязательно, ну, и домой, куда ж еще, время позднее, домой пора, в гавань, в крепость...

Когда, открывая в четверть восьмого утра свою дверь, я обнаружил, что изнутри накинута цепочка, я даже не удивился. Как еще могли закончиться поездки на «таврии», вслед которой я посмотрел минуту назад?

Она была вполне одета, в прихожей стоял чемодан, с которым она уезжала.

— Ты вернулась? — задал я единственно возможный вопрос. — Что там в Питере? Между спектаклями перерыв?

— Ты дурак, — и она нашла единственно возможный ответ. — Ты предатель. Я была тебе хорошей женой, я старалась...

— Женой... хорошей... — осторожно, но с двусмысленной интонацией перебил я.

— Ты просто тварь, — отреагировала она, и

была больше права, чем ей казалось. — Я приведу себя в порядок, возьму, что необходимо, и вернусь в Питер сегодня же. Через месяц, когда гастроли кончатся, я буду решать...

— При чем здесь ты? — опять перебил я, уже злобно, откуда злоба-то взялась, где ж у меня совесть-то... — Ты здесь ни при чем, у тебя, как всегда, все в порядке... Я могу уйти хоть сегодня, а уж к твоему приезду, блуждающая звезда, примадонна, общенародная и всеми заслуженная...

Тут-то она и въехала мне по роже и ушла в ванную. Я подошел к зеркалу — оценить количество жертв и размеры разрушений.

За правым плечом и за левым плечом стояли они, в черном и белом, меняясь местами, доброжелательно подмигивая и строго кривя губы. Взяли они меня в наблюдение и разработку.

Вы чего, ребята? За мною, что ли? Пора, что ли? Срок?

Не болтай чепухи, старый. Просто присматриваем, а то ты не знал, присматриваем просто, чтобы совсем уж в разнос не пошел, девушек твоих, старый ты козел, регулируем и утешаем, присматриваем, понял?

А чего за мною присматривать, мужики? Ну, бабник умеренный, ну, сильный до умеренного, ну, пишу свои картины, снимаюсь в своем кино, песенки свои пою, стишки свои сочиняю, статейки свои публикую. Чего присматривать-то? я бы и сам от тех ушел, я бы и сам эту достал бы до края, я бы и сам...

То-то и оно, что сам. Думаешь, не слышали,

как ты с другом беседовал? Мол, лучший способ — к каждой щиколотке по кирпичику тяжелому проволокой примотать, да на перила старого мостика, да в височек из пистолетика, в срок приобретенного — чтобы без хлопот для оставшихся... А говоришь, присматривать не надо.

Вздор это все, ребята. Какой пистолет, какая проволока? Мечты детские... Дайте вы мне жить, как получается, а? Оставьте вы меня.

Сегодня до вечера свободен, у нас собрание. Но не вздумай чудить, понял? Все равно найдем, ты ж нас знаешь...

Знаю, знаю...

Я лег на диван и уснул. Засыпая, я слушал, как в ванной моется женщина, как гудит ближняя улица за окном, как звенит в ушах давление.

7

Москва, сентября 19

Г-ну Кабакову
Александрю Абрамовичу,
автору

Милостивый государь!

Обратиться с этим письмом к Вам меня вынудили обстоятельства, известные Вам столь же, если не более, как мне. Речь идет, нетрудно понять, о сочиняемом Вами сейчас романе, с пер-

выми главами которого я, увы, познакомился в течение нескольких недель минувшего лета самым непосредственным образом. Вполне отдавая себе отчет в двусмысленности и даже некоторой противоестественности моего поступка, решаюсь, тем не менее, беспокоить Вас нижеследующим исключительно по причине окончательной невозможности дальнейшего существования в предложенных Вами обстоятельствах. Более того, не только моя жизнь вследствие помянутого сочинения осложнилась до почти совершенной невыносимости, но и судьбы иных лиц, преимущественно дам, созданий слабых и уязвимых, оказались ущерблены. Вам, верно, они представляются лишь персонажами более или менее второстепенными, а мельком появившаяся главная — по Вашему разумению — героиня уж в любом случае не больше заслуживающей деликатного обращения, чем Ваш покорный слуга.

Позвольте же заметить, сударь, что отношение такое я считаю не христианским, не благородным и даже вовсе бессовестным, и за слова эти готов отвечать не только перед Вами, как порядочный человек, но и перед Господом.

Перейду, однако, к сути.

Что, собственно, есть предмет прожитых мною и моими близкими к сегодняшнему дню глав? Постоянно отвлекаясь пересказами историй из моего раннего (и даже неначавшегося) детства и из юности моей, как у многих, бессмысленно проведенной, Вы повествуете о нескольких летних днях и ночах, в продолжении которых я прощался со своей прежней жизнью, — по преимуществу, с близкими приятельницами, — намерева-

ясь начать жизнь новую, не то в чистой и единственной любви, не то, напротив, окончательно гибельную, опустившись на дно общества. При этом Вы утверждаете, что некое предчувствие того и другого возникло в моей душе давно, будто бы я даже был уверен, что рано или поздно опущусь, погибну как приличный человек, «пропаду», как Вы изволили выражаться. Таков не то что бы сюжетец, сюжета здесь давно никакого нет, но словно мотив Ваш.

Что ж, скажу я, и это может быть предметом литературы. Вот хотя бы «Живой труп» г-на Толстого, или некогда виденный мною французский кинофильм «Столь долгое отсутствие» с Бурвилем, ежели не ошибаюсь, в главной роли, или роман некоего Стоуна (не Ирвинга, а другого, имя изгладилось из памяти) «В зеркалах», лет двадцать назад читанный мною в журнале «Иностранная литература»... Словом, Вы могли бы, как это Вам, уж простите, вообще свойственно, пойти по давно и успешно пройденному другими пути и написать доброкачественную психологическую вещь. Дескать, жил себе человек, вел принятый в его кругу умеренно светский образ жизни, трудился по мере сил и Божьего дара на избранном поприще (а-пропос: о профессии моей позже специально скажу), имел романтические приключения, но устал от всего этого, смысла стал искать, оправдания — да в висок себе и пальни. Или, можно предположить, начал пить, с непотребными людьми проводить ночи и докатился до золотой роты. Или сначала второе, а после первое. Одним словом — грустный роман, русский, да хоть бы и не только русский, в чем-

то и поучительный. И, смею Вас уверить, ровно никаких претензий у меня бы не появилось, и уж конечно, письма бы герой автору не стал бы писать. Оно в таком-то романе и невозможно.

Но Вы, почтенный Александр Абрамович, избрали иное.

Прежде всего, выше всякой меры увлеклись мистикой, сверхъестественным в немецком духе, всяческим суеверием, годным разве что для детских сказок и интересным лишь навечно оставшимся в недорослях читателям довольно известного романа драматурга Булгакова. Да коли бы получилось хотя как у него! А то ведь просто смех читать — какие-то мужчины в черном и в белом, спасители, хранители, искусители, за правым плечом, за левым, говорят, как филеры, а по сути-то ангелы якобы... Полноте, господин автор, ведь просто чепуха вышла! И любой, хотя бы критик той же «Беспредельной газеты», вам скажет, что вся эта чертовщина — от бессилия, оттого, что сюжеты иссякли, что эпигонство в крови, что сели писать роман, а романа-то нету-с.

Однако пойдем далее, благо не одними ангелами населили Вы сочинение Ваше.

Вот герой, Михаил Ионыч Шорников, я, то есть. Первое: чего это Вам в голову вошло, что у меня отчество Янович, от переделанного подомашнему батюшкиного имени? Никогда такого не бывало, и в бумагах я записан Ионычем, и зовусь так, а ежели Вас, сударь, смутило совпадение с известным персонажем, то, смею уверить, мне это в самой высокой степени безразлично. Мы, должен признаться, персонажи, то есть во-

обще к литературе интереса не питаем. А уж коли Вам Ионыч не нравится, чего ж об этом за-
года не подумали? Или подумали, но ради како-
го-нибудь мерзкого, простите, фокуса Вашего,
сочинительского, оставили как есть.

Но это, относительно отчества, — мелочь, к
слову пришлось. Есть у меня к Вам, господин
хороший, счетец и покрупнее. Скажите, как на
духу, для какой цели понадобилось Вам меня на
части делить? Для чего у Вас один Шорников
как бы живописец, другой — не то поэт-импро-
визатор, не то певец романсов, третий актер (и в
какой-то даже дурацкой фильме должен участво-
вать, конкистадора изображать, плывущего по
Волге!), четвертый якобы Ваш брат-белле-
трист... У одного кошка живет, у других ее в по-
мине нет... Зачем? Не потому ли, что одну, да
положительную какую-нибудь профессию герою
дать в руки — это ж вещь серьезная, тут дело
знать надо, а щелкопера-то, фигляра или модно-
го маляра изобразить Вы из себя можете. Зани-
мались когда-то ведь по технической части, мог-
ли бы хотя эту область деятельности знать, да
позабыли все в пустой жизни, к тому ж неинте-
ресны Вам кажутся инженеры, жены их, мирное
филистерство. Как же, Вы романтик-с, Вас от
простого человека, ходящего в службу, любяще-
го жену и детей, за всю жизнь свою ни в какой
авантюре не побывавшего — воротит, простите
за грубость.

Впрочем, воля Ваша, но и все эти резоны
для такого расщепления человеческой личности
(между прочим, мыслящей личности и вовсе этой
вивисекции не заслужившей!) мне кажутся вто-

ростепенными. А главное все то же эпигонство Ваше, и уж тут-то оно проявилось вполне в обычном для Вас направлении. Роман «Ожог» небось читали, сударь? Писателя такого, Аксенова, знаете? Вот то-то и оно. Все оттуда! И герой в разных профессиях один и тот же мечется, и дамские приключения бесконечные — все позаимствовало. Стыдно-с. Реалистам-то подражать не можете, так нашли достойный образец, ничего не скажешь.

А чего стоят Ваши описания туалетов, конфекции мужской, перечни имен портняжных и торговых, заграничной галантереи! Это уж, батенька, вовсе того... попахивает.

Теперь перейду к тому, что Вы без зазрения совести называете «любовью». Сколько смог я понять, Вы утверждаете, что некая смуглокожая и темноволосая девица, явившись в моей молодости в образе фельдшерицы, навсегда очаровала душу мою, впоследствии же была вытеснена многими (кстати, откуда многих-то взяли? нескромно, милостивый государь, сплетни собирать), ну, пускай многими светловолосыми моими любовницами, женами и случайных встреч соучастницами, но под старость первая любовь вернулась ко мне в том же смуглом южном виде, вновь возжгла в усталом моем сердце огонь и, словно мстя за предательство своей масти, спалила сердце дотла...

Верно ли такое изложение Вашего повествования? Думаю, что верно. И, заметьте, насколько оно короче и притом выразительнее оригинала.

Тем не менее, и в таком пересказе очевидна глупость и пошлость самой идеи.

С уверенностью одержимого Вы выстраиваете все на совершеннейшем вздоре: якобы светлые и темные волосы составляют главный для мужчины любовный выбор. К тому добавляете изобретенную Вами же классификацию: будто бы существуют некоторые типы, меж которыми и мечется всякий сильного пола, и я в том числе. К примеру, плотного сложения блондинка, почему-то всегда необыкновенно страстная (чтобы не сказать распущенная), и изящной комплекции брюнетка, каким-то сверхъестественным образом обязательно оказывающаяся холодной. Ну, положительная же ведь чепуха! Мало того, что общераспространенному взгляду и опыту человеческого противоречит, так ведь и в существовании такого разделения глупость и самоуверенность, больше ничего. Как это Вы по волоску целого человека определяете, хотя бы и даму? Тоже взялся Кювье, прости меня, Господи.

Между нами, уж ежели зашел разговор, я лично имел подтверждения противоположному взгляду. Была, допустим, одна чернявенькая, евреечка, а гророс, так, я Вам, батенька, доложу, до истинных предсмертных судорог... Впрочем, умолчу по благородству. Или, предположим, напротив, светленькая некая, из синих чулков (!), и, хотя имела к недостойному большую склонность, нисколько, никак и никоим образом завершения не достигала, а единственно чем утешалась, так это чисто наружной процедурой, как бы орошением сада ее светлого... Простите, опять увлекся. Словом, нету в этом никаких законов и установлений, а если и есть, то не Вам, уж простите, сударь, их открывать либо устанавливать.

Вон г-н Попов из Петербурга, из Ваших тоже, автор, тот и вовсе непотребное выдумал, вот, пожалуйста: «...Тот, кто занимался этим делом всерьез, а не теоретически, знает о невероятной притягательности большого, белого, рыхлого, даже дряблого женского тела с синеватыми прожилками; особенно в сумерках тусклого петербургского пьяненького рассвета — никакого сравнения с загорелыми упругими, накачанными, якобы женскими, телами, что навязывают нам рекламы западных кремов и трусов». Вот, извольте видеть, тоже постулат. Хотя, если уж откровенно, я скорее с этим циническим, но, бесспорно, тонким наблюдением над жизнью соглашусь, чем с Вашими романтическими пошлостями.

И еще к слову: кто это вам, беллетристам, право дал по чужим постелям-то шастать и все интимности афишировать? Что за отвратительный реализм! Неужто если б Вы все Ваши описания да изображения заменили бы только одной фразой, положим: «И они предались страсти...», или: «Огонь желания охватил их, и они отдались чувству...» — неужто взрослый читатель всего последующего сам не домыслил бы? Смею Вас уверить, господин Кабаков, домыслил бы, и лучше Вашего бы домыслил. Но Ваш брат в чужие фантазии не верит, и вот-с, извольте, читаю у некоего г-на Юрьенена, Вашего, насколько знаю, друга, живущего, натурально, за границей: «...он принялся вколачиваться изо всех спортивных сил, и она стала вскрикивать, одновременно пожимая его предплечье в знак того, что не от боли это, а наоборот. Чтобы не так пронзительно

вскрикивать, она укусила подушку. Она очень чутко при этом следила за ним, так что когда он остановился и — на самом краю оргазма — попятился из нее...» Фу, не буду продолжать. И для чего это, позвольте Вас спросить? Не стану спорить, описано точно и выразительно, так и видишь (дело, замечу, идет о потере юношей невинности) всю картину, но зачем?! Какие цели преследуете, господа? Да вспомните вы хотя б великих наших, Пушкина: «...Я помню чудное мгновение...» И, *entre nous*, мгновение-то, как выяснилось, действительно было чудное, другу сообщил, а читателю — умолчал. Не Вам чета.

Только расстроил совершенно нервы, цитируя Вас, так что и продолжать не могу. Скажу лишь в добавление, что помимо глупой таинственности и «любви» в той части романчика Вашего, которую я уже испытал, вовсе ничего нет. Будто живу я в пустыне, без друзей, без общественных веяний и сотрясений, без идей и вопросов. Единственное исключение: вписали водевильный пасквиль на современное культурное общество, «тусовку» (!) Ну-с, это-то Вам известно... А ведь прежде, уважаемый, Вы совсем иным путем шли, достойным, и снискали даже некоторое уважение в отечественном обществе именно что гражданским духом, вниманием и чуткостью к событиям времени, включая и грядущее. Для чего ж Вы оставили это — для скабрёзности и суеверий. Хорошо, нечего сказать, русского-то писателя выбор.

Пока еще не поздно, одумайтесь, не тратьте втуне способности свои, пусть и скромные. Дайте герою достойную судьбу, дайте читателю сюжет

поучительный, критику, наконец, дайте хоть малый повод для упражнения мысли. Не загубите нашего общего с Вами дела.

А за резкость — простите. Мы с Вами люди не чужие.

С совершеннейшим почтением,
преданный Вам
Михаил Шорников.

Шорникову М.Я.
Москва, Главпочтамт,
до востребования

Дорогой Миша!

Получил я твое письмо, прочитал, даже перечитал — и крыша у меня поехала. Сначала думал тебе просто позвонить, договориться посидеть где-нибудь, в цэдээле, например, там, между прочим, до сих пор и вкусно, и недорого сравнительно. Но потом одумался, слава Богу. Во-первых, знакомые потешались бы, что за глупость — автору с героем выпивать, а, во-вторых, какой бы от этого был толк: в текст ведь беседу в Дубовом зале не вставишь. Так что решил тебе написать — между прочим, за всю жизнь я личные письма считанные отправил, но тут уж не отвертишься.

Пойду по пунктам.

Первое: какого хрена ты выбрал такую стилизацию? Весьма приблизительно имитируя стиль не знаю уж какого точно времени, во всяком случае досоветский, что ты хотел этим мне пока-

зять? Указать место полуграмотному, темному совку, возомнившему себя русским литератором, но катающему дешевую литпопсу в утешение женскому полу с высшим образованием да гуманитарным переросткам — так я это свое место и так знаю. И уж в любом случае писал бы с ятями и твердыми знаками, если ты такой умный, а то грамоты-то настоящей не знаешь, а обороты передразнивать любая обезьяна с хорошим слухом может.

Второе: по существу, насчет мистики. С каких это пор ты такой уж материалист? О крестике, о церкви по праздникам, а иногда и просто так, под настроение, по дороге, я не говорю, я это уважаю и в такие вещи не лезу. Но то, что ты постоянно занят выведением дурацких закономерностей и из всего приметы делаешь, — разве неправда? По этой стороне Тверской утром идешь — день будет легким, в метро сумасшедший старик у эскалатора дежурит, объявляющий левитановскими интонациями: «Де-ер-жите за руки малолет-них детей! Пропус-кай-те преста-релых сле-ва! Вперед, гвардейцы!» — ждешь неприятностей... Не буду перечислять, сам знаешь. Да и вообще жизнь свою в глубине души считаешь predetermined изначально, орудие, мол, в руке Божьей, а чего орудие — и сам не знаешь. Почему ж, в качестве метафоры хотя бы, не могут появиться черный человек и белый человек? Эпигонство... Тоже мне, контролер чистоты литературных патентов. Уперлись все в М.А., вроде до него в литературе никогда чертей не водилось. Да как писались сказочки, так и впредь будут писаться, а если в некоторых текстах напря-

мую ни дьявола, ни ангелов не упоминается, так и это ничего не значит. Если б ты серьезно задумался, сам бы допер: в любом вымысле всякая нечисть, любое волшебство и тому подобное обязательно присутствуют хотя бы в скрытом виде. Потому что без сверхъестественного вообще не существуют ни отношения персонажей, ни сюжетные события, ни даже самое простое: «Он подумал...» Если без мистики, то возможно только: «Я подумал...» — да и то не совсем. Твоим требованиям удовлетворяют только устав гарнизонной и караульной службы, техническое описание электромясорубки и, отчасти, телефонная книга.

Третье: об эпигонстве вообще. Ты не подумай, что я обиделся. Если человек хотя бы с некоторым читательским опытом усматривает в моем тексте воспроизведение каких-нибудь литературных традиций, даже новейших, меня это только радует, тем более к В.П. я отношусь, сам знаешь, любовно. Не ты, Миша, первый, не ты, уверен, и последний, кто меня аксеновщиной шпыняет. Для пущей элегантности отвечу (по твоему примеру) цитатой, причем именно же из названного вашингтонца (впрочем, во время написания цитируемого — еще москвича):

«...Хочется увидеть писателя, свободного от влияний. Какое, должно быть, счастливое круглое существо!

У нас, кстати сказать, в критике складываются забавные правила игры. Свободна от влияний и подражаний одна лишь бытописательская, вялая, впорглаза, из-под опущенного века манера письма, практически стоящая вне литературы.

Все вырастающее на почве литературы так или иначе подвержено влияниям. Все, что помнит и любит прежнюю литературу, использует ее достижения для своих собственных, новых, то — подражание «под Толстого», «под Бунина»... любое малейшее смещение реального плана — «булгаковщина»... Один лишь графоман никому не подражает. Но, руку на колено, графоманищедружище, и ты ведь подражаешь Кириллу и Мефодию, используя нашу азбуку!» Василий Аksenov. «Круглые сутки нон-стоп».

Все. Можно было бы ничего не добавлять, но, из соображений справедливости, скажу, что согласен с тобой относительно выбора профессий для размноженного тебя: все они взяты действительно из ближнего мне круга, и взяты лишь ради одного — чтобы очертить жизнь этого круга тем общим, что в ней главное. Бездельем.

Ведь если бы я оставил тебя единственным и указал бы точно род твоих занятий, то так и надо было бы написать: Михаил Янович Шорников, бездельник. Разве не правда? Будь честен хотя бы со мной, если с собою не можешь. Тусовщицы и понтырщики, понтырщицы и тусовщики — вот кто эти все, как однажды я уже зафиксировал.

И я сам — тоже.

Хоть по двадцать часов в сутки пиши, малюй, снимай, пой — все равно бездельник. Развлекаемся сами, развлекаем, если удастся, людей. Можно ли это считать работой? Потому у большинства из нас и психология бездельников. Прав был Л.Н., которого ты так очаровательно именуешь «гр. Толстой».

Еще одно об эпигонстве забыл. Вот ты меня

подражателем обзываешь и разве что не плагиатором. Ладно, я человек не обидчивый. Но я тебя хочу спросить: а где ж ты не эпигонов-то нашел? И не в смысле приведенной цитаты, а конкретно — кто вполне оригинален? Эти ли, заменившие только название литературной секты и полностью воспроизводящие и пыл тридцатых, и вялое чиновничье следование последним указаниям семидесятых? Дерущие напропалую кто у Белого, кто у Розанова, кто у Селина, кто у Берроуза и все — друг у друга... Критическая обслуга, фамильярничающая, как всегда было принято у дворни, с господами, — да и господа, мало чем от дворовых отличающиеся, хоть и пыжатся... Они, что ли, открыватели, революционеры? Если по интервью судить, то конечно, если на ту-совках слушать, то аж сердце замирает, до чего смелы и эстетически, и этически, и вообще. А если сочинения почитать, то чистая хренотень, зады американской и прочей «голубой» волны (извини за каламбур), унылое повторение домашних заданий, которые надо предъявить на русистских кафедрах в Глазго, Копенгагене и Урбане (Иллинойс). Сильно остывший суп из завалявшихся в холодильнике с «серебряного века» ошметков с добавлением популярных между тридцатыми и шестидесятыми специй из ихнего супермаркета. Гурманы повторяют название блюда и едят, демонстрируя наслаждение, а обычный клиент, даже проголодавшись, сплюнет и поспешит подавить тошноту рюмкой под свежую котлету с гречкой.

Ну, это я завелся, не хочу с тобой вступать в литтусовочные дискуссии, извини, не твоего это ума дело, да и не моего.

Между прочим — насчет моих «перечней». Сошлюсь на безусловный и для тебя, надеюсь, авторитет: «широкий боливар», «недремлющий брегет», «лепажи» — это что, не перечень иностранного барахла?

Последнее. Эротика, как теперь изящно выражаются, или, проще, описание твоих блядских походов. Не пойму никак, чего ты хочешь. Вовсе, что ли, это из текста исключить? А что останется? Как и положено нам, бездельникам, постельные дела и переживания составляют главную и острее всего ощущаемую часть твоей жизни, выкинь их — и будешь ты вовсе холоден, как дохлая лягушка, еще более пуст, чем есть, почти ничто. Или ты всерьез считаешь, что можно эту сторону жизни изображать наплывом и затемнением? Что, совсем ты двинулся, бедный мой друг? Да с какой же стати недописывать самое главное, самое интересное и просто изобразительно привлекательное!.. Другое дело — мне и самому не нравятся медицинские термины и народные слова (за исключением прямой речи, конечно) в описании известных занятий, так я без этого и обхожусь — дополнительный кайф выйти из положения с одними тенями, всхлипываниями, вздохами, бликами, не соскользнув при этом, по возможности, в приторную слюнявость.

Ты другое скажи: где твоя благодарность за то, что из обычных, грязноватых, одними только любопытством и тщеславием стимулируемых ходок я делаю грустно-лирические, наполненные благородным и тонким распутством любовные авантюры? За то, что твои терзания из-за нехватки времени, наезжания рандеву друг на дру-

га, претензий каждой партнерши на существование целиком, их попыток контролировать, наконец, из-за того, что можешь облажаться на четвертой, подустав уже на второй (хотя, должен признать, для своих лет ты еще молодец) — все это ничтожество, суету эту трахальную я превращаю в высокое страдание, в терзание духа плотью, в муки из-за их разрыва? Спасибо лучше бы сказал. Хотя, если честно, делаю я это не для тебя, конечно, а для читателей, и особенно для читательниц, дай им Бог здоровья, и счастья, и всего того, что они у меня вычитывают. Где, интересно, набрался ты этого мерзкого снобизма, подлого презрения столичной газетно-журнальной элиты к такого рода потребителю литературы? Я же на них молюсь — на библиотекарей моих, на училок начитанных, на младших научных и старших преподавателей безмужних, зато с почти взрослым сыном, на несдающихся посетительниц литературных вечеров и кинолекториев, на утешающихся в своей нелюбимости, некрасивости (а хоть бы и в красивости), в робости и неумелости (а хоть бы и в изощренности), во фригидности своей проклятой моими сладкими сказочками, обещаниями, обнадеживаниями. Я их люблю, бедных моих баб. Да и ты любишь, а притворяешься крутым интеллектуалом, несентиментальным, имморальным — или наоборот? Черт вас разберет, таких культурных.

Но раз ты так... Хорошо. Сам напросился. Хочешь чего-нибудь «настоящего, серьезного, глубокого»? Получишь. Жаждешь социального, исторического фона? Будешь иметь в полный рост.

Ты у меня напорешься-таки на то, за что бо-решься, это я тебе обещаю, козел. Отношусь я к тебе хорошо, ты сам знаешь, дружим мы с тех времен, когда ты еще под другими именами у меня появлялся, и, согласишься, за все эти годы ничего по-настоящему плохого я тебе не сделал. И то, что для лирического героя у меня всегда был happy-end заготовлен, уверяю тебя, не из од-ного суеверия установилось — я тебя берег. Но на хамство я обижаюсь, а еще сильнее — на вы-сокомерие. И недоброжелательность запоминаю надолго.

Так что для начала изволь получить кое-ка-кую «правду» о тебе, причем не от меня, а от тво-их же подруг, а потом я тебе обещаю и «социаль-но-исторический фон», а уж как ты на нем бу-дешь смотреться — как сумеешь.

Будь здоров.

Твой автор.

P.S. Между прочим, вот тебе еще для обвине-ния: эти письма, вставленные в текст, — чистое литературное кокетство. А? Давай, обличай.

8

— Я начну, потому что я вообще была первая, и не перебивайте меня, девки, я хочу быстро рас-сказать и бежать, мне внука надо в спортшколу везти, а это выезжать за полтора часа, а я еще разревусь, так что и времени не хватит все рас-

сказать, а рассказать, девки, есть что, потому что я действительно была первая, ну, не считая, конечно, самой первой, но это отдельно, видите, она даже не пришла и, вы заметили, она же вообще никогда не приходит ни на один сбор, только в первый раз была, посидела, поулыбалась, как джоконда — и все, и я считаю, что и хорошо, что она не ходит, если здесь собираются те, кто Мишеньку любит, так ей здесь делать нечего, она его только использовала всю жизнь, по первому-то заходу все самоутверждалась, прислугу бессловесную из него делала, а по второму уже и совсем просто — либо женись, либо отвали, а мы, девки, разве когда-нибудь так ставили вопрос, а, девки, хотя вообще-то он меня, конечно, изломал будь здоров, мы когда познакомились, я ж была простая комсомольская подруга, давала понемногу друзьям, сына растила от одного бедного парня, талантливый был такой, так пел, на всех наших активах был с гитарой, ну, пел-пел и спился, уехал в Хабаровск, а я себе жила неплохо, только, помню, все зубы никак вылечить не могла, ну и в потрошилку постоянно залетала, предохраняться ж было нечем, но вообще нормально жила, а тут он, прямо вцепился, а я смотрю, у него ж комплекс, его эта... красавица южная, никому не нужная, уже успела во всем убедить, что ничего он не умеет, мол, а на самом деле сама фригидная, как бревно, и на чистоте помешанная, а это дело ей казалось грязным, ну, течет же и все эти дела, вот она и не кончала, а он в меня прямо вцепился, и я ему говорю: да ты ж потрясающий, понимаешь, просто потрясающий мужик, а он мне все время про нее расска-

зывает, про ее закидоны, чего она придумывает, чтобы кончать, я по сравнению с ней просто пионерка была, и начинает меня на то же самое фаловать, и так, и этак, но главное, напирает на компанию, а я на все соглашаюсь, хоть передом, хоть задом, но в группу не иду, мне обидно, что ему меня мало, с одной стороны, а с другой — делить не желаю, но он все бормочет и бормочет, как в койку, так начинает свою песню, бредит, как будто все это у него и у нее уже было, а я же вижу, что он врет, что он все придумал, потому что, девки, вы же сами знаете, его распирает, ему всего мало, вот он и сочиняет, картинки рисует, ну, и, в конце концов, добился-таки своего, меня завел, и пошло, всех подруг моих оттянул, бывало, что и со мной вместе, и вообще, не могу больше, видите, девки, почти тридцать лет прошло, а я реву, что он со мной сделал, сука, но все равно, был он самый из всех, такой был красивый, правда, морщины рано пошли, выпивали мы с ним сильно, он тогда пиво любил, с вечера наберемся, потом до полночи любовь и вообще безобразия, а утром он спит, борода кверху, он тогда как раз по моде бороду запустил, хотя не шла ему, а я встану и с бидончиком на угол, к бочке, там мужички с вертолетного по дороге на смену похмеляются, а я бидончик наберу и бегом домой, мясо за сутки замаринованное, в вине и с лимончиком, на сковородочку — и к нему, вот она я, вот пиво, вот еда, а однажды в Сухуми идем мы с ним по набережной, в «Амре» музыка играет, модная тогда была такая джазовая песенка, «Тень твоей улыбки», старик по набережной ящик деревянный катит на колесиках, в окошеч-

ки с четырех сторон можно в ящик смотреть, а там картинки, старый город и тому подобное, а я только на него смотрю, он загорел, бородака выцвела, рубаха черная, по той моде, я ему сшила сама, до пупа расстегнута, джинсы белые, там же в порту купил за последние тридцать пять рублей, и идем мы с ним от тира, где он на пари стрелял и десятку выиграл на жизнь, к кофейне «Черноморец», ну вот, посмотрела я на него, и, конечно, поняла, девки, что в конце концов он меня обязательно бросит и что поганец он, врун, бабник, что все его таланты невеликие, а все равно — лучше мне уже никогда не будет, так и вышло, вы не слушайте, что я говорю, я ведь была хороший книжный редактор, а как на пенсию вышла, да внук, да с соседками-старухами по очередям, так я скоро вообще говорить разучусь, но я вам точно говорю, подруги, его стоит любить, никому из нас ни с кем другим так не было и не будет, конечно, и если у нас не то что совесть есть, у баб совести-то немного, но если мы хоть немного его любили и любим, давайте его вытянем, одним этим ангелам его долбаным его не спасти, я вам точно говорю, девки, а недавно я шла, а из модной какой-то обжираловки, там одни бандиты сидят, опять эта песня, как ее по-английски... «The shadow of your smile», вся моя жизнь прошла, а песню все играют, и помру я, а ее все играть будут, тень твоей улыбки, вот мать твою, девки.

— Не знаю, почему вы так говорите... Все было совсем не так... Мы познакомились просто в гостях у общих знакомых... Танцевали, я была без мужа, он уехал куда-то, не помню... Потом

пошли вместе пешком, через мост, целовались, стояли... Стоим, смотрим на остров, он что-то сказал... Про то, как хочется пожить чужой жизнью, выйти, например, из проходящего мимо маленькой станции поезда, оказаться там, где светятся окна... Или сейчас уплыть на остров, провести ночь в маленьком домике на причале, где живет сторож, и остаться там, сторожить этот дурацкий причал, прожить там до самой смерти... А потом мы встречались, он выбегал из своей дурацкой конторы в обеденный перерыв и бежал ко мне через улицу, переминался, пережидая трамвай, длинный, с развевающимися волосами, тогда только стали носить длинные волосы, мне не нравилось, но я ему не говорила... Мы шли на пустой днем заводской стадион и сидели там под ярким солнцем, был очень жаркий июль, и я была вся мокрая, от жары или от него, невозможно было понять... И однажды там нас застала старуха, которая убирала трибуны, и стала кричать, позорить, а он убрал из меня руку, полез в задний карман и дал ей три рубля, а потом еще пять, и она открыла нам чулан с ведрами, метлами и сломанной скамейкой... После мои родители уезжали в отпуск, я привела его в их квартиру, впервые вся разделась при нем, от стеснения закрылась спереди и сзади дурацкими диванными подушками, он засмеялся и сказал, что я самый лучший бутерброд... А зимой он навсегда уехал из нашего города, где мост, остров посреди реки, стадион, жуткая его контора и я, оставшаяся с мужем в хорошей квартире, как раз перед его отъездом родители мужа подарили мне шубу из каракуля, и я пришла в ней его про-

вожать... Теперь я стала ужасно толстая, даже не могу себе представить, что это меня он держал на себе, у меня трое детей, старшему уже двадцать, у нас две машины, иногда мальчик отвозит меня к эндокринологу, мы переезжаем мост, я смотрю на остров, домик сторожа цел... Извините меня, я не верю вам, я не верю, что он был во всей этой грязи, иногда я читаю о нем в газете или журнале, видела однажды фотографию, он совсем старый, но все-таки больше похож на того, который смотрел с моста на остров, чем на того, который был с вами... Но я согласна, если ему нужно помочь, мы все должны... Со мной он совсем не пил, если ему это помогло бы.... Я брошу детей, они уже взрослые, я брошу дом, машины, мужа, его стариков, всех... Я помню это дурацкое солнце, стадион, его руку, выходящую из меня, чтобы достать деньги... Простите... мы тогда, в гостях, танцевали под такую музыку, кажется, она называлась «Килл ми софтли», кажется, «Убей меня нежно», кажется, пела Роберта Флак, кажется, он убил меня нежно, кажется...

— Ну что мне говорить? Меня он вообще из метро привел домой — и все. Какая-то комната, он снимал ее в квартире парализованной хозяйки, ночью, помню, она поехала на своем кресле в уборную, было слышно. Потом еще раз или два у меня. И еще ходили один раз на какой-то концерт, какой-то клуб, ребята какие-то страшно долго ставили на сцене колонки, барабаны, потом еще была какая-то музыка, не помню точно, все сразу зааплодировали. Вот, вспомнила: «День из жизни глупца», он мне перевел. Прав-

да, хорошее название? И потом я, может, еще раз приходила к нему. Не помню. Ничего не помню, представляете? Вы все вспоминаете, какой он необыкновенный, а я ничего не помню. Просто склеил меня в метро. День из жизни глупца, вот это помню.

— Ничего не хочу рассказывать. Не хочу вспоминать. Он просто перестал звонить тогда. Я звоню — да, милая, да, конечно, люблю. И опять не звонит. Просто тварь, быдло, а кажется, что такой то-онкий! Просто член здоровый и совести нет, и слюняй. Лучше бы говорил честно — раздевайся, ложись, получи удовольствие и пока, лучше было бы. Он же ничего не видит, он и бабу не видит, чем он отличается от жлобов, которые женщину станком называют? Да ничем. Просто ему станок говорящий нужен. Сука он сентиментальная, вот кто. Господи, как я жила, это ж в страшном сне не приснится! Двое детей, старший школу кончает, что дальше делать, непонятно, у нас в городе ни в один институт тогда без больших денег нельзя было и сунуться, значит, в армию. Младший вообще больной был, только сейчас выправляться стал. У мужа как раз неприятности, тогда начали все эти кооперативы появляться, он в один такой влез, стали жить просто прекрасно в материальном смысле, а тут их с двух сторон прижимать начали, и милиция, и из Нальчика какие-то, уголовники настоящие. И тут он приезжает, одноклассничек ненаглядный, родные края, видите ли, навестить решил, знаменитость хренова. Вот уж точно, все в говне, а он в белом. Я кручусь, как не знаю кто, школа, репетиторы, адвокаты, больница детская,

в магазинах нет ничего. Когда муж стал хорошо в своем кооперативе получать, я работу бросила, а я, между прочим, ведущий технолог была, зам-начальника бюро, двести восемьдесят по тем деньгам получала, а тут сразу в долги влезли. И он явился. Принц в белом костюме. Слушай, ты так прекрасно выглядишь! Я и не помнил, что ты такая красавица! Слушай, пойдём поужинаем, потанцуем! Заеду за тобой в семь, ладно? Я за ночь платье сшила, у подруги купила в долг тряпку итальянскую, туфли достала — вышла, он просто умер. Я же умею это все, просто всегда не до того было, а тут началось кино, самый лучший в городе ресторан, все на нас смотрят, он в белом, я в белом, черт его знает что. В гостиницу провёл, как так и надо, дежурная сунулась, он ей десятку сразу дал, она прямо очумела. И всю ночь, всю ночь, как бешеный, свет не погасил, я открыла глаза, вижу над собой его лицо, улыбается, как черт, я просто испугалась. Это уже потом я поняла, что он играет все время, то дьявола в постели изображает, то джентльмена с дамой, то влюбленного одуревшего, то страдальца совестливого. А сам ничего не чувствует, актер он и есть актер, только на сцене он бездарный и примитивный, я все его видела, а в жизни, для таких дур, сходит за гения. Конечно, актер, что вы мелете, какой художник, какой еще поэт?! Да у меня его афиши до сих пор лежат и фотография из театра. А вечером снова пошли, я даже не представляю теперь, что я дома врала. Оркестр там играл паршивый, а потом лабухи поесть сели, и включили записи. Фрэнк Синатра, «It Happened in Monterey», мы пошли танцевать, и

он мне сказал: «Не знаю, что с нами будет, но любить тебя я буду всегда». И знаете, сколько после этого пролюбил? Меньше года. За это время я от него аборт успела сделать, и триппером он меня наградил, когда я к нему в Ленинград приезжала, у них там гастроли были полтора месяца. Вот так он меня любил необыкновенно и вечно. Это случилось в Монтерее, он был весь в белом. Ничтожество. Будь он проклят. Я потом года три с мужем отношения восстанавливала, а стыдно до сих пор, хотя уже вся та жизнь забылась, и расстояние до него — лету четырнадцать часов. Гадина он и мразь, и сдохнуть под забором ему как раз по заслугам. Вот, денег могу дать, вот, две сотни, это теперь сколько по-вашему? Ну, и хватит с него за тот танец. Боже мой, какой же все это ужас!

— Первый и последний раз я здесь. Я в научно-практических конференциях по бывшему общему ебарю не участвую. Что он умеет из бабы всю дрянь, сколько ее в ней есть, вытащить — это точно. А что потом с этим делать, сам не знает, в ужас приходит и, скорей-скорей, в сторону. Вот я слушала вас, милые дамы, и удивлялась — ведь со всеми одно и то же, а действует! Улыбается, как бы смущенно, обязательно насчет тяги непреодолимой бормочет тихонько, как будто радио тише сделали, а выключить забыли, какой-нибудь бунинский рассказ вспомнит — и ведь действительно похоже! Вдруг, шепотом, как будто ему неловко, но распирает, скажет что-нибудь совсем из пододеяльной жизни, ты еще с ним и не спала, а он, например, такое может залепить, в глаза глядя: «Как же вы теперь пойдете? Мо-

края... Простудитесь же...» Мне так и сказал, а мы с ним второй раз только виделись, кофе где-то пили... Казалось бы, что мне мешало ответить, чтобы отлетел? Я же умею. Казалось бы... А не ответила. Наоборот. Тут же и вправду намокла, и не то чтобы восхитилась, а удивилась: ловко он умеет. А что за особенная ловкость? Поручик Ржевский из анекдота, вот и все. И вообще по этой части он, на мой взгляд, так себе, и силенок уже не очень... может, когда был помоложе, и не выпил еще столько... Ну, это вам видней, у кого-то же двадцать пять лет стажа, да? А меня в основном шепотами такими привязал и делал, что хотел. Я перед ним на коленях стояла, просила в рабство взять, мужа молодого бросала, дочь к бабке, а сама машину хватаю, несусь... И вижу, что уже достала его, что ему скучно, что ему то выпить с друзьями хочется, то просто где-нибудь на людях покрасоваться, а у меня проблемы, дом, еды надо добыть, приготовить, дочку к офтальмологу везти... Стоим мы с ним перед зеркалом голые, он меня обнял сзади, а я вижу, что разглядывает в зеркале мой живот, каждую складку, и хочет меня, и отвращение испытывает... Точно! Не сумел скрыть, повернул к себе, оскалился — это вы совершенно точно заметили, улыбка отрепетированная — и на ухо: «Жирный мой... жиртрестик...ну, иди сюда, пузатик...» Кстати, не задумывались, девушки, почему он так любит к нам в мужском роде обращаться? Думаю, что латентный «голубой», вот что... А подарки его чего стоят! Поднесет, весь торжественный и надутый, какую-нибудь цацку, иногда и действительно слишком дорогую, а ино-

гда и барахло какое-нибудь, на парижском углу у индуса купленное, а в глазах цифры пляшут, а то и сожаление, вместе с гордостью, еще и переспросит десять раз — нравится, правда нравится? Заметит, что не надела — опять: не носишь? не нравится? не потеряла? Да жлоб он со всей его щедростью, рассчитанной до копейки! Что он мне дал? Вот я хочу понять, что он мне дал, а? По-настоящему хорошо было только один раз, когда ехали мы с ним куда-то, по каким-то моим делам, кажется, и всю дорогу в машине почему-то старые джазовые хиты слушали. Шофер интеллигентный попался... Армстронг еще пел, не помню, как называется... Вроде нашего «Как прекрасен этот мир». Это еще было в фильме таком, «Доброе утро, Вьетнам», не видели? Симпатичный такой фильм... Ненавижу.

— Значит, так. Во-первых, вы все идиотки. Он безумно талантливый, а вы говорите всякую ерунду. Второе. Он удивительно красивый. Я его люблю, и он меня любит, и любил, и будет любить. В-третьих, у него картины есть просто гениальные, я их все помню, могу по памяти копию написать. Если я говорю, что он художник прекрасный, я разбираюсь, я, между прочим, двадцать лет член союза, он еще в мальчишках ходил, при бульдозерщиках, а у меня в Болгарии персональная выставка была. Теперь так: конечно, в нем дьявол сидит, я не спорю. Но он же мучается, он же сам страдает. Бедный мальчик, он из-за этого пьет. Вот вы... да, вы, говорите — «что он мне дал?». Вам всем нужно, чтобы он что-нибудь дал, а вы ему что дали? Свои проблемы хотели на него повесить, чтоб женился немедленно

и авоськи за вами носил. Он правильно и поступал. Будил в вас шлюх, так и управлял вами, а то любая его бы скрутила. Я же ничего от него не хотела, ни денег, ни помощи, я бы еще ему сама помогла. Он ужасно живет, одиноко, ему мать нужна, а он все девок ловит, в такси носится, тысячи свои швыряет. Я хочу у него только спросить, почему он меня бросил. Три дня. Со мной так никогда не было, со мной годами. Хочу лежать с ним рядом, прижиматься. Хочу выставку парную с ним сделать. Он меня бросил, потому что я старая, мы ровесники с ним. В этом все дело. Старая, тощая, жилистая, как кляча. Но ведь я все равно красивая? Не могу понять, почему он меня бросил. Недавно включила радио, там его любимый Рэй Чарльз, «Джорджия» или как там. У него магнитофон был с собой, все ночи под Рэя Чарльза. Почему он меня не разлюбил, а бросил? Не понимаю.

— Я хотела замуж за него выйти. И никаких гадостей он мне не говорил и не делал. Только где бы мы жили? Так было хорошо с ним... Один раз мы с ним танцевали, и он все время тихонько подпевал музыке, так тихо пел мне на ухо, я не знаю, как это называлось. Такая старая мелодия, времен его молодости, вроде танго. Та-ра, та-ра-ра-та-ра, та-ра-ра-ра-ра, та-ра. Ох, я, кажется, забыла платок...

— Я тогда начала ремонт, а он купил мне холодильник, и еще дал денег на мебель в кухню, и уже все хорошо получалось, квартира была очень красивая, все белое и бежевое, и у меня прямо там студия была, я вожусь со своими листами, джинсы старые все в красках, а он лежит

на диване попой кверху, только ноги в шерстяных носках видны в зеркале, и бормочет что-то, первый свой сборник готовил, отбирал стихи. И все время у нас музыка была, он свои кассеты притащил, Гато Барбьери тогда очень любил. Потом он мне еще купил такое маленькое колечко, дешевенькое, с перламутром. А потом эта... извини, пожалуйста, да, ты... в общем, он вернулся домой. Конечно, плакала. Он мне так помогал...

— Все это обсуждение — это то, от чего он пришел бы в восторг. Беседы в гареме... Я не хочу в них участвовать. Он предал меня, я ушла, я устранилась, меня нет, и все. Я люблю его, я сказала ему тогда — все забудем, и я буду любить тебя до самой смерти, он только покачал головой. Он мне мстил за то, что я могла существовать сама, что у меня есть свое дело, свое имя. Но разве он предложил мне взять его имя, участвовать в его деле?! Наверное, я не согласилась бы. Но он не предлагал, он больше всего боялся, что я начну на этом настаивать. И отомстил мне за этот страх и за свою слабость перед моей самостоятельностью. Пусть радуется, месть удалась, меня месяц психиатры вытаскивали. Его месть удалась, я еще люблю его и не знаю, когда разлюблю и разлюблю ли. Я не помню, кто это поет, он мне звонил в самом начале и говорил по-английски название этой песни. «Я звоню, чтобы просто сказать, что я тебя люблю...» I just call to say I love you. Он предал меня, отомстил. Ничего. Я еще буду в полном порядке, его месть в конце концов не удастся. Но пока я люблю его.

— Я не понимаю, о чем вы тут говорите. У меня есть муж, он популярный и талантливый

актер, мы с ним люди одной профессии и вообще очень близкие, мы прожили вместе уже почти тридцать лет. Вероятно, за это время у него были увлечения, не могли не быть при его темпераменте и фантазии. Но вся эта грязь к нему отношения не имеет и меня не интересует. Тем более, что вы вообще говорите о разных людях, по-моему. У одной был художник, у другой поэт, третий вообще черт его знает кто, музыкант, не музыкант... В общем, давайте-ка по домам. Здесь мы живем, Михаил Янович Шорников, артист театра и кино, и я, его жена. А вас уж мужья заждались, я думаю.

Она, поглядывая в бумажку, нажала одну кнопку, другую, и запись остановилась, и с недостертой кассеты зажурчал Питерсон, «Samba sensitive».

Они, зареванные, светлые, любящие друг друга, потянулись в прихожую, столпились там, прикасаясь одна к другой, разбирая свои вещи.

По очереди протискивались в не полностью открывающуюся дверь, распах которой был ограничен старым шкафом у боковой стены.

Одна, блондинка, постарше и поплотнее других, прямо с площадки по традиции рванула в разбитую бомжами форточку — только свистнула голубенькой пластмассы немецкая швабра, в зажиме которой трепетала кокетливая розовенькая тряпка, а ручка еще была и повязана пунцовым гитарным бантом.

Другая, вся широкая, большегрудая, с недокрашенной неряшливой сединой, одышливо влезла в лифт, спустилась, вышла из подъезда,

долго прикуривала, потом достала из клетчатой кошелки гарного такого, с рынка, веника с темными узелочками на густых, не стертых еще ветках, да и полетела себе потихоньку, успевая, видно, еще до поезда скупиться — только искры от сигареты посыпались, искры старого огня.

Третья, сравнительно юная, чернокудрая любительница европейского ремонта, резко стартовала, ловко управляясь с пылесосом «Siemens», по пути втягивая для хозяйственных целей мощной трубой зазевавшиеся звезды. Господи, спаси, пронеси мимо, Господи.

На старых дворницких метлах, щетках со стертой и покосившейся щетиной в сгустках пыли и волосах, на самодельных швабрах с кривоватыми деревянными ручками, вбитыми в потемневшие от мокрых тряпок деревянные же колодки, на советском пылесосе «Ракета» с байконуровским ревом, на элементарном подметальном пучке с изломанными веточками, с перевязанной изолентой ручкой...

Толстые и худые, молодые и не очень, хорошо и отвратительно одетые, красивые вообще и так себе...

Набирая высоту кто кругами, как тяжелый транспортник, а кто и круто вверх, как перехватчик...

Среди бела дня...

Набирая высоту...

Едва все скрылись из глаз, она пошла на кухню, взяла обычный, ничем не примечательный свой веник из-под раковины, с трудом открыла окно и выпустила его на волю.

Веник счастливо взмыл. Она смотрела вслед без сожаления.

Когда он вернулся, в доме было почти прибрано, только все чайные чашки, уже вымытые, но еще не спрятанные в шкаф, стояли на столе. Он был весьма и весьма нетрезв, панама сползла на нос, фуляр разъехался, открыв уже жилистую, с намечающимися «вожжами» шею. Следя ботинками, что-то буркнув, он прошел к себе и увидел стоящий на полу рядом с диваном магнитофон и кассету на его крышке. Сам не зная почему, он все понял, вставил кассету и нажал «воспроизведение»

Тут же он услышал, как хлопнула дверь, с воем кинулся в прихожую — на зеркале была прицеплена записка: «Возвращаюсь в Питер. Когда решу, как быть дальше, позвоню. На плите котлеты и вермишель, еда для кошки в шкафу, в холодильнике для нее рыба, режь ее маленькими кусочками. Я сама позвоню потом. Женья».

Из комнаты доносились знакомые голоса.

Утром, не бреясь, только приняв душ и снова натянув изумительно аккуратно сложенную с вечера одежду, — значит, пьян был в край, — он выполз купить пива. Пару банок. Или бутылку проклятой болгарской дряни. Он еще не решил. По деньгам одинаково. Но после пива может окончательно развезти... Он захлопнул дверь и обнаружил, что ключи остались в прихожей, где он их выложил вечером. Позвонил к соседям — я ключи забыл, извините, а Жени нет, а мне нужно отлучиться, так вы покормите нашу кошку, лад-

но, извините — и, не дожидаясь ответа, не слушая — так вы ж ключи, Миша, ключи-то у нас запасные возьмите — быстро спустился на один лестничный пролет, на второй.

Он знал, что его там ждет.

Над кучей оставшихся от ночлежников тряпок и кусков картона, на подоконнике, рядом с пустой бутылкой от водки «Petrof», лежал паспорт.

Обычный паспорт в рваном целлофане, со старыми буквами и гербом.

Он раскрыл его. Сапожников Юрий Адамович... Год рождения 1943... Прописан... Все прописки погашены, последняя — город Сретенск... Область не разобрать... На фотографии лысеющий мужик с черной небольшой бородкой... Выдан Сретенским РОМ... Он закрыл документ.

Сунул его в карман и вышел из подъезда.

Дело шло к осени, утро стояло ясное и прохладное, небо уже начинало менять цвет, исчезла летняя линиялость, желтоватость и холодноватый синий высоко висел над двором, заваленным разлетевшимся из железных ящиков мусором.

Прошла собака, чистая и ухоженная, но без хозяина.

Он — то есть, я, конечно же, я, Миша Шорников! — он подмигнул собаке и пошел от своего дома к дальнему, угловому выходу со двора.

Хорошее, прекрасное было утро.

Часть вторая. **А**д

по имени

Рай

Электричка летела мимо бесконечных белых бетонных заборов, покрытых цветным граффити, мимо вылизанных коттеджных городков лакированного красного кирпича, мимо остановившихся у переездов машин, ярких, сияющих всеми цветами своих округло-тяжелых тел, мимо жанровых сцен с собаками и детьми на занятых пикниками лужайках, мимо антенн-тарелок, косо сидящих на черепичных и металлических крышах, словно кокетливо сдвинутые шляпки, мимо бирюзовых прудов, на которых винд-серферы боролись со своими разноцветными парусами, и от них в стороны неслись, разводя стрелы маленьких волн, еле видимые утиные выводки... Электричка летела, и вслед ей летел неистребимый железнодорожный мусор, поднятый вихрем скорости: тяжелые, машущие страницами «Московский герольдъ», «Московские времена» и «Московская почта», смятые банки от «Кола-квась», «Сбитень светлый», «Узварь малоросский традиционный № 7», пакеты от стандартных завтраков из «Быстрых пельменей», рваные пластиковые мешки от «Елисейевъ-метро» и «Гум-гэллери»... Электричка летела, я начал дремать, положив ноги на бархатный подлокотник пустого сиденья, а напротив, наискосок, через проход, так же дремал усталый приказчик или банковский счетовод, а может, помощник

стряпчего из какой-нибудь процветающей конторы в Зарядье-сити, в темном костюме, в безукоризненном, но чуть распущенном галстуке, в не потерявшей свежесть за целый рабочий день белой рубашке. Интересно, подумал я, за кого же меня принимает этот милый парень? Вероятно, за какого-нибудь полусумасшедшего художника, артиста из Арбатского Сохо, весь день рекламировавшего новый суперкассовый боевик о веселых сороковых, да так и не переодевшегося.

Небо за выпуклым, почти до самого пола окном потемнело, под его сливово-сизым колпаком мелькали черные рощи, по государственному шоссе № 51, идущему параллельно железной дороге, ползли две змеи — одна навстречу поезду, желто-огненная, другая, обгоняя его, горячая красными задними фонарями. Время от времени поезд нырял под путепровод или влетал в тоннель, по верхнему краю въезда в который текла обязательная голубая полоса рекламного пламени — «Фон Мекк. Национальные железные дороги. Проверьте ваши часы».

...Когда я открыл глаза, молодой господин, сидевший напротив, снимал с багажной сетки свой алюминиевый чемоданчик для бумаг, а за окном сверкал витриной, как на любом пригородном перроне, «Каренина-Трактиръ», и толклись жены, встречавшие своих измученных в городских конторах писмоводителей, столоначальников, товарищей директоров департаментов, старших приказчиков, владельцев зуболечебных и по женским болезням кабинетов, думских дьяков и лабаз-менеджеров. Женщины, — все как одна, по летнему времени в коротких штанах и широких

майках, — некоторые с детьми в специальных рюкзачках или с уже подростками, прыгавшими рядом в таких же штанах и спортивных тапочках, обнимали мужчин в темных костюмах и вели их к машинам, плотно стоявшим на паркинге под огромным светящимся кубом «Одинцово. Починка и уход за экипажами. Иван Ривкин и сыновья. Открыто 24 часа ежедневно». Толпа быстро рассасывалась, машины одна за другой исчезали в уже густой тьме, мигая цветными огнями, и можно было представить лишь по маркам и моделям автомобилей, в какие разные дома отправляются эти одинаково одетые люди — пара на маленьком, но элегантном «москвиче-кабрио» едет наверняка в хорошо стилизованную «избу» с двумя спальнями и детской, с маленькой банькой, а семейство в мощной «волге-спорт» затормозит на въездной аллее поместья, у дома в модном стиле «дикий барин» с десятком комнат и бальной залой, стоящего посередине парка, аккуратно запущенного под наблюдением выписанного из Израиля садовника, и пяток борзых выбегут навстречу, и ночной ветер будет шевелить шелковые занавеси широко открытых в малой гостиной окон, пока усталый хозяин, сбросив пиджак, будет ждать в кресле обеда с тяжелым бокалом шотландского в руке.

Боже, подумал я, мог ли писатель, придумавший когда-то такую Россию на отделившемся полуострове, представить себе, что вся страна станет островом богатства и скуки, островом, плывущим среди ужаса и безнадежности, плывущим мерно и непоколебимо, островом сытости, к которой наконец привыкли, и бессмысленности, к ко-

торой уже тоже привыкли, — хотя, может, не все...

На развилке, до которой от станции было ходу минут пятнадцать, у заправки, под пылающим медведем — эмблемой «Тюмень-петро», сбились в кучу тяжелые мотоциклы с высоко задранными крупами. Рядом стояли их хозяева — темные, обтянутые кожей фигуры неразличимого пола, и гигантские черные яйца шлемов лежали на каждом мотоциклетном сиденье.

Из группы мотоциклистов вышел некто, развернул свою машину, включил фару-прожектор и направил ее на меня. Полностью и мгновенно ослепленный, я остановился, представляя себе, как я сейчас выгляжу — человек в светло-сером бостоновом костюме с длинным, широким пиджаком, широкими брюками, в серой летней шляпе из очень тонкого фетра, в серых полуботинках, с черным лакированным чемоданчиком, обшитым по ребрам желтой кожей, в левой руке, и светло-серым же габардиновым макинтошем, перекинутым через правое плечо... «Тарзан в Нью-Йорке».

— Пацаны, — крикнул тот, который поймал меня лучом, растягивая по-старомосковски слова, — пацаны, глядите, какой лох классный, па-а-аны!

Пацаны не пошевелинулись. Прикрыв козырьком ладони глаза, я увидел всю их группу, рисующуюся черными тонкими и угловатыми тенями на багрово-синем небе.

— Па-ацаны, — снова заорал лидер, или шут, или то и другое, — он же прям из видака, он же в «Берия'с ганг» играл! Фраер теплый, ты артист?

— Выключите ффару, молодой человек, — крикнул я, делая шаг в сторону, на обочину, пытаясь выйти из луча. — Будьте любезны, выключите ффару!

Дорога была пуста. За то время, что я шел до перекрестка, все приехавшие моим поездом промчались мимо меня, растворились в сизом воздухе над шоссе красные огни, и теперь они уже принимают душ, греют в микровэйвах ужин, смотрят вечерние серии и новости, разговаривают с женщинами и детьми, а на пустой дороге стоит немолодой человек в дурацком маскарадном костюме, под жестоким светом, и напротив — полтора десятка бешено злых неизвестно на что и кого юных гадов, и один из них уже вытаскивает откуда-то, из воздуха, кажется, окованную металлом городошную битую, и делает шаг, и снова кричит...

— Артист, а артист, — крикнул он, — покажи нам, какой ты крутой! Покажи кино, артист! Круче вас только яйца, а, папик?

Я сделал еще шаг в сторону, уже почти сошел с обочины и встал на краю заросшего травой неглубокого кювета, за которым сразу начинался черный лес, и я примерно представлял себе направление, в котором надо было пробиваться через этот лес, чтобы выйти к старой дороге, к брошенной старой дороге с остатками асфальта, и пройти по ней километров пятнадцать, чтобы добраться туда, где меня давно уже ждут.

Парень с битой повернулся к друзьям, махнул им рукой, — давайте, мол, за мной, па-ацаны, словим легкий кайф, я знал, что этот древний сленг был сейчас в большой моде среди та-

ких ребят из богатых пригородов, беспричинных убийц на мотоциклах, — и начал переходить шоссе наискось, двигаясь ко мне.

Он сделал второй шаг, когда я услышал быстро приближающийся тяжелый рев, на дорогу из-за поворота легли две ровные полосы света — и огромный, нескончаемо длинный, сверкающий серебром кузова, прожекторами на крыше кабины, далеко вынесенными на кронштейнах зеркалами и флюоресцирующими рекламными надписями, просвистел, сотрясая землю, между мною и моим увечьем, а может, и смертью, трейлер-рефрижератор «камаз-эlefант» крупнейшей в стране транспортной компании «Извозъ-товарищество», просвистел — и понесся дальше, повез, наверное, мясо куда-нибудь к западной границе и дальше, дальше, в те края, где уже давно привыкли к дешевому мясу, к бройлерным курам, помидорам, яблокам, маслу из России, где без всего этого уже давно немислима была бы жизнь...

И пока он несся, тянулся, пролетал, я перепрыгнул кювет и, низко нагнувшись, но все равно задевая невидимые ветки, помчался в лес, в непроницаемую его черноту, спотыкаясь о корни и сдирая носы шикарных, на заказ сшитых сухумским подпольным сапожником в сорок седьмом полуботинок, цепляясь роскошным макинтошем из мхатовского ателье, колотя о стволы чемоданчиком и разбивая его углами ноги...

Пыль на дороге светилась под луной. Я шел довольно быстро, но не так, чтобы через силу, иногда поворачивая к небесному свету цифер-

блат любимой «омеги». Если дорога та самая и если идти по ней в таком темпе, то часам к двум я смогу выйти к поселку.

Я остановился, вынул портсигар, достал сплюснутую «приму», чиркнул лендлизовской бензинкой, затянулся — и оказался в темноте. Сначала мне показалось, что это просто после того, как вспыхнула зажигалка, но, подняв глаза, я понял, что тучи, быстрое движение которых угадывалось в небе, скрыли и луну, и звезды. «Подари мне все звезды и луну, люби меня одну...» На ощупь, примостив его на колено, я открыл чемодан, на ощупь же порылся в нем — среди зефировых рубашек и пристежных воротничков, помазков и бритв в стальных пеналах, зубных щеток в круглых ребристых футлярах с дырочками — и нашел таки! Фонарь-жужжалка, гениальная штука, маленькая ручная электростанция...

Я шел по пыльной дороге, жужжал фонарик, и не было ничего лучше его жужжания, чтобы петь под чудесный этот звук. «В этот час, волшебный час любви, первый раз меня любимой назови... подари мне все звезды и луну... луну... люби меня одну!» Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ра... Та-ра-рим-та-ра-ра-ра-ра-ра...

Боже мой, думал я, шагая по пыльной дороге, неужели же никогда и ничего этого не будет, и они победят, чистенькие «избы», и «дачи», и «жигули-турбо», и лабаз-менеджеры, и национальные шестирядные дороги под номерами, и набитые едой «сверхбазары», и женщины, которых боятся мужчины, и мужчины, умеющие только работать, улыбаться и бегать по утрам, и

дети, либо вырастающие убийцами, либо умирающие от сверхдозы, и тоска, заливающая пространство от Урала до Пскова... Неужели не останется на этой земле ничего, что было на ней всегда? «Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая, заря моя вечерняя, любовь неугасимая... неугасимая... еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена...» М-м-угу-угу-да-да-да... Та-ри-ри-ри-рири-рири...

Боже мой, думал я, уже входя в темный, тенями окружающий меня поселок, неужели никогда не будут здесь плакать от невозможности счастливой любви, от жажды вечного счастья, не будут верить в единственное решение раз и навсегда, не будут бросать все, что есть, ради того, что может быть, а будут лишь следить за равенством без братства, за свободой без любви, за тем, чтобы в каждой конторе было поровну блондинов и брюнетов, толстых и худых, и чтобы женщины сами носили сумки, и чтобы голубых не называли голубыми, черных черными и красных красными, и чтобы все платили налоги, и чтобы эти налоги шли на армию, и чтобы в армии было не меньше голубых, чем зеленых, черт бы их взял всех, и чтобы там — на востоке, на западе, севере и юге — эта электронная, ленивая, мощная и не умеющая побеждать армия устанавливала такой же порядок...

Темный, старый дачный поселок, брошенный сто лет назад, лежал по обе стороны. Здесь были не «избы», а просто избы, бревенчатые, низкие, с выбитыми стеклами в маленьких окнах, с косо провисшими к улице щелястыми заборами; не «дачи», а действительно дачи, построенные еще

до той, настоящей Войны, с пристройками и разномастными пристрочками, с резными изломанными украшениями над крыльцом, с глухо заросшими участками, над которыми только и были видны самые высокие пристройки и прожавевшие, провалившиеся жестяные крыши; не дома в стиле «дикий барин», а истинно диким барам принадлежавшие хоромы, с тонкими бревнышками колонн и огромными террасами, узкими покосившимися балкончиками без перил с выходом из мансарды, с рухнувшими круглыми беседками, полуразобранными двухметровыми, некогда глухими заборами и гаражами со снятыми воротами, зияющими мусорной чернотой прямо на улицу...

В конце этой улицы, снова переходящей в пустую и такую же пыльную, как улица, дорогу, по правой стороне стоял тот дом, к которому я шел. Такой же дырявый забор, такой же гараж — но с воротами, такой же заросший крапивой и лопухами в человеческий рост участок, и такая же ржавая, острым углом, крыша — только не провалившаяся, и кривая калитка на одной петле...

Я перекинул руку над калиткой, нащупал крючок, которым она была как бы закрыта изнутри, и сбросил его.

Маленькая, лохматая и уродливая собачонка с жутким лаем бросилась мне под ноги и, тут же завилыв хвостом, побежала впереди меня к крыльцу.

Кошка — кажется, трехцветная, или черная, или белая, или никакая — прошла по краю крыши, спрыгнула на перила короткой, ведущей на крыльцо лестнички и улеглась на них, крепко

прижавшись животом и повернув ко мне при-
творно хмурю рожу.

Незаметно вновь вышедшая луна освещала
мой мир.

В этом мире заскрипела дверь, и она встала
в дверном проеме, едва доставая до двух третей
его высоты, и падающий из дому свет зажег ее
волосы золотом, очертил детский ее силуэт — ка-
жется, она была в байковых лыжных шароварах,
кажется, в них была заправлена ночная рубаша,
кажется, она стояла на крыльце в одних шерстя-
ных носках — или, может быть, мне это показа-
лось, и она была рослой, темноволосой, в черном
вечернем платье — или, не исключая, что я про-
сто не разглядел против света, и она была пол-
ной, немолодой, в сарафане, возможно, в ши-
роком сарафане из сурового полотна, вышитом
на лямках и по подолу яркими нитками болгар-
ским крестом — или, можно допустить, я просто
все перепутал, и она стояла в синем английском
костюме, в белой шелковой блузке с отложенным
поверх лацканов воротником, в черных лаковых
лодочках на высоком каблуке, и в светло-голу-
бых глазах ее отражалась луна — или, все же, я
все разглядел совершенно ясно, и волосы про-
свечивали золотом, и силуэт был детским, и это
была она.

— Я очень скучала, — сказала женщина, и мы
вошли в дом.

2

В доме было жарко натоплено, и это было
прекрасно, потому что сентябрьская ночь стано-

вилась все прохладнее. Синий газовый огонь метался за печной дверцей, оранжевый шелковый абажур висел над круглым столом, в углах, оставшихся в тени, пряталась, смущаясь, старая мебель — шкаф с темным провалом зеркала, кресла с сильно засаленными и изодранными кошкой в бахрому подлокотниками, неровный матрас на невысоких ножках, кое-как перекрытый поверх постели старой, местами протертой до белой основы, клетчатой черно-зеленой шалью... В дальнем углу, за шкафом, можно было угадать открытую дверь, а за ней, я знал, был тесный закоулок, из которого крутая лестница с ненадежными перилами из тонких досточек вела на второй этаж, где были еще две комнатки, набитые таким же старьем — железными кроватями, накрытыми ватными одеялами из лоскутков, с выглядывающими из-под них подзорами; сломанными узкими угловыми горками, забитыми пустыми кривогорлыми пузырьками, цветастыми чашками без ручек, неполными комплектами мраморных слонов; бамбуковыми неустойчивыми этажерками с пыльными старыми журналами и нелепыми книгами; ходиками без гирь, в жестяном корпусе; рогатыми стоячими вешалками с забытой на одном из рогов зеленой велюровой шляпой с затеками по краю ленты...

На столе стоял лиловый резной графин, на три четверти полный, узкие лиловые же стопки, большое фарфоровое блюдо с сильно выщербленным краем, полное круглых, овальных, треугольных пирожков, и несколько разновеликих чашек синего с золотом фарфора...

— Хочешь чаю? — спросила она, я кивнул, она пошла на кухню, загремела чайником, полилась вода, а я бросил макинтош на кресло, туда же, сняв, бросил пиджак, сильно потянув, развязал галстук, отстегнул запонки, подтянул выше схваченные над локтями круглыми резинками рукава рубашки... Я был дома, оранжевый абажур приветствовал меня.

Она вошла с чайником в одной руке и старой тарелкой, используемой в качестве подставки под горячее, в другой, поставила чайник на пол, пошла было снова на кухню — наверное, за заваркой, но остановилась, вернулась, приблизилась к стулу, на котором я сидел в неудобной, напряженной позе, как сидит всякий человек, еще не отошедший от долгой усталости. Искры золота, вылетающие из ее волос, вспыхнули и погасли в глазах, оставив там темно-медовый глубокий блеск, она подошла ко мне вплотную, положила на грудь слабую руку и, опустив веки, отчего лицо сразу приобрело выражение отчаянное, томительно-горестное, пробормотала едва слышно: «Притронуться... так хочется трогать тебя...» Я встал, склонился над ней, прижал к себе, так что щека ее — наверное, ей было неудобно — пришлась на пропотевшую и высохшую и оттого ставшую жесткой грудь моей рубашки. «Я люблю тебя, — сказал я, — я тебя очень люблю, маленькая моя девочка, мой ребенок...» «Какой же я ребенок, — сказала она, — я взрослая женщина...» «Ты девочка, — сказал я, — ты девочка, и лучше тебе было бы не заниматься всем этим...» «Я взялась за это дело, — сказала она, — я знала, за что берусь...» Она по-

смотрела на меня снизу вверх, лицо ее показалось мне еще более детским, чем обычно.

— Где ребята, — спросил я, и она высвободилась из моих рук, села к столу, лицо ее снова изменилось и стало серьезным, даже слегка напуганным, как всегда, когда я ее спрашивал о деле, — в каком они состоянии и настроении?

— Оба наверху, давно спят, тебя ведь ждали к десяти, самое позднее к одиннадцати, потом решили, что задержался в городе и приедешь утром. А я не спала просто так, совсем не сплю в последнее время... Может, ждала... Слушай, пока они не услышали и не встали...

— Их надо разбудить, — перебил я ее, — я сейчас поднимусь. У нас времени очень мало, я ничего не успеваю, вечер и так потерян.

— Пожалуйста... — Она заглянула мне в глаза, положила ладонь на мою руку, сжала ее. — Ну пожалуйста, выпьем пока по рюмке без них...

Я кивнул, осторожно высвободил свою руку и сам сжал ее кисть, а другой рукою потянулся к графину, налил в две стопки. Коньяк был не самый лучший, но терпимый, что-то вроде нормального армянского трехзвездочного, а может, и лучше.

— А зачем ты в графин перелила?

— Знаешь, Гриша принес такую грязную бутылку, что на стол было ставить противно. Давай?..

Она потянулась чокнуться, посмотрела мне в глаза. Мед, золото, зеленовато-желтый коньячный свет... Мы выпили, я взял пирожок — круглый оказался с яблоками, я налил еще — и в это время заскрипела лестница.

Гриша, видно, спал не раздеваясь, потому что парусиновые его грязные брюки были измяты еще больше обычного, рубаха из них выбилась, а подтяжки свисали по бокам двумя длинными петлями, хлопая по жирненьким ляжкам.

— Ну правильно, они уже себе выпивают, — сказал Гриша, подвигая стул, ставя на стол оба толстых локтя и сразу же сбрасывая чашку, которую она успела поймать, — они уже себе выпивают-выпивают, а бедный старый аид приказан спать, как у тюрьме. Что я вам скажу, что коньяк таки очень непаршивый, я его брал у одной знакомой в большом гастрономе, так хотел взять прямо ящик, а бабок же нету, что, мне кто-то дал бабок? Так я взял одну бутылку на пробу, а надо было взять больше. Дамы ж его уважают лучше, чем водку, а вы, как интеллигентный человек, тоже можете выпить на праздник, — с этими словами он налил себе коньяку в чашку, выпил мгновенно, выпучил еще сильнее глаза, съел сразу три пирожка и через секунду еще один, причем все это время ни на мгновение не переставал говорить, давясь и кашляя. — Теперь давай я вам скажу на ваш гешефт, чтоб вы были мне здоровы, говно это большое, а не гешефт, конечно, я извиняюсь у дамы. С вас сделают клоунов, а вы еще даже не скажете свое фамилие, вы думаете, если вы схотели им сделать козу, так они вам не заделают? Они вам так заделают, что мы с Гариком оба вместе не поможем, потому что какая с меня помощь-помощь в таком деле? Я что вам, ваш Иисус или наш Давид? Нет, я не Бог и не богатырь, я уже пожилой человек...

Он сделал полусекундную паузу, чтобы на-

лить себе еще чашку коньяку и выпить, а я, воспользовавшись этим, тихо сказал всего три слова.

— Рэб Гриша, заткнитесь, — сказал я. Эффект был совершенно великолепный. Гриша отставил чашку, убрал руки со стола, выпрямил спину и, изящно положив ногу на ногу, достал из кармана мятую сиреневую пачку «гвоздиков», «Любительских» папирос, элегантно склонившись ко мне через стол.

— Не найдется ли огня? — Как обычно, стояло на него прикрикнуть, его комическая местечковость исчезала, и являлся несколько утомленный опытом жизни джентльмен, изъясняющийся легко и немного старомодно, с манерами не только приличными, но и изысканными, увы, лишь штаны в пятнах мочи оставались те же, да шевелился большой палец в дырке бумажного носка: Гриша вышел налегке, чтоб нога дышала. — М-м... Благодарю вас. Так вот понимаете, Миша, я тут, маясь стариковской бессонницей, раскидывал относительно вашего плана мозгами и так, и эдак, но в любом раскладе план остается неоправданно рискованным. И мы с Гариком Мартиросовичем никоим образом гарантировать не только его успех, но и вашу с прелестнейшей вашей подругой (полупоклон в ее сторону) безопасность не можем. При всем нашем — уверяю вас, более кажущемся — могуществе, при всех наших навыках, пусть и немалых. Ну, а за безопасность вашу, мы, как известно, несем личную ответственность...

Он даже не показал куда-либо, а лишь скосил и поднял глаза, не то на абажур, не то еще выше,

после чего налил себе полрюмки коньяку и пригубил.

— Я вас прошу, Григорий Исаакович, давайте о делах утром, — сказал я, снова наливая себе и ей, причем Гриша приветственно повел рюмкой в нашу сторону. — Я устал нечеловечески и ничего не понимаю. Еще и хулиганью по дороге, мотоциклистам, чуть не попался... Завтра, Гриша, дорогой, завтра, ладно? А сейчас посидим немного, выпьем, да и поспать бы пару часов надо...

Тут я поднял глаза и увидел Гарика, появившегося совершенно беззвучно, даже лестница не скрипела. Он был в неизменной своей черной рубашке с черным же галстуком, в черных брюках, черные, отлично вычищенные ботинки тускло светились, и лишь желтая подмышечная кобура выделялась аляповатым пятном на этом безукоризненном фоне. Более того, он был даже в шляпе! Черной, естественно, классического стиля «аль капоне», со слегка приподнятыми сзади и опущенными спереди небольшими полями, так что кривое его, перерубленное лицо было почти невидимым.

— Что ж, товарищи, — Гарик присел к столу и бросил шляпу в угол, не глядя, при этом браслет на его запястье звякнул, а шляпа повисла на раме какой-то темной картины. Она в смешном восхищении скривила рот моей любимой девчоночьей гримасой. — Что ж, товарищи, — повторил Гарик, наливая галантно сначала ей, потом мне, потом Грише, а уж потом себе, причем браслет его снова звякнул, перстень на мизинце сверкнул, а кобура заскрипела. — Перед операцией сам главком рекомендовал сто грамм. И ты,

Михаил Янович, верно заметил — не надо сейчас о деле, о деле надо на трезвую голову, утром. В соответствии с инструкцией, раздел пятый, «О спецвыпивании в ночное, дневное и другое время перед спецоперацией, после нее, а также во время проведения спецопераций и других действий». Будьте здоровы!

— Можно подумать, что Гриша полный идиот и не понимает в порядке, — обиженно буркнул Гриша и, перелив коньяк в чашку и добавив туда же последние капли из бутылки, оскорбленно выпил. — Между прочего, я участник вова не в Ташкенте, вы же не знаете, так я вам скажу, что из аидов было больше Героев Советского Союза, чем из всех гоев взятых, не обижайтесь на меня, Гарик, я уже пожилой человек и люблю правду...

— Лучше, Григорий Исаакович, вы поднимитесь и возьмите из вашего баула еще бутылочку, — сказал Гарик, вытащил коричневенькую пачку «кэмела» без фильтра, щелкнул черным «ронсоном».

— Выпьем еще по сотке, да людям надо тоже дать отдохнуть, — он деликатно глянул только на меня.

— Очень интересно хочется узнать, — взвился Гриша, — игде я возьму эту вашу «бутылочку»? У каком бауле? Может, у меня уже вообще нет головы, может, я забыл, что мне кто-то дал в наследство миллион, чтобы я покупал сто бутылочек, тысяча бутылочек...

— Рэб Гирш, — сказал я, — уже хватит.

Немедленно Гриша подхватился и, приговаривая «как же я запамятовал, да-с, склероз, господа, ничего не поделаешь», в мгновение ока сле-

тал наверх, спустился и выставил на стол такую чудовищно грязную, в сале и чуть ли не в машинном масле, бутылку коньяку, что она только охнула, схватила бутылку за горлышко двумя пальцами, схватила в другую руку графин и, мелко, быстро переступая маленькими шерстяными носками, побежала на кухню переливать. Однако все успели заметить, что коньяк на этот раз уже был не ординарный, а, ни мало ни много, «Ахтамар» с сизой наклейкой...

Потом она прибирала со стола, мыла на кухне стопки и чашки, а мы курили на крыльце, дышали воздухом.

— Три мужика курят, а женщина посуду моет, — усмехнулся Гриша. Говорил он тихо, без малейшего акцента. — Они, — он кивнул в ту сторону, где над горизонтом стояло зарево ночного города и откуда доносился едва слышимый гул губернского шоссе № 3, — они б нас только за это убили...

— И правильно сделали бы, — усмехнулся Ггарик, и никакой инструкции не вспомнил, и фразу построил так, словно и не умеет иначе. — Пойду, помогу милой женщине...

Он сунул сигарету в стоявшую на перилах для этой цели плоскую банку от «печени трески в масле» и, слегка пригнувшись, шагнул в дом. Свет на секунду упал на его лицо, и мне показалось, что нет там никакого шрама, и глаза одинаковые, и не перекошено ничего — просто смуглый немолодой красавец.

— Вот такие дела, батенька, — вздохнул Гриша, тоже задавил окурок и пошел следом, и снова мне показалось, что другой человек возвращает-

ся в дом, не комически уродливый старый еврей, а средних лет немного приземистый атлет, в коротко стриженных рыжих кудрях шапочкой, чуть горбоносый, чуть прищуривший от света яркие голубые глаза.

И я пошел в дом следом за ними.

... Мы лежали на провалившемся кочковатом матрасе, она прижималась ко мне всем своим огненно горячим даже сквозь ее рубашку и мою майку телом, она, как всегда, положила ладошку мне на грудь, и в этом месте в грудь шло тепло, она уместила свою голову у меня под подбородком, и волосы щекотали мою шею, и я чувствовал эти довольно жесткие, пружинящие волосы и их немного кисловатый, мыльный запах, я чувствовал ее небольшие груди, легшие, будто спать, набок, и соски, становившиеся все тверже под рубашечным скользким шелком, и немного выпяченный — чтобы чувствовать меня — живот, и холмик под животом, чуть колючий сквозь рубашку, и ноги, правую она уже закинула на меня, и обняла ею мою левую, и прижималась все теснее, откуда в ней были силы, она почти сдвинула меня с матраса, и где-то внизу ее левая рука поймала пальцы моей правой и сжимала их, гладила, снова сжимала, почти ломала...

Ты же знаешь, сказал я, найдя ее ухо, я не могу сейчас, ты же знаешь, я не могу, пока все это не кончится. Я очень люблю тебя, очень, я больше всего на свете хочу быть с тобой, такого еще не было в моей жизни, все было, но не так, я хочу быть с тобой и дожить с тобой жизнь, я хочу быть с тобой все время, мне ничего не нужно, только смотреть на тебя, говорить с тобой, и

чтобы ты вот так прижималась ко мне, и клала сюда руку, но я не могу сейчас, ты же знаешь. И иногда мне кажется, что мне ничего больше не нужно...

Жаль, тихо перебила она, жаль, что не вызываю никаких других желаний, и я почувствовал, представил себе, как она сейчас улыбнулась, уткнувшись лицом мне в шею, улыбнулась хитро и кокетливо в полной темноте, а я просто хочу тебя, я соскучилась, ничего не говори, не хочу, чтобы ты говорил, я не понимаю, что значит очень любишь, просто любишь, молчи, обними меня, давай будем спать, я уже очень хочу спать, я хочу тебя, но сейчас я невыносимо хочу спать...

Она повернулась ко мне спиной и вжалась, вложилась в меня, я перекинул руку через ее плечо и взял в ладонь ее грудь, вместившуюся вполне, маленькие ее полушария втерлись в меня, едва ощутимо двигаясь из стороны в сторону, мы лежали так плотно друг к другу, словно специально были для этого изготовлены, по-английски это называется spoon like, как ложки одна в другой, и это очень точное сравнение.

Я люблю тебя, и скоро все это кончится, и тогда все будет можно, и мы будем вместе всегда, всю жизнь, сказал я.

Не говори, я прошу тебя, ты же меня не знаешь, может, я тебе не подхожу, сказала она.

Я люблю тебя, ты мне очень подходишь, когда все кончится, мы вернемся, мне никогда не будет нужен никто другой, кроме тебя, сказал я.

Ты все время говоришь, это ужасно, сказала она.

Что ж делать, я так устроен, может, я бы замолчал, если б было можно, но пока нельзя, наверное, потому я все время говорю.

Ты всегда будешь говорить, я, наверное, привыкну, может, ты и меня научишь все говорить.

Мы будем счастливы, спросил я.

Нам будет очень хорошо, ответила она.

Люблю тебя.

Люблю тебя.

Я осторожно отодвинулся, потянул руку — она уже спала. Тихо сползши с матраса, я вышел из дому, не одеваясь.

Зарева над городом уже не было, теперь оно пылало с противоположной стороны горизонта — вставало солнце. Небо было уже совсем светлое, стояла полная, абсолютная тишина, даже с дороги не доносился гул, на рассвете угомонились и самые неутомимые шоферы.

Тихо подошла к ногам собака и повалилась на спину, подставив беззащитное желтое брюхо. Тут же откуда-то спрыгнула кошка и принялась извиваться, тереться о щиколотки.

Сейчас все спят самым крепким сном, подумал я.

Спит в этом доме та, перед которой я абсолютно беззащитен, вот как собака, подставляющая в знак любви и доверия брюхо.

Спят мои не то ангелы, не то демоны, там, наверху, по-солдатски, не раздеваясь, и кобура давит одному из них на ребра, а другой все прикидывает, рассчитывает даже во сне, хранители мои, охранники.

И там, в великом городе, и вокруг него, и во

всей этой прекрасной, чистой, благоухающей, цветущей покоем и довольством, мирной стране, все спят.

Я должен разбудить их, я принесу им дальний, пока не слышимый ими, но страшный гром.

Иначе этот сон будет вечным.

3

Работы хватило всем.

Гарик, в допотопном черном комбинезоне на огромных пуговицах и, почему-то, в тонком летном шлеме времен «По-2», весь обсыпавшись ржавчиной, открыл наконец чудовищный висячий замок и, вспахивая землю, развел ворота гаража. Все были заняты, и никто не обращал внимания, когда он таскал в темное гаражное нутро шланги из подвала, зеленые облупленные канистры с выдавленными надписями «Wanderer», какие-то мелкие фарфоровые обломки из свалки за домом, ведра и мокрые тряпки... И только когда раздались сначала рычание, а потом ровный низкий ропот, и из гаража выкатилась длинная машина, развернулась и встала на дороге перед калиткой, мы побросали свои занятия и вышли на улицу.

«ЗИМ» стоял перед нами, двухцветный, вишнево-кремовый, сверкающий хромом фар и боковых накладок. Все четыре дверцы его были распахнуты, так что можно было видеть ковровые сиденья, и дорожки на полу, руль и головку рычага трансмиссии из чуть пожелтевшей пластмассы цвета слоновой кости, приборную панель

под дерево, фигурный плафон на потолке. Красный, прижатый к капоту флажок из плексигласа просвечивал, словно звезда на башне. В облицовке радиатора играло солнце, на нее было больно смотреть.

— Душевный аппарат, — сказал Гарик, снял шлем и вытер грязной рукой лоб. Затем вылез из комбинезона, зашвырнул его вместе со шлемом в гараж, очистил после себя вынутой откуда-то одежной щеточкой переднее сиденье и вытер носовым платком баранку. — Еще тридцать лет будет ездить, и ничего ему не сделается. И железо настоящее, и эмаль в три слоя...

Он, как уж положено, ткнул носком ботинка в колесо, в черную, будто и не знавшую дороги резину, резко очерчивавшую выкрашенный белым обод, и вздохнул. Вздохнули и мы все.

— За эта машина я не возьму сто таких, — Гриша указал куда-то, где, подразумевалось, катятся современные машины, ни железа, ни эмали. — Но я вам скажу, как своим людям, когда я еще был посланный в Германию первый раз, еще не с евреями, а так, вот как с вами, тоже был один шлимазл, чтоб я присматривал, так мы ездили на такой «мерседес» пятьсот сороковой, тоже была хорошая машина, я вам дам машина...

— Вы еще «хорьх» вспомните, Григорий Исаакович, — сказал Гарик, вытащил ключ из зажигания, захлопнул все дверцы и ушел за дом мыться.

Мы вернулись к своим делам.

Распахнув шкаф, постелив на стол одеяло для глажки, то и дело выбегая на кухню, где в боль-

шом баке, в кипящей воде, доводились до сияния воротнички наших сорочек, белье и носовые платки, она готовила нашу одежду. Сегодня, по жаркому дневному времени, она была в тонком крепдешиновом светло-зеленом халате до щиколоток, с низким и узким вырезом, открывающим белую кожу в ложбинке, и босиком. Пот блестел на маленьком, немного покрасневшем, как всегда, когда она суетилась, носу, она возила тяжелым чугунным утюгом по нашим огромным штанам и пиджакам, мокрая тряпка шипела, от утюга поднимался пар... Я подошел к ней сзади, обнял, прижал, она потерлась об меня, как ночью, застыла с утюгом на весу... Я разжал руки, взял в углу свой чемоданчик и полез наверх.

Гриша сидел на кровати в чудовищно грязных кальсонах, голый до пояса, весь в седых волосах, скрестив ноги и разложив на чистом полотенце, постеленном поверх лоскутного одеяла, разобраный Гариков «ТТ».

— Вот я вам, Миша, скажу, как вы мне сын. — Он почесал приплюснутый нос тыльной стороной руки, не выпуская из нее возвратную пружину, мерцающую тонким слоем масла. — Гарик, конечно, человек очень порядочный, это ж правильно говорят люди, что где есть армянин, там еврею нечего делать, и он, конечно, мастер свое дело, дай нам Бог, но он, извиняюсь, конечно, большой поц. Такую оружие изничтожить до такой состоянии! Масла чтоб у меня на бутерброде столько было, в магазине дрек всякий... Из такой оружи стрелять, лучше из своей жопы стрелять, я вам говорю. В такого хозяина я бы оружие отобрал, пусть солоп свой носит под мышкой, извиняюсь...

Я присел на тяжелую некрашеную табуретку с продолговатой дыркой посередине сиденья — откуда здесь взялась среднеевропейская эта табуретка? — раскрыл на колене чемодан, вытащил оттуда тяжелый газетный сверток, пережатый шпагатом, и молча протянул Грише. Так же молча и Гриша отложил в сторону детали «ТТ», ловко развернулся на постели к ним спиной и принялся сдирать сначала газету «Комсомольская правда», и обрывки фельетона про стилист полетели на пол, потом развернул промасленную бязевую портянку и вынул чуть потертый «вальтер-ПП».

— Зай гезунд, Гриша, — сказал сам себе Гриша, рассматривая маленький и удивительно складный пистолет, — чтоб ты жил так каждый день, имея такую вещь в руках. Это вещь, Миша, это настоящий живой вещь, но это детский шпиль, Миша, я вам говорю, я ж не самый глупый аид в мире, с такой оружией должна ходить красивая шмарочка, — он ткнул локтем вниз, — а не такой большой мальчик, как вы.

— А что посоветуете мне, Григорий Исаакович? — Я испытывал действительное почтение к этому удивительному существу, и он это почувствовал, посмотрел на меня гордо и даже сверху вниз каким-то образом, сунул руку не то под себя, не то под тяжелую и плоскую подушку в красной ситцевой наволочке и протянул мне — вежливо, стволом к себе — нечто страшное, размером с половину «калашников», с огромным кольцом, болтающимся на круглой деревянной рукоятке, с длинным подствольным магазином, ободранное до сверкающего белого металла...

— Что это, Гриша? — Я принял пистолет, едва не выронив это тяжеленное чудовище, и почувствовал себя Корчагиным.

— «Ройял». Между прочим, по-русскому обозначает «королевский», — пояснил Гриша. — Испанская вещь. Двадцать штук в магазине, можете проверить. Конечно, весит таки, но если вы хотите стрелять, так им можно стрелять, и даже, не дай Бог, им можно кого-нибудь вбить, а если вы хотите только красоту и ффраерство, так портите себе воздух вашей шпринцовкой!

— А себе, Григорий Исаакович? — Я попытался прикинуть, куда можно засунуть мою гаубицу, и понял, что никуда.

— У машине дадите ей место, — сказал Гриша и, перегнувшись, ловко вытащил из-за кровати еще одного сверхъестественного уroda. — Агипцен трактор, что может быть у пожилого аида, если он не вчера упал на мужское дело? Миша, я уважаю германцев и австрияков, они таки пили с нас кров, но они делали оружие, чтоб они все так делали. «Штайр» двенадцатого года, Миша, это такая красавица, что можете против mine со «штайром» ставить хоть вашего Суворова, ему не будет радость...

Его пистолет больше всего был похож на охотничий топорик, но не верить Грише не приходилось...

Мы были готовы часам к трем дня.

Она вышла в темно-синем в мелкий белый горох шелковом платье, тугой лиф, открытые плечи, очень широкая и длинная юбка, белые корот-

кие перчатки, белая сумочка, белые босоножки на толстой пробке...

Гарик был, естественно, в черном, но в каком черном! На нем был полный парадный мундир капитана второго ранга, сверкали золотом нашивки, погоны, дубовые листья на козырьке, кортик болтался у колена, белые перчатки торчали из кармана...

Гриша был, конечно, в белом, точнее, в кремовом, как бы под цвет верха «ЗИМа»: чесучовые, неизмеримой ширины брюки, пиджак, стянутый сзади хлястиком, кремовые сандалеты, шляпа тонкой соломки с лиловой лентой — на правую бровь, в руке толстая суковатая трость с серебряной ручкой...

Мой голубовато-серый бостон она почистила и выгладила, голубую рубашку я надел свежую, серый в темно-красную крапинку галстук-«баттерфляй» она мне застегнула сзади сама...

— Ты обещал все рассказать, — напомнила она.

Мы сели на длинную скамейку перед домом, за летним, из растрескавшихся серых досок столом на вкопанных козлах. Солнце палило не по-осеннему, но стол стоял в тени двух старых груш, время от времени налетал ветерок и шевелил занавески в открытых окнах машины, стоявшей прямо перед нами на улице, так что ее было хорошо видно в раскрытой настезь калитке. Гриша раскуривал невесть откуда взявшуюся трубку, и сладкий запах «Золотого руна» напололам с «Капитанским» — фабрики Урицкого, Григорий Исаакович? Какой же еще, Мишенька, естественно — обнимал и гладил нас. Гарик курил «Гвар-

дейские», я затянулся «Тройкой», и золотой ее мундштук приласкал губы. Она с хрустом разворачивала черно-серебряную бумагу и фольгу плитки «Нашей марки», темно-медные волосы ее, утром коротко подстриженные в «венчик мира», едва заметно вздрагивали.

— Итак, пришло время, — сказал я. — Я обещал все объяснить, и я объясню все, что смогу, хотя, думаю, Григорию Исааковичу и Гарику мои объяснения не очень нужны. Однако произнесенное вслух имеет то преимущество перед понятым без слов, что может быть оспорено, а не будучи оспоренным, становится общим согласованным планом... Первое, что, вероятно, не может не вызвать недоумения: почему мы не маскируемся под аборигенов, а выступаем в нашем собственном, свойственном нам виде, даже подчеркиваем это, да еще и на соответствующем автомобиле? Ответ прост...

— Вот именно, — тихонько подтвердил Гриша, рассыпав из трубки оранжевые искры. Гарик пожал плечами, и погоны его поднялись, как два крепостных моста.

...ответ прост: мы армия, а всякая армия — не партизаны, не террористы — должна иметь свою форму и воевать в ней, и мундир должен внушать носящему его мужество, а противнику страх, и армия должна идти в бой на своей технике, со своим оружием. Но нет другой одежды, как эта, чтобы так отличала нас от них, это одежда настоящих мужчин и женщин, мучавшихся и мучавших друг друга, живших несправедливо и тяжело, но живших, а не изнывавших в кастрированном мире вечного счастья...

— Что тут много говорить, — перебил меня на этот раз Гарик, — не мы решаем. Приказ есть приказ... Сказано — форма одежды парадная, летняя, для районов, кроме южных, значит, пойдем в парадной, а? А «ЗИМ» вообще машина первый сорт, у них на всех ограничители стоят, пятьдесят верст в час, и все, я их на шоссе буду делать, как хочу, да? Часть восемнадцатая: «О превышении допустимой скорости, вождении спецмашин в нетрезвом виде и способах создания аварийной ситуации на дороге в военное, мирное и другое время». Правильно, да?

Я заметил, что по мере того, как исчезали южно-русские и просто еврейские интонации у Гриши, у Гарика появлялись кавказские.

— Теперь о самой операции, — продолжал я. — ЦУОМ, всем хорошо известный, находится там, где и в старые времена находились подобные институты, на Страстной площади, которую даже из них некоторые, кто постарше и поинтеллигентней, называют Пушкинской. Полиции там немного, но, очевидно, за всем районом ведется тщательное наблюдение различными службами — Корпусом Генеральной Безаварийности прежде всего. Скрытые на карнизах и крышах телекамеры, чувствительные микрофоны, металлоискатели, эффективные на расстоянии сотен метров, сотрудники в штатском в толпе и в автомобилях на прилегающих стоянках. На крыше ближайших «Быстрых пельменей» дежурят снайперы. Наконец, в самом Центре, на глубине пятнадцати метров, точно под памятником, серьезная охрана. Есть хорошо разработанный план...

Когда я закончил объяснения, было уже около пяти, солнце шпарило вовсю, но сам его отчаянный жар говорил, что и лето вообще, и этот день идут к концу... Все молчали. Гарик, приканчивая десятую за время моей лекции папиросу, искоса глядел в схему, на которой широкая улица перетекала в площадь, в середине которой был кружок и рядом крестик — здесь должен был остановиться «ЗИМ». Гриша выбивал трубку о каблук, набивал новую, не глядя и не переставая перечитывать список предполагаемого у охраны оружия. Она наклонилась ко мне, к самому уху, и, пользуясь, как ей казалось, увлеченностью других своими будущими проблемами, спросила шепотом: «А почему ты не можешь... ну, пока все не кончится, ты так и не сказал. Скажешь?»

В горле у меня после двух часов непрерывного говорения и так пересохло, но тут я почувствовал в глотке наждак.

— Гриша, — попросил я негромко, — Григорий Исаакович... Нельзя пивка? Бутылочку...

— Отчего ж, можно и две, — баритоном, побарски хохотнул Гриша и, пошарив рукой под скамейкой, стал вытаскивать и ставить одну за другой на стол маленькие, с гранеными горлышками бутылки «Двойного золотого». Раздирая в щепки край столешницы, я открыл одну, приложился... «Миша, скажи», — снова шепнула она на ухо. Я встал, пошел к калитке, будто решил еще раз полюбоваться на нашего двухцветного красавца, она пошла следом, встала рядом; словно деревенская пара, мы подперли забор. «Понимаешь, последний этап операции связан с тем,

что кто-то из нас должен доказать, что мы — другие, должен обнаружить нашу жажду любви, желание любить... Так настроен компьютер, это сверхзащита в здешних обстоятельствах... Гриша стар, Гарик...»

В тот миг, когда я запнулся, подбирая слова, произошло одновременно столько, что когда я пытался потом это вспомнить, мне казалось и до сих пор кажется, что мгновение это длилось по крайней мере полчаса.

С юга, откуда-то с дороги, вползающей в поселок, донесся гул, быстро нарастающий, рвущий воздух, сотрясающий вселенную, гасящий солнце.

«Домой, все в дом!» — заорал Гриша, в левой его руке уже был пистолет, в правой неведомо откуда появилась граната на длинной деревянной ручке.

Гарик, сшибая бутылки, перепрыгнул через стол, пролетел, оттолкнув нас, через калитку, дверцы машины захлопнулись, мотор взревел, в поднявшейся до неба пыльной туче автомобиль исчез, затих где-то на севере, далеко от поселка.

Мы уже были в доме, Гриша взлетел наверх, я встал у окна кухни, чуть раздвинув занавески, тяжелый пистолет лежал передо мною на узком подоконнике.

Она осталась в комнате, села за стол, лицо ее стало молочным, голубовато-белым, даже все веснушки исчезли, маленький «вальтер» лежал на столе перед нею. В раме двери, опершись локтем на стол, положив голову на ладонь, она сидела в такой неподходящей обстоятельствам за-

думчивой позе, что мне показалось нелепым ждать смерти рядом с этим прелестным женским портретом. Но гул стал уже совершенно невыносимым, и я повернулся к окну, к щели в занавесках.

Первый танк, старый, грязный, сверхтяжелый Т-96 с противоминным подпрыгивающим траком-катком спереди, влетел в поселок на максимальном ходу, омерзительный синий дым его выхлопа затянул почти всю видимость, запах горелой солянки проник в дом. Качались антенны, плыл, ныряя и поднимаясь, ствол пушки...

Следом шли такие же грязные, ободранные, некогда покрашенные в камуфляжные цвета бэ-эмпэ, их было много, даже в доме стало невозможно дышать, трудно было представить себе, в какую отвратительную вонь погрузился мертвый поселок. Иногда в приоткрытых люках и щелях мелькали грязные, в черных потеках лица, можно было успеть увидеть безразличное их выражение, многие казались азиатами или темнокожими...

Потом появился еще один танк, это была легкая машина десанта. Поравнявшись с нашим домом, он притормозил.

И снова секунда растянулась.

Отскочив от окна, я схватил ее, поднял, прижав одной рукой, оглянулся — и почти бросил в подвал, подцепив ногой и откинув его крышку. Над открывшимся лазом я поставил стол, за которым она сидела — если рухнет крыша, она сможет вылезти из завала... И тут же, с ее «вальтером» и моим монстром в обеих руках, я оказался наверху, у Гриши.

Гриша лежал животом на кровати, придвинутой к окну, и аккуратно целился в танк «фауст-патроном». Острие толстой мины упиралось точно в среднюю планку рамы, и я заметил, что все крючки уже были откинuty, так что перед выстрелом можно было распахнуть окно вместе с занавесками-задергушками одним толчком. Чесучовый костюм чудесным образом висел на плечиках, зацепленных за гвоздь в стене, Гриша лежал в длинной сорочке и длиннейших же сатиновых трусах, и носки были косо натянуты на его толстые узловатые икры резинками с каучуково-металлическими зажимами, и пальцы в носках шевелились.

— А что вы там стоите сзади, Миша, — спросил он, не оборачиваясь, — там же будет от меня огонь, уж будьте как дома, возьмите вон ту серьезную железу и примерьтесь дать им прокататься...

Я оглянулся и увидел в углу «томпсон» двадцать восьмого года, с круглым диском, с изумительно отполированными прикладом и ложем. Я сел на тяжелую табуретку у второго окна и приготовился дать первую очередь просто по направлению, через занавеску и стекло.

— С этой штукой вы, наверное, чувствуете себя просто парнем из компании Лаки Лучано, — сказал Гриша, не меняя позы. — Хотя вы еще совсем молодой человек, а я имел несчастье знать это ничтожество лично...

Вероятно, с момента возникновения гула прошло минут десять. Я осторожно глянул в окно, между занавеской и рамой был просвет сантиметра в полтора.

Танк стоял на прежнем месте, и как раз когда я посмотрел, его низкая плоская башня начала поворачиваться, и ствол уставился прямо на меня. «Вот и все, — подумал я, — вот и все, я не позвонил Жене перед уходом, она с ума сойдет... Все. Только бы не завалило, потом она сможет вылезти, только бы не завалило, зачем я втравил ее в эту работу, она ведь рассчитывала совсем на другое, ей просто было скучно превращаться в домашнюю хозяйку, она хотела только небольших приключений... Вот и все».

— Это кажущее, — сказал Гриша.

Ствол дернулся и поехал вбок. Остановился. Полыхнуло. Раздался удар, наш дом покачнулся. И тут же рассыпалась и запылала маленькая дача через дорогу, обычный сборный домик, уже почти сгнивший. Танк развернулся и, срезая поворот, пошел догонять колонну, подминая низкий штакетник и кусты на следующем после горячей дачи пустом участке.

Следом по улице пронеслись два уральских грузовика, над кузовами вздрагивали металлические ребра, брезентовые тенты были сняты, а в кузовах сидели солдаты в пятнистых комбинезонах, в зачехленных глубоких касках, в черных трикотажных масках-чулках. Один из них поднял короткий круглоствольный автомат, забило пламя. Осколки бутылок посыпались со стола, за которым мы сидели. Парень поднял ствол выше...

— Вот видите, — Гриша встал с пола, когда моторы уже совсем стихли вдалеке, стряхнул мелкое стекло с волосатых плечей, один осколок, впившийся выше локтя, крепко прихватил дву-

мя пальцами и вырвал, кровь потекла по руке сразу широкой лентой, а он, держа локоть наотлет, чтобы не закапаться, спокойно продолжал: — Можете видеть, они таки точно пернули в лужу, так теперь я хочу вас спросить, а игде мы будем искать нашего Гарика и нашу, между прочим, машину? И что вы стоите, Миша, как тот столб, забинтовайте мне эту обтруханную руку, а если вы не можете видеть крови, так позовите девочку, она не должна бояться кровей. И за ради вашего Бога, уже не нервничайте себе, эти хазеры уже не вернутся, я вам уверяю...

4

Снова была ночь, наверху под Гришей визжала кровать — старик, видно, не спал, ворочался.

Мы опять лежали, как ложки, к вечеру похолодало, и она прижималась ко мне все тесней, все теснее... Но уже не заводила тяжелого разговора, и мы просто шептались обо всем, о ее и моей прошлых жизнях, о любви, об оставшихся там знакомых, среди которых оказалось много общих, о профессии моей, в которой она, оказалось, совсем неплохо разбирается, и мы с ней так, шепотом, и поспорили немного — о цвете и концепции, о режиссерском показе, о развернутой метафоре и детали, о скрытом цитировании и игре...

Почему мы шепчемся, подумал я, ведь здесь никого нет и можно говорить почти в полный голос. Шепот — знак близости, подумал я.

Совсем расхотелось спать, я перевернулся на

спину, она уюстилась у меня на плече, с улицы шел слабый свет не то луны, не то одних только звезд, но и этого хватало, чтобы я видел ее волосы, колышущиеся возле моего лица, как пожелтевшая по сезону трава, и ее глаза, в которых голубой свет звезд превращался в желтый свет солнца.

Я потянулся, щелкнул ручкой приемника, и круглая шкала довоенного «Telefunken'a» зажглась, и зажегся зеленый глазок настройки, я покрутил верньер, цветная стрелка поползла по кругу... London... Oslo... Paris... Vienna... Berlin...

Отчаянно знакомый, будто с рождения, высокий, срывающийся голос наполнил комнату. Немецкие слова казались почти понятными. Солдаты должны выполнить долг перед отчизной, каждый их шаг на Восток — это шаг к великой Германии, и Германия, вечная страна, будет воздвигнута на руинах лживой, разложившейся, буржуазно-коммунистической, еврейско-славянской цивилизации, место которой на свалке истории...

Что это, в ужасе прошептала она, что это ты нашел? Я нашел сентябрь тридцать девятого, ответил я, и снова покрутил настройку.

Я тоскую по соседству и на расстоянии, пропел с невероятным самодовольством радиокрасавец, ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии. Народы Страны Советов, сказал тот же красавец, а может, и другой, в едином порыве поднимают свой голос против поджигателей новой войны, бряцающих атомной бомбой и пресловутым планом Маршалла, за мир во всем мире, против лживой, разложившейся, буржуаз-

но-империалистической, американо-реваншистской так называемой цивилизации, место которой на свалке истории...

Где мы, уже отчаянно спросила она, куда ты меня ведешь, я веселый, легкий человек, куда ты нас тянешь? Это Ад, ответил я, добро пожаловать в Ад, любимая, однажды я видел такое приглашение в теленовостях, но ничего не бойся, мы будем в Аду вдвоем, Ад — единственное счастье, которое доступно двоим, в Раю можно быть поодиночке, но еще когда ты ждала меня, и скучала, и расставалась со своей предыдущей жизнью, и смотрела, как барахтаюсь я, расставаясь со своей, и жалела меня, сочувствовала, уже тогда ты подписала контракт на экспедицию в Ад, из такого путешествия можно не вернуться, если зайдешь слишком далеко, а я не умею останавливаться, но главное — идти вдвоем. Что это там, что это за передача, спросила она, уже улыбаясь, глаза ее еще отсвечивали влагой, но она уже почти успокоилась, скорчила обычную свою гримасу, детскую и кокетливо-женскую одновременно. А это Виталий Доронин пел из «Свадьбы с приданым», а потом был обзор газет, сказал я, сорок седьмой год.

Не хочу, сказала она, не хочу, не хочу. Куда же ты хочешь, спросил я, хочешь в завтрашний день, в двадцать четвертое сентября две тысячи девяносто шестого года? Нет, нет, сказала она, это тоже Ад, не хочу, неужели это обязательно? Да, сказал я, ты права, здесь тоже Ад, они сами его устроили, они сами отправили себя на свалку истории, сами победили себя, им не понадобились ни тот, ни другой, ни австрияк, ни грузин —

они обошлись социальным равенством, правами женщин и меньшинств, сытостью и скукой, лицемерием и общественными интересами, они построили самый безнадежный Ад тоски, вокруг которого пылает Ад жестокости. С этим Адом нам и предстоит иметь дело... Я знаю, что тебе нужно, сказал я, и снова покрутил настройку, зеленый глазок жмурился и расширялся по-кошачьи, и возникала музыка.

«This never happened before...» — пропел Нат Кинг Кол, — «...but never, never again...» Рухнул, зазвенел, взлетел за облака оркестр, и Синатра включился в нашу борьбу с дьяволом: «I want to see your face every kind of life... you spend it all with me...»

Я люблю тебя, наконец сказала она, и совсем не обязательно отправляться в какой-нибудь ад для любви, я не хочу знать все это.

Тут заскрипела лестница, раздался деликатный кашель, и Гриша, пробирающийся на кухню, забормотал: «О, вейз мир, почему пожилой человек должен так мучиться, здесь невозможно достать не то что компот, чтобы попить от изжоги, здесь уже вода как счастье, за что этот цорес на мою голову...»

Нащупав кнопку, я включил лампу у изголовья. Гриша стоял у двери в кухню, и вид его был восхитителен — на нем был полный наряд сельского джентльмена для прохладной осенней ночи: фланелевые брюки, пушистый верблюжий пуловер, шелковая косынка на шее под свежей голубой рубашкой, рыжие короткие кудри были безукоризненно разделены косым пробором.

— Простите старика, — сказал он, слегка щуря от света голубые, как бы со слезой, глаза, — бессонница... Не составите ли компанию?

С этими словами он достал из-за спины хрустальный флакон с ржаво-желтой жидкостью, а в другой руке у него оказались вложенные стопкой один в другой три больших стакана с толстыми, тяжелыми доньшками.

— Очень и очень рекомендую, — продолжал Гриша, — сорт весьма приличный, «Glenlivet» двенадцатилетний. Что до меня, то предпочитаю риге malt безо льда, а уж тем более без содовой и прочих американских пошлостей...

— Отвернитесь, Григорий Исаакович, — сказала она, и очаровательный старик суетливо кинулся в угол, стал лицом к стене, а она, в одну секунду оказавшись в кружевном пеньюаре и накинув на плечи сливочного цвета шелковую шаль, подала мне стеганый лиловый халат, фуляр, чтобы прикрыть шею, и меховые домашние туфли. Мы с Гришей уселись в креслах друг против друга, она осталась в постели, села, засунув за спину подушки и прикрывшись до пояса пледом. Я подал ей бокал.

— Григорий Исаакович, вы не представляете, как вовремя проснулись, — она посмотрела на него так, так хлопнула ресницами, так классически сыграла глазами, так проворковала, что бедный эсквайр едва не выронил трубку, которую было принялся раскуривать. — Миша тут наговорил ужасов, да еще по радио передавали всякий бред... Страшно хотелось выпить!

— Отчего ж бред, — вежливо возразил Гриша, — очень милая была песенка. Он, конечно

дело, гангстер, и все такое, но поет вполне чудесно. «I want to see your face...» Очаровательно! Белый пустой зал, оркестр под утро сморило, и только негритенок-уборщик все ставит и ставит одну и ту же пластинку, танцуя со шваброй и не обращая внимания на пару за столиком в углу... Очаровательно...

— Как вы думаете, Григорий Исаакович, — перебил я его, — извините, что о невеселом, как полагаете, куда направлялась эта колонна?

— Скорее всего, куда-нибудь на Волгу, — задумчиво глядя на мечущийся у наших ног огонь в настешь распахнутом зеве печи, ответил он после секундной паузы. — Там мордва, мари... Вероятно, очередное усмирение. Да можно хотя бы вот радио послушать, только не скажут ведь ничего... Маньяк дарит женщинам цветы, иск жены к мужу за преждевременный, простите, милая, оргазм, наводнение в Чехии, голод в Канаде... Других новостей у них не бывает.

— Да мой приемник вряд ли это ловит, — заметил я, — он на их волнах не работает.

— Да, прибор достойный, — согласился Гриша, — одиннадцать ламп... А вот у меня к вам, в свою очередь, вопрос, друг мой: может, вы, молодой своею головой, сообразите, как у них получается, что год две тысячи девяносто шестой, а ежели судить по всей их жизни, по идеям модным, по автомобилям, по всей технике, то выходит лет на сто меньше? Опять же, к выборам они готовятся...

— Календарь, Григорий Исаакович. — Я встал, прикрыл лампу платком: она задремала, откинувшись на подушки, а свет падал ей прямо

в лицо. Пустой бокал я осторожно взял из ее слабых пальцев... — Они просто приняли такой календарь. Референдумом. Они провели референдум и сделали дырку в истории, и очень этим гордятся. С тех пор здесь и сменяются у власти две партии, ново-временные демократы и национал-республиканские календаристы. Только президент не меняется, просто по результатам выборов переходит из партии в партию.

— Да-с, забавно, — тихо вздохнул Гриша, — о таком даже мне не говорили, когда посылали сюда...

Мы сидели у огня, понемногу приканчивая литровый флакон великолепного скотча, а вокруг нашего дома, в котором мирно беседовали два элегантных и корректных господина и спала прекрасная дама, вокруг этого пространства мужества и женственности, приятельства и любви, во тьме лежала страна — застроенная удобными и красивыми особняками и деловыми небоскребами, покрытая широкими и зеркально гладкими шоссе, стриженными лужайками и чистыми лесами, полная еды, одежды и машин. В этой стране мужчина, прямо взглянувший на красивую женщину, подлежал суду, который чаще всего приговаривал его к смерти в вакуумной камере; в этой стране не вегетарианцев не впускали в рестораны, а за срубленное дерево подвергали изгнанию; для людей белой расы, физически полноценных и гетеросексуальных, была введена процентная норма при поступлении в университеты; все религиозные праздники отменены, поскольку задевали чувства атеистов, хотя атеистическая

пропаганда запрещалась, как задевающая чувства верующих; любые способы регулирования рождаемости осуждались, но секс существовал только «безопасный», а рождение более трех детей в одной семье преследовалось законом, поскольку нарушало равновесие между человеком и средой и вело к истощению природы; в этой стране самым строгим образом защищалась свобода печати, но компьютер в ЦУОМе, Центре Управления Общественным Мнением, неукоснительно контролировал все источники информации, отсекая любые сведения о том, что происходило на границах и окраинах державы.

Потому что там горели заливаемые сгущенным бензином города и деревни, там ракеты разносили в пыль больницы и школы, танки шли по ставшим на их пути людям, там тысячами гибли солдаты официально не воюющей армии и офицеры давно расформированной и проклятой тайной полиции, там был внешний круг Ада, неведомый для внутренних восьми: для круга скуки, круга лицемерия, круга тупости, круга сытости, круга безнадежности, круга лжи, круга одинаковости и круга одиночества.

— Выходит, рэб Гирш, — спросил я, — что ничего, кроме ужаса?..

— Ай, Мишенька, не обижайтесь, — старый еврей взмахнул руками, да так и остался, держа их над головой и удивительно при этом напоминая трехсвечный канделябр, — не обижайтесь, но таки кроме ужаса ничего не получается на этой паскудной земле. Я ж не имею у виду именно здесь, вы посмотрите на ихнюю хваленую

Америку! Такое же ²повидло, я вам говорю, как старше по возрасту...

Он горестно уронил руки и застыл, глядя в одну точку перед собой. Мы посидели минуту молча, потом он поднял глаза, и это были снова ярко-голубые, чуть со слезой глаза крепко держащегося пожилого супермена, и седые патлы снова превратились в рыжий короткий пробор.

— А с другой стороны, милый мой молодой друг, — и быстрая, едкая усмешка мелькнула на его жестком лице, — кто вам сказал, что вы обязательно должны быть счастливы? Да и все мы, человечество, так сказать... «Как птица для полета...» Чудовищная пошлость! Мир сей есть юдоль слез, Миша, и для горестей и несчастий являемся мы в него, и я удивлен, что вам, верующему, насколько я знаю, человеку это надо напоминать. Сытый ли, голодный ли, в толпе или изгой, властитель, раб или вольный гражданин — человек несчастен. Был, есть и будет.

Мы не говорили о Гарике. Я, конечно, волновался за него, да и за машину, без которой все пошло бы прахом. Но все же я помнил о некоторых дополнительных — к средним человеческим — возможностях, которыми, как мне казалось, обладают мои друзья и товарищи по авантюре... Что до Гриши, то он, похоже, во все забыл о существовании приятеля. Он дремал, похрипывая трубкой, я допил последний глоток и тоже, видимо, на какую-то минуту провалился в сон. Ранний серый свет полз в окна, и под этим рассеянным, с детства ненавидимым мною светом, наши лица, наверное, стали старыми, больными, морщины и рытвины, пятна дав-

них экзем и раздражений проступили под проклятым светом, и даже ее милое лицо, яблочного желтовато-розового цвета в обычное время или прозрачно-белого, когда она волновалась или уставала, стало буроватым, открылись поры, а на крыльях носа появились капли пота и мелкие прыщики.

Бедная девочка, думал я во сне, бедная, бедная девочка, куда она-то попала в компании немолодых, угрюмых мужиков, посланных неведомо кем, — если нас действительно кто-то все же послал, если мы не просто три случайно познакомившихся идиота с подростковыми наклонностями к приключенческой романтике, ринувшиеся сами с почти наверняка неосуществимой миссией ради вполне бессмысленной цели, — бедная моя легкомысленная девочка, думал я, сонно ворочаясь в кресле, бедная моя любимая, думал я, просыпаясь под уже ярким светом, солнце шпарило через верхнюю часть окна, поверх занавески, прямо мне в глаза, Гриша и она крепко спали, а посреди комнаты сидел на полу Гарик и медленно, не издавая ни звука, стаскивал с себя обгоревшие, залитые кровью тряпки.

Лицо его было в длинных и ровных косых разрезах, будто по нему провели острыми граблями. «Сгорела машина, — сказал он негромко, — жалко, классная была машина. Спецмашина, что тут говорить, да?..»

Он гнал по старой дороге, уходя от колонны. Длинный и тяжелый автомобиль прыгал на остатках асфальта, и он с мукой, будто собственным телом, колотился об эту пыльную, но такую

твердую дорогу, ощущал, как кряхтят, екают, дрожат от напряжения и дергаются от ударов металл, резина, пластмасса. Гул сзади почти не был слышен, когда он повернул направо, уже не на дорогу, а на просеку, засыпанную старой сосновой хвоей, гнилыми шишками и тонкими обломанными ветками. Он поехал помедленней, переваливая через вылезшие из земли корни, чуть-чуть погружаясь в оставшиеся после давнего ливня лужи и болотца, осторожно переезжая какие-то мелкие канавы. По его расчетам выходило, что примерно километра через три будет еще одна просека, тоже направо, потом еще — и он вернется к дороге у самого поселка, оставит машину в лесу и пойдет осмотреться... Он неплохо представлял себе окрестности поселка еще по тем временам, когда здесь была дача одного его начальника и приятеля, у которого он часто бывал... Но поворота направо все не было, и он все полз по просеке, чуть подпрыгивая на особенно толстых корнях и царапая — как по сердцу — по лаковой кремовой крыше самыми низкими ветвями.

Километров через пять поворот возник, но налево, сама просека довольно круто свернула, стала шире, и под желто-черным лесным мусором замелькал кое-где выщербленный бетон, и наконец он покатил просто по старой бетонке, с широко разошедшимися щелями между плитами и выглядывающими из растрескавшихся этих плит ржавыми витыми арматурными прутьями. Куда ведет эта дорога, он уже представлял с трудом, но, в любом случае, он удалялся от поселка. Уже будучи готовым развернуться, чтобы

ехать назад по своему следу, он высматривал для этого место поровней и пошире, когда в машину влетел уже знакомый гул.

Танки шли прямо на него, это была танковая колонна без каких-либо других машин, и движущийся лес поднятых зачем-то в небо стволов сшибал ветки живого леса; в железный гул вплетался живой древесный треск, словно человеческие вскрики. «Бирнамский лес пошел», — подумал Гарик Мартиросович, закончивший в свое время, между прочим, институт военных переводчиков, да, увы, все перезабывший в своей должности спецводилы.

Бирнамский лес пошел, думал он,
слетая с дороги и несясь навстречу колонне,
словно призрак, между деревьями,
сминая подлесок,
снося стволами ручки с дверей и хромированные накладки,
насквозь прорезая сучьями крылья,
отрывая зацепившийся за пень задний бампер.

Бирнамский лес пошел, думал он, видя перед собой абсолютно непреодолимую грудку валежника — выворачивая на дорогу перед немного приотставшим Т-92 — и, в секунду пересекши эту чертову дорогу, перепрыгивая мелкую придорожную канаву — снова несясь меж сосен навстречу бесконечной колонне, ни одна машина которой, к счастью, не могла ни повернуть за ним, идя в строю, ни даже поймать его за деревьями очередью из крупнокалиберного.

Бирнамский лес пошел, думал он, уже почти

поравнявшись с предпоследней, сильно обгоревшей, машиной — дивизион явно был выведен из боев.

Бирнамский лес по...

Он не додумал.

Механик предпоследней не выдержал.

Все тонны горелой краски, брони, траков, масла и солярки, боекомплекта, лазерных прицелов, приборов спутниковой ориентации и примерно триста килограммов экипажа дернулись и начали съезжать с дороги навстречу наглому привидению.

«ЗИМ» ударился в правую гусеницу точно серединой передка, алой пылью рассыпался плексигласовый флажок на капоте, машина встала на нос, на миг зафиксировалась вертикально, вверх багажником — и рухнула крышей на броню.

В ту же секунду замыкающий ударил злополучный танк сзади, и вспыхнули наружные запасные баки. Еще через минуту горели оба, черно-оранжевый дым поднимался из леса, потом из люка механика второго танка выдвинулась до половины человеческая фигура, но комбинезон на спине тут же вспыхнул и горящий повис вниз пылающим шлемом.

Колонна неровно, вразнобой остановилась.

Бирнамский лес по...

Он не додумал.

Предновогодний, декабрьский Кабул семьдесят девятого он вспомнил.

И январь в Вильнюсе девяносто первого.

И октябрь девяносто третьего в Москве.

И снова декабрь, на окраине Грозного, девяносто четвертый.

И еще черт ее знает какую, кажется, горную дорогу, и заходящий на ракетный залп вертолет, и танки, и горелые трупы в девяносто пятом, шестом, седьмом...

Он вывалился из левой дверцы за семнадцать сотых секунды до столкновения, в полном соответствии с инструкцией сгруппировался, покатился, потом проехал лицом, грудью, животом по всем сучьям и корягам в небольшом овраге, услышал удар, взрыв, увидел пламя, пополз, побежал, снова пополз, вдруг кусты вокруг загорелись, он понял, что вернулся к бетонке, рядом с которой горит подожженный танками лес, и побежал в обратную сторону.

За все время, что шел до поселка, он не встретил ни одного человека.

Весь разрисованный йодом, с перебинтованной грудью — похоже, что пару ребер сломал, — он лежал на нашей постели, бутылка «Двина», немедленно извлеченного Гришей из его тайников, стояла вместе со стаканом рядом на стуле.

— Неужели на этом все и кончено? — спросил Гарик, не обращаясь ни к кому в отдельности, негромко, будто сам у себя. Ни акцента, ни шоферских оборотов... Мы все были в этой же комнате, второй день нашего дачного отдыха шел к концу. Она только что покормила лежащего Гарика, мы с Гришей курили после обеда, помогая раненому одолевать коньяк. Все молчали, и в тишине стало слышно, что Гарик плачет.

Тогда заговорил, конечно, Гриша.

— Лучше б мама меня раздумала, — сказал он, — чем мне видеть, как плачет, извиняюсь, ангел. Между прочим, Гарик Мартиросович, я вам говорю, как сыну, пусть они все плачут, потому что я вам исделаю одну даже очень приличную вещь, еще ваши царпки не сойдут.

5

Третья ночь на даче медленно ползла к рассвету, третью ночь не было сна. Такое со мной время от времени бывает, я почти совсем не сплю по несколько суток подряд, это неизбежно связано с большой выпивкой по вечерам, часов в девять падаю, как мертвый, а к часу, к двум — сна ни в одном глазу, болит все, что может болеть, организм бунтует, в массовые беспорядки включаются печень, почки и кишечник, иногда, ближе к рассвету, происходит и несанкционированное выступление сердца, одновременно чувствую, что неизбежно обострится вечная, как еврейский вопрос, проблема — псориаз, и точно, утром, бреясь, обнаруживаю омерзительную рожу в красных шелушащихся пятнах, под глазами черно, зрелище в целом более всего похоже на результат неудавшейся реанимации. Что делать, супермен уже сильно подержанный, хотя еще на ходу, но дребезжит. При этом отдаю себе отчет, что, увы, никогда в молодости не жил так хорошо, так головокружительно, женщины не любили так безудержно и самозабвенно; дело не шло, деньги, хотя бы и небольшие, не подплывали и близко... Явление, известное имеющим

вкус к вещам: старые, хорошо относенные, идеально подходящие тряпки — только дошли до такого чудесного состояния, как тут же, на следующей неделе, и рвутся.

Внизу спал, тихо поскуливая во сне, изодраный и расстроенный Гарик. Наверху пустовала его комната, но там оказалось ужасно холодно, с вечера начался мелкий, хмурый и вполне уже осенний дождь, довести погоду до среднеатлантического стандарта им все же не удалось, через неплотно закрывающиеся окна и светящиеся щели в дощатых стенах несло сыростью, проникали ледяные, острые струи ветра. В комнате Гриши было гораздо теплее, и хозяин отсутствовал; часов в одиннадцать, уже под дождем, и не совсем твердо держась на ногах, — пили понемногу весь этот все равно пропащий день — он вышел со двора с весьма смутным заявлением: «Если Гриша сказал, что сделает хорошо, так пусть все гои сдохнут, а нам таки будет хорошо», — но в пустой комнате остался такой густой стариковский запах, смешанный с ароматом ружейного масла, исходящим от арсенала неугомонного воина, что остаться там не было никакой возможности. В конце концов, мы улеглись на старом диване, узком и с качающейся спинкой, на маленькой веранде, открыв дверцу печи, так что тесное, хотя окруженное только стеклами в мелких переплетах пространство быстро нагрелось.

Теперь, промаявшись несколько часов без сна, честно приложив все усилия, чтобы победить бессонницу, полежав, прижавшись к ее узкой и теплой под зимней пижамой спине, за-

рыв лицо в ее волосы, вдыхая их сухость и думая о приятном и однообразном, — я осторожно, чтобы не разбудить, отодвинулся, сполз с жалобно застонавших диванных пружин и вышел под дождь, как был, в длинных и широких черных трусах и майке с узкими бретелями и глубокими проймами, сунув ноги в расшнурованные ботинки. Что заставляло меня одного, в полной темноте, выглядеть как положено? Что-то заставляло...

Естественно, не было ни звезд, ни луны, из сплошной тучи все еще лило, так что я остановился под навесом крыльца, но и здесь закурить, в сырости и под ветром, удалось не с первой спички.

Я стоял, думал об идущей к концу жизни и этом странном ее завершении, но мысли сбивались, и, как всегда бессонной ночью, в голове теснилась всякая как бы глубоко философская ерунда, перемежающаяся отчаянными претензиями к судьбе.

Почему я не нашел ее раньше, думал я горестно и тут же представлял себе, как лицо мое искажается клоунской трагической гримасой, брови поднимаются домиком, морщины лезут на лоб, рот болезненно полуоскаливается; почему я прожил и доживаю жизнь не в этой, исходящей из каждой клеточки ее существа любви, а в безобразии, безумии и, по сути, в бесчувствии? Но тут же вспоминал, каким был в молодости, когда, допустим, мог встретить ее, — по одной улице ходили, и в том же кафе-мороженом, в котором она с одноклассницами ела из алюминиевых

кривоногих вазочек разноцветный пломбир под шоколадной стружкой, я выпивал иногда рюмку коньяку, — вспоминал свою тогдашнюю неустроенность, неприметность и ненужность в гигантском городе, вздорность характера и просто неумность, и понимал, что ничего и не могло быть, и надо благодарить Бога за то, что хотя бы теперь свел, дал мне убедиться, что выдуманное, замысленное едва ли не в детстве счастье бывает.

Когда-то, вспоминал я, в дурацких, смешных, юношески откровенных разговорах я описывал другим женщинам — доставались всегда другие — свой идеал: машинистка; фигура складненькая, но не манекенщица, упаси Бог; лицо хорошенькое, но не Софи Лорен, не надо; элегантная, но чтобы на улице не оборачивались; более интеллигентная, чем можно ожидать по ее положению, а не наоборот, что бывает, увы, чаще; хозяйка, но не помешанная на домашнем консервировании и чистоте; всегда готовая к постели и абсолютно свободная в ней, тогда можно простить даже мелкий грешок — обратную сторону темперамента... Женщины обижались: среди них не было машинисток; они были крупны, выносливы, сами добывали свой хлеб, старались не зависеть и не зависели от мужчин; некоторые были красивы, другие нет; одевались, как правило, плохо, без вкуса и понимания; многие — хотя бы и режиссерши, или редакторши, или коллеги — были простоваты, несмотря на все прочитанное; у одних дома была грязь и несъедобный завтрак, другие домывали пол до стерильности и готовили профессионально, но раз-

дражало и то, и другое; в любви одни были матерински скушны, другие холодно распущенны, но все хотели одного — вечной власти надо мною и редко бывали ласковы... Но вот теперь глупый тот идеал нашелся, вот он спит на веранде, живой, едва слышно посапывающий во сне идеал, что же ты сетуешь, старый дурень, что слишком поздно? Поздно было бы после смерти.

А кем же ты себя представляешь в мечтах, спрашивала очередная большая крашеная блондинка, снисходительная после часу моих честных и, вроде бы, увенчавшихся успехом трудов на сбившейся простыне. Я ложился на спину, закидывал руки за голову, прикрывшись до пояса, — всегда стеснялся младенческого вида израсходованности, — начинал бредить с открытыми в потолок глазами. Уверенный, сильный в профессии, удачливый в делах, никаких там богемных штучек, разве что легкий артистический налет, может, небольшой, но достаточно независимый начальник, вот я выхожу из машины, в хорошем, лучше двубортном, знаешь, в мелкую полоску, костюме, подаю ей... да нет, конечно же, тебе, ну, не дуйся, не обижайся, это просто фигура речи... подаю ей руку, она в легком и тонком платье, я люблю такие темно-синие платья в мелкий белый горошек, мы идем куда-нибудь обедать... Знаешь такое буржуазное правило: цена мужчины — это вид его женщины...

Все-таки у тебя удивительно пошлые для интеллигентного человека представления о жизни, говорила образованная подруга. Что делать, пожимал я плечами, я человек простой... После отдыха мы иногда возвращались к прерванному

беседой занятию, но уже можно было понять, если задуматься, что рано или поздно станем чужими.

Вот, пожалуйста, размышлял я, окоченев на сырости и ветру раздетым, но почему-то не возвращаясь в дом, а закуривая третью сигарету, все и сбылось, и даже с избытком, успех и приключения, будет подан к загородному дому лимузин, таинственные и преданные друзья будут рядом, *драй камераден*, милая женщина, умная и покорная, добрая и страстная, придуманная мною не то сорок, не то тридцать лет назад, выйдет, нарядная и оживленная, мы рванем по шоссе под свинг из автомобильного приемника, под Эллингтона или Бэйси, *жаль, что вас не будет с нами*, мы все одолеем, а если будут потери, то пусть судьба укажет на самого лучшего, а мы отомстим, и потом — *прощай, оружие*, домой, и все еще может быть, потому что пока мы живы и уже встретились...

Да, я предавал, корил я себя, докуривая и уже собираясь идти в дом, но и сам, как выяснялось впоследствии, нередко бывал предан и оскорбительно обманут, я бывал бессовестным и, мучаясь стыдом, продолжал бесстыдствовать, подчинялся мелочности и дряни и с наслаждением позволял себе быть дрянью, но теперь все будет по-другому, и не потому, что я стал другим, а просто она совсем другая. Такая, как должна была быть с самого начала, первая и последняя.

Подступало утро, на веранде было уже совсем светло, она спала лицом в подушку, только рыжая густая гривка была видна над высоко натянутым одеялом.

Я сел за стол, взял листок бумаги, на котором кто-то — может, Гриша? — складывал и вычитал столбиком довольно большие суммы, перевернул и нарисовал валявшимся здесь же шариковым карандашом такую картинку:



Слева — молодость, думал я, неустойчивое равновесие, можно скатиться куда угодно, в беду или удачу, в авантюру или скуку. Посередине — средние годы, когда все более или менее устоялось, и как бы ты ни раскачивался, как бы далеко ни отклонялся, скатишься в нижнюю, притягивающую точку, в стабильность. Равновесие устойчивое... Во всяком случае, эта схема вполне годится для моей жизни. А справа — старость, снова выкатился на бугор. Чуть двинулся в сторону из единственной точки покоя, и покатился, и уж не остановишься, в болезни и бедность, в бездомье, только более безнадежное, чем тогда, в начале, в душевные потрясения, но, может, и в счастье — тоже куда большее, чем могло быть или было в юности.

«Почему я так легко, охотно и много рассказываю о себе даже посторонним людям, — писал я зачем-то, мелко, почти неразборчиво, теснясь на листке, — откуда эта болтливость? Возможно, это желание остаться в чужом сознании, жажда бессмертия, подмена того, чего можно было бы достичь более серьезной работой...»

«Многие люди не могут приспособиться, сосуществовать с миром, — писал я, торопясь, пока все не проснулись, — особенно это касается людей с воображением, склонных к художественным занятиям. Для таких есть два пути: разрушать, пытаться менять мир — революционеры; разрушать, изживать из мира себя — алкоголики, наркоманы, самоубийцы... Мой выбор сделан раз и навсегда...»

«Мне кажется, у красивых людей всегда есть последнее утешение — зеркало, но, возможно, они этого не знают, — писал я, — хотя, вероятно, женщины пользуются».

«Всегда завидовал и ревновал к мужчинам, которым женщины охотно прощали слабость, нечистоплотность, порок. Какой-нибудь спившийся художничек, живущий на деньги подруг, а они в нем души не чают, считают гением... Теперь понял, что это принципиально противоречит моим старым идеалам, потому и не для меня. Между прочим, в одном из лучших романов о любви герой, художник и страдалец, спасаемый возлюбленной, слаб и не совсем понятно, за что, кроме гениальности, так любим. Настоящий же мужчина, обаятельный, мудрый, сильный, благородный и прочее — черт... Можно задуматься и над этим».

«Что я делал всю жизнь, почему так плохо кончались все мои увлечения и любви? Как джинн, выпущенный очередной дурочкой из бутылки, я мог лишь воздвигнуть замок в воздухе, наговорив ей кучу глупостей о ее красоте и иных достоинствах, и из простой благодарности испытывая уже через пять минут желание сказать:

«Выходи за меня замуж!» — воздвигнуть замок и тут же его разрушить — стоило ей попробовать вселиться в это призрачное строение. Глупый и неумелый джинн из анекдота — могу воздвигнуть замок, могу его разрушить...»

«Она познакомила меня с чем-то странным, неведомым до того: любовь, не отнимающая свободу. Но может ли это быть? И даже если может, хочу ли я именно этого? Не хочу ли я сам полного поглощения, рабства, хотя, стоило кому-то попробовать взять надо мною власть, я начинал бешено сопротивляться, круша все и ломая».

«И вот все поменялось: раньше они докучали мне любовью, покушавшейся на меня целиком, теперь я надоедаю ей. «Лжец будет обманут, и у грабителя все отнимут...» Где-то я это читал...»

«Женщины пытались зацепить, чтобы пришел навсегда, я хотел покорить, чтобы всегда была готова прийти. И вот все изменилось, я не мог такого даже представить: она не хочет получить меня нераздельно и навеки, я хочу... Странно».

«Жадные и беспощадные мои ремесла, — пересмешничество, передразнивание, фантазии и выдумки, изображение и имитация, притворство, — они пожирают жизнь, они питаются живыми чувствами, отношениями, людьми и выплевывают мертвую бумагу, картон и холсты, светящуюся и звучащую пленку. Может, потому не совсем живой и я сам».

«Пройдет время, и из еще крепкого сравнительно мужика, способного к полноценной жизни, я превращусь в потертого старичка, буду донашиваться жизнью. Не хочу».

«Вероятно, посторонний наблюдатель мог бы мне начать объяснять, что я ее придумал, что она обычная, пусть довольно симпатичная женщина, охотно закрутившая роман с видным и значительным мужиком, только и всего, ни на минуту даже не задумывающаяся о том, чтобы расстаться со своей другой жизнью, с мирной семьей, с обожающим и немного свысока все прощающим мужем, рисковать отношениями с дочерью-подругой... Возможно, это так и есть. Но увидеть это не могу, что и доказывает — люблю. Банально до изумления, а что делать?»

«Мне всегда нравились женщины, пользующиеся успехом у наших начальников — поленькие, «все при них», светленькие, с разворотцем в прозрачных глазах. И я им нравился — может, по контрасту с их ухажерами, властными, уверенными, туповатыми, кем бы они ни были, хоть академиками... И вот впервые не это привычное сочетание, а мое истинное, то, чего хотелось от рождения, назначенное природой, «родная, а не двоюродная», как сказала однажды умнейшая моя тетка. «Жена должна быть родная, а не двоюродная». Почему же этой, первой родной, досталось все не лучшее — силы и страсть на исходе, риск неведомо ради чего, воздержание, необходимое «ради дела»? Да и дело, похоже, может сорваться. Возможно, не стоит и пробовать? Сам же твержу — не хочу менять мир...»

«После любви больно разлепляться, разделяться и больно притрагиваться, прикасаться к коже. Вероятно, это как предвестие, тень настоящей боли — от расставания и новой встречи.

Так же как вспышка, потеря сознания на вершине любви — это как бы отражение в маленьком ручном зеркальце надвигающейся последней вспышки, конца».

Я писал уже вдоль листка, и на обороте, рядом с Гришиными подсчетами, и плакал едва ли не в голос. Утро настало пасмурное, ночной дождь не кончался, в доме все спали. Гарик перестал стонать, лицо его разгладилось, царапины подсохли, и даже старое увечье — шрам, перекошенная, стянутая бровь и подглазье — было почти незаметно, дышал он легко и без хрипа. Она перевернулась на другой бок, теперь я мог видеть ее лицо, чуть скуластое, разгоревшееся то ли от какого-нибудь сна перед пробуждением, то ли от тепла — поверх одеяла я прикрыл ее толстым пледом.

Стараясь не скрипеть ступенями и для того становясь на них у самого края, у перил, я поднялся в Гришину комнату. Листок с записями оставил на столе внизу. В духоте заставленного и заваленного всяким барахлом логова огляделся. Оружие было разложено на чистой тряпке, на полу, в дальнем от двери углу. Я взял свой маленький «вальтер», так пренебрежительно охаянный стариком. Выдвинул обойму, тупое пулевое рыльце верхнего патрона равнодушно глянуло на меня. Я загнал магазин на место, передернул затвор, отвел вверх, открыв красную точку, предохранитель.

Твердый, чуть меньше сантиметра в диаметре, кружок сильно вдавился в кожу на виске, так что я почувствовал, как приподнялись, став

как бы дыбом, короткие волосы над ухом. Все будет нормально, подумал я, закрывая глаза, Гарик отвезет на чем-нибудь ее домой, он уже в порядке, потом найдется и Гриша, они ей помогут, постепенно она успокоится, будет жить, как раньше, ссадина от всего этого, конечно, останется, будет ныть, но это терпимо... Не мое это дело — влиять на историю, а иначе теперь уже не отвертеться, подумал я. Если б было реально дожить вместе, можно было бы попробовать, а городить весь этот огород, чтобы сразу в случае удачи расстаться... Смысла нет.

Я положил на спуск последнюю фалангу указательного, как учат все наставления по стрельбе. Страшно, спросил я себя, ну, страшно тебе? Да, вроде, не очень... Все.

— Таки видно, что никакой вы не аид, а настоящий крещеный гой, — сказал Гриша. Он стоял передо мною, глядел снизу вверх с полнейшим презрением. — Хотя даже для гоя вы идиот и паскудник, и от вас отказались бы, тьфу, ваши попы. Вы просто мелкий поц, вы гицель, которого ленивая мама мало била по жопе, теперь она бы имела удовольствие видеть такого говна, бедная женщина. Дайте сюда эту штуку, чтоб я ее в вас не видел, и посмотрите уже у окно, там есть для вас немножко трэфного счастья...

— Перестаньте на меня орать, Гриша, — сказал я, хотя он совсем не орал, скорее шипел, брызгая мне в лицо слюной.

Я подошел к окну.

Внизу, на улице перед нашей калиткой, стояла потрясающая машина. Это был огромный черный фэтон с поднятым верхом желтой кожи, с

запасным колесом, укрепленным слева у длиннейшего капота, с широкими крыльями, тяжелый и прекрасный.

— Между прочим, — сообщил сзади Гриша, — на этом «паккарде» я от сук позорных, от гепеу, уехал. На дороге Москва-Симферополь ушел от них, и они меня так видели, как я видел Бога. Сейчас помню, тридцать восьмой год. Резина как новая, Гарик проснется и будет себе довольный, еще скажет спасибо старому Грише.

Я повернулся к нему и, обняв меня, едва доставая до плеча, он сказал тихо, куда-то мне в живот: «По отношению к нам, Миша, это была бы подлость, по отношению к ней — жестокость, а по отношению к себе самому — глупость. Всем иногда хочется...»

6

Отдавая последние силы, солнце разогнало тучи, зажгло всеми оттенками рыжины леса, за одну дождливую ночь ставшие осенними, подсветило металлически синее небо.

На шоссе было пусто, ранним утром в воскресенье никто никуда не спешил, «паккард» с опущенным верхом рвался вперед, ветер и сдержанный рык мотора отделяли нас от мира вокруг прочнее, чем любые крыша и стены. Она плотно повязалась длинным розовым шарфом, голова ее стала как бы коконом, волос не было видно, и от этого лицо казалось еще моложе, почти детским — и одновременно четким, точно и остро прорисованным. Белый костюм тонкой шерсти, с

почти мужским пиджаком и очень широкими брюками, на темно-красной коже сиденья сверкал, будто от него шел собственный, мерцающий в воздушном потоке свет. Она прикрыла глаза, потому что ветер выбивал из них слезы, и почти незаметно улыбалась — словно во сне, хотя рука ее все время двигалась, пальцы при-трагивались то к моей ладони, то к запястью, почти не касаясь, скользили выше, под манжет рубашки, острые ногти чуть царапали кожу... Мои ангелы сидели впереди. Гарик почему-то оделся как летчик времен первой мировой, в кожаную куртку на меху, с большим воротником, перчатки с крагами, тонкий кожаный шлем, огромные очки, белый шарф был перекинут через плечо и горизонтально летел, выдуваемый иногда за борт машины. Гриша был в клетчатой английской кепке, в длиннейшем светлом пыльнике, давно погасшую огромную сигару жевал, перекидывая из угла в угол рта. Не сговариваясь, мы все сегодня поменяли цвета и стиль, словно замаскировавшись — я надел тяжелые альпийские ботинки, высокие носки с узором в ромб, брюки-гольф из толстого коричневого твида, из него же сильно приталенный пиджак с огромными карманами и большую кепку с наушниками. Желтые кожаные перчатки лежали рядом на сиденье, трость с ручкой, раскладывающейся в походный стульчик, и острым наконечником — на полу. Тридцатые, Швейцария, какой-нибудь одуревший от скуки международный скиталец, без особого интереса прислушивающийся к рассказам о том, что вытворяет этот комический человек в Германии...

Гриша обернулся, прокричал сквозь ветер: «И можете говорить что угодно, но я вам дам теперь уже действительно вещь, хватит играть в детские игрушки! Передайте мой баул, Миша, будьте такой добрый...» Я подал ему брезентовый, с медной оправой докторский баул, стоявший между сиденьями. Порывшись в нем, Гриша вытащил, роздал нам — мне, Гарику — и сунул себе в карман одинаковые пистолеты, «кольты» одиннадцатого года, величайшее оружие века. «А барышне можно обойтись, — проорал он, — я ж вижу, что ей это противно брать в руку, так не надо, у вас есть другие удовольствия, правильно я говорю?»

...Понемногу нас обступили окраины. Мы остановились, Гарик поднял верх — все равно попозже, когда на улицах появится больше машин и прохожих, мы начнем привлекать внимание, но в открытой машине будет совсем невозможно двигаться... Мимо уже летели грязные кварталы гетто, по тротуарам на роликовых досках носились смуглые дети в ярком тряпье, из открытых окон доносилась кавказская и азиатская музыка, нарядные семьи шли на прогулку: мужчина в хорошем костюме и, нередко, в чалме, женщины в национальных платьях — две, три, иногда и четыре, некоторые с закрытыми лицами, усмиренные бесчисленные дети. На углах, возле кофеен, стояли парни, все как один в зеленых военных куртках, пестрых кефайях, закрывающих поллица, в джинсах и дорогих кроссовках, они обязательно свистели вслед машине,

один швырнул бутылкой от «кумыс-колы», но не попал.

Между тем мы, почти не снижая скорости, вырвались на широкий проспект, по сторонам которого замелькали вздымающиеся в небо шикарные, великолепно реставрированные многоквартирные дома. В этом районе любили селиться богатыестряпчие, присяжные поверенные с шикарной практикой, знаменитые врачи — из тех, кто предпочитал модный уже много лет стиль «сталиник эмпайр» и городское вечное оживление «дворянским гнездам» и покою пригородов. На тротуарах здесь было пусто, только уборщики в красных комбинезонах и фесках думской коммунальной службы помахивали метлами да дворник-гард в длинном бронефартуке и с револьвером в низко свисающей с ремня кобуре появлялся то из одного, то из другого подъезда, а по краю мостовой, громко цокая подковами и высекая искры из случайного камешка, ехал патруль — трое всадников в низких и круглых каракулевых шапках, в бриджах с голубыми лампасами, с нагайками, укрепленными в специальных гнездах седел. На голубых чепраках, покрывающих до половины крупы одинаковых, темно-гнедых лошадей, было вышито серебром: «Отдельный корпус народной жандармерии. Хамовническая часть».

Машин становилось все больше, мы уже ехали в сплошном потоке, скорость пришлось снизить — над каждым перекрестком висел знак-ограничитель: «Не больше 30 верст в час. Машины нарушителей уничтожаются на месте». У каждого светофора приходилось подолгу сто-

ять, хотя поперечного движения почти не было, красный горел минут по пять, при этом водители и пассажиры стоящих рядом машин давали себе волю — пялились на наше чудо, переговаривались между собой, доброжелательно нам подмигивали, показывали большой палец — мол, классная шутка, ребята, весело придумали, шикарная игра. Один парень быстро опустил стекло и высунулся из своих «жигулей — гран-туризмо» почти по пояс — это был явный северянин, скорей всего с Чукотки, плосколицый и узкоглазый, с плоскими черными волосами, стянутыми на затылке в хвост, весь в костяных и металлических амулетах, в красной майке с надписью «Нарофоминская консерватория театра и литературы».

— Эй, славяне, — заорал нарофоминский студент, — что рекламируете? Муви про банду Берии? Классная машина! Даю за нее свою жестянку, и ребята в консе еще будут вас месяц поить «бадаевским пильзнером»!

Тут светофор переключился, и малый быстро отстал, только в широком паккардовском зеркале еще долго видна была его машущая вслед рука.

Перед въездом на старый мост была, конечно, пробка. Мы закрыли все окна, в машине сразу стало невыносимо душно, да еще Гриша немедленно раскурил свою сигару... Она по-настоящему задремала, положив голову на мое плечо. Гарик обернулся, долго смотрел на нас, вздыхая несколько по-бабьи. Очки он поднял на лоб, кривое его, изуродованное лицо жалобно сморщилось.

— Если начнется стрельба, — сказал он тихо, — нам придется туго. Их жандармы и околоточные нажимают спуск без сомнений... Оставили б девочку дома...

— Вы же знаете, Гарик, — так же тихо ответил я, — без нее операция невозможна, это условие. Неужели вы думаете, что я потащил бы ее с собой, если б мог не брать...

— Ай, спуски-шмуски, — раздраженно перебил Гриша, — что вы устраиваете разговор из-за этих маминых поцов?! Гарик, я вам хочу рассказать, как мне говорил этот гоише тохес, Тайваньчик, мы сидели с ним на брайтонском променаде на стульчиках, вот как с вами сидим, и он мне сказал: «Никакая оружия, Григорий Исаакович, не дает силу, силу дает злость, и если вы злой с ножиком, так вы и делайте их всех вместе со всеми их фэбээрами, компьютерами и «береттами» в подмышках». Что он был сволочь и хазер, так был, но что он разбирался в том, об чем говорил, так это тоже правда. А у кого сейчас больше злость, у нас на их прокисшую кашу или у всей это мешпухи на нас, с которых они смеются и получают удовольствие?

Очередь машин начала двигаться, мы уже въехали на мост, перевалили через его середину и увидели наконец, из-за чего образовался затор.

Перед старым, с потемневшей, некогда белой облицовкой правительственным зданием, занимающая часть моста, стояли демонстранты.

Их было человек полтора. Это были в ос-

новном прекрасно, дорого и со вкусом одетые люди средних лет, с интеллигентными и умными лицами, женщин было заметно больше. В общем их расположении, в позах и атмосфере, окружавшей толпу, более всего чувствовались непримиримость, ожесточение, неприятие всего и всех, находящихся за пределами их сплоченного, закрытого круга.

Над демонстрацией трепетали и выгибались под ветром узкие и длинные полотнища лозунгов.

«Будь проклято счастье на крови!» — было написано на одном из них.

«Не забудем, не простим» — на другом.

«Здесь были убиты десятки тысяч. Мы отмстим за кровавый октябрь!» — на третьем.

«Позор власти, кастрировавшей народ!»

«Справедливость для всех и немедленно!»

«Армии — официальное существование, России — славу!»

«Хватит убийств! Наши сыновья не должны умирать за нефть!»

«Россия — Европа! Вон азиатов из Кремля!»

«Убийцу-президента на виселицу!»

«Долой искусственную историю! Русские, боритесь за истинно народный календарь!»

— Странные люди, — сказал Гриша. Он, не отрываясь, глядел на протестантов, на ощупь сунул сигару в пепельницу. — Странные люди... Вид приличный, а некоторые лозунги расистские и просто людоедские...

— А, что ты говоришь, а? — Гарик хлопнул обеими руками по баранке. — Слушай, поживите

здесь, как они, да? Понюхайте сами, чем здесь пахнет, может, не будете так говорить... Или мы едем, чтобы оказать поддержку здешней власти? Или, может, я чего-то не понял, слушай? Правильно все написано, я считаю...

Машина медленно двигалась в потоке, объезжающем демонстрацию, мы уже почти миновали узкое место, когда со стороны центра, в проезде между старинным небоскребом из стекла и новым конторским зданием этажей в восемьдесят, показались всадники. Они приближались на рысях, уже было видно, что это конные жандармы в боевом снаряжении — лошади в противогазах и пуленепробиваемых пополах, верховые в легких латах, шлемах с зеркальными забралами, с ручными гранатометами у седел и нагайками в занесенных руках. Толпа бросилась в разные стороны, топчя транспаранты и флаги, часть побежала на набережную, по которой навстречу им уже скакал другой кавалерийский отряд, в папахах и с шашками — видимо, казаки; другие повалили на мост, пробираясь между встречными машинами, но жандармы пускали лошадей в те же промежутки, настигали бегущих, и нагайки, рассекая воздух, опускались на плечи в дорогих пиджаках и пальто, на женские прически и мужские лысины, по лицам полилась кровь, яркая и прозрачная под холодным осенним солнцем.

Двое поравнялись с нашей машиной. В то же мгновение она распахнула дверцу со своей стороны, сжалась на сиденьи, поджала ноги, чтобы освободить место, и молча стала втаскивать спасающихся. Перегнувшись, я помогал ей, Гриша

сдвинулся на широком переднем диване к Гаррику — о, великие, классические американские машины, слава вам! — и втянул человека на свое место. «Двери, закрывайте двери, все!» — крикнул Гарик, одновременно втискивая автомобиль в открывшееся на секунду пространство между перилами моста и замешкавшейся шестидверной белой «чайкой-континентал», объезжая по тротуару вставшую на дыбы в автомобильной тесноте полицейскую лошадь. С треском опустилась плеть на нашу крышу, но толстая кожа выдержала, а Гарик уже съезжал с моста, резко выворачивая руль вправо, и, быстро набирая скорость, мчался по набережной навстречу негустому, к счастью, движению, сворачивая налево, в поднимающиеся к Кольцу переулки...

— Кто вы, товарищи? — женщина, втиснувшаяся на наше сиденье, с изумлением оглядывалась в машине. Это была средних лет голубоглазая блондинка с грубоватыми чертами лица, плотная, одетая чересчур нарядно для демонстрации — куртка из тонкой шведской кожи, такая же юбка, бант в волосах. — Кто вы и откуда? Спасибо, вы спасли нас от этих убийц, но вы рискуете. Вам известно, что с сегодняшнего дня демонстрации и любое участие в протестах запрещены?

Мужчина, поместившийся на полу между передним и задним сиденьями, молча смотрел на нас снизу. Его толстый черный свитер на плече был разодран, одно стекло в старомодных очках пошло трещинами, из угла рта на подбородок вытекла струйкой кровь. Женщина, вдернутая Гришей через переднюю дверь, обернулась, и

меня поразило ее лицо. Очень молодая, очень красивая, восточного типа брюнетка, она переводила черные, как бы без зрачков глаза с меня на Гришу, потом посмотрела на нее, на ее белый наряд — и во взгляде ее отразилась ненависть, а рот искривился отвращением.

— В маскарадных костюмах, — хрипло сказала она, — в музейной колымаге... Развлекаетесь, господа? Какие они нам «товарищи», — бросила она подруге, — настоящие буржуйские шуты, а-ар-р-тисты...

Я примерно представлял себе ситуацию и уже понял, какую компанию мы себе нашли. Кроме того, я понял, что и сегодняшней день для дела пропал, центр теперь оцепят, и операцию придется опять переносить.

— Будет действительно правильной, если вы станете обращаться к нам «господа», — заговорил Гриша, и я, как всегда, удивился непредсказуемости его переходов от местечкового говора к изысканным речам. — Кроме того, — он слегка поклонился в сторону своей соседки, — мы рассчитываем получить, хотя бы в ответ на наш рискованный жест, некоторую помощь с вашей стороны. В частности, если у кого-нибудь из вас есть такая возможность, окажите гостеприимство нам и нашей машине до тех пор, когда в городе все успокоится и мы сможем его покинуть. Конечно, мы могли бы сейчас вас высадить и сами искать выход из положения, но это не лучшая перспектива для всех нас — вы выглядите явно участвовавшими в конфликте, наш же автомобиль весьма приметен и, возможно, его уже разыскивают дорожная полиция и жандармы...

Гарик проехал в высокую арку и остановился в большом и пустом дворе, часть которого занимала поднятая над землей плоская, огражденная низкой балюстрадой крыша старинного бомбоубежища. Со всех сторон во двор смотрели сотни окон огромного дома, состоящего из многих секций, соединенных арками. Это был один из величайших памятников «гранд эпок», безукоризненно реставрированный и ставший фешенебельным жильем для модных артистов, художников, популярных музыкантов, зарабатывающих бешеные деньги, телевизионных звезд и просто богатых людей, имеющих богемные вкусы. На заасфальтированной крыше бомбоубежища несколько человек прогуливались с собаками, посередине стояли деревья в кадках и белые металлические стулья, как во французском парке, на одном из них, далеко перед собой вытянув ноги, дремал с газетой пожилой джентльмен в мягкой шляпе с опущенными полями и длинном песочном пальто, на других расположились молодые дамы, рядом стояли коляски и копошились дети.

Мужчина, сидевший в машине на полу, шевельнулся, кашлянул, голос у него был глуховатый, чуть надтреснутый, говорил он с характерными интонациями, как говорили многие мужчины московского художественного круга моего поколения и старше.

— Что же, вы правы... Однако с «паккардом» вашим будут трудности... Да и сами вы костюмированы... странно. Беглая киногруппа, а ребята? Но вам везет, вам везет, ваш драйвер приехал сюда, будто знал или чувствовал... Давай-

те-ка по кругу, вокруг, вокруг этого памятника холодной войны... или столетней, теперь все равно, все равно... По кругу, едем по кругу...

Мы медленно двинулись по периметру многоугольного двора, вокруг повторяющего его форму бомбоубежища. За третьим или четвертым поворотом странные слова нашего спасенного объяснились. В невысокой каменной стене убежища обнаружили широкие металлические ворота, выкрашенные темно-зеленой тусклой краской. Мужчина попросил Гарика остановиться и, с большим трудом разогнувшись, выполз из машины, мы оставались на местах, ожидая дальнейшего. Человек в рваном свитере подошел к воротам, имевшим такой вид, будто их не открывали по крайней мере со дня торжественного уничтожения последней бомбы, порылся в карманах, вынул связку ключей, долго выбирал один... Наверху, над нами, кричали дети, не умолкая ни на секунду, звучали веселые женские голоса... С усилием, но на удивление беззвучно, — значит, направляющие ролики регулярно смазываются, — мужчина сдвинул в сторону сначала одну створку ворот, потом другую и повернулся к нам лицом, жестом инструктора на посадочной полосе приглашая Гарика следовать за ним, в открывшийся темный проем. Теперь, когда он стоял на темном фоне и словно в раме, я хорошо рассмотрел его внешность. Седые волосы были подстрижены ежиком, лицо, несколько оплывшее, но с довольно правильными чертами, из-за брыльев казалось почти квадратным, и с ним хорошо сочетались очки в тяжелой темной прямоугольной оправе. Глаз за оч-

ками почти не было видно, тем более что одно стекло было в густой сетке трещин, но угадывался взгляд, уклончивый и пристальный одновременно.

Мы въехали в ворота, человек быстро и сновисто их задвинул, и мы оказались в темноте абсолютной. Гарик включил фары, в их мощном прожекторном свете появился наш хозяин, и, вылезая из машины, хлопая дверцами, разминая ноги, мы сначала не заметили перемены в его виде.

Первым опомнился Гриша.

— Так делают лохов, — сказал он. — Смотрите здесь, нас исделали, как последних лохов.

В свете фар перед нами стоял человек, держа на весу тяжелый немецкий пулемет «MG», и ратруб ствола медленно двигался слева направо. Прогремела короткая очередь, зазвенели стекла — и тут же черноволосая красавица отделилась от нашей группы и стала рядом с мужчиной. Из-под широкой клетчатой рубахи навывпуск она вытащила длинноствольный револьвер, кажется, «рюгер», немыслимо огромный и страшный в ее руках.

7

...Совершенно уже ничего не понимая, я сдирал с нее одежду, не представляя, чем это кончится, зачем я это делаю, для чего подвергаю этой пытке ее и себя. Соски ее, большие и твердые, ускользали из руки, густые волосы, заходящие далеко назад, пружинили и выпрямлялись

под ладонью, она уже начала стонать, палец мой нашел наконец влажное и горячее, погрузился, поймал ритм... Стоны ее становились все громче, я повернул к себе ее лицо и попытался зажать ее рот своим, но она дернулась, почти оттолкнув меня, изогнулась, процарапала тонкими и острыми, как коготки птенца, ногтями по моей еще двигавшейся руке — и обмякла, чуть отодвинувшись.

Мы лежали на широком матрасе в комнате первого этажа, снова шумел ночной ливень, снова наверху кряхтел и гремел пружинами кроватной сетки Гриша, и Гарик, было слышно, время от времени вставал, тяжело треща половицами, ходил по своей комнате, был слышен звенящий щелчок зажигалки — не спалось и ему.

— Знаешь, я все-таки не могу их понять, — сказала она через несколько минут, когда и я уже почти успокоился, лег на спину, закинул руки за голову, под затылок, и она примостилась щекой где-то между моей грудью и животом, положила, закинула на меня маленькую и легкую ногу, глядя подошвой мои ступни. — Я не могу понять этого маниакального в них, этого стремления мстить за что-то даже во вред себе, этого чувства обиженности, ущемленности...

— Бешеные они, а не сумасшедшие, — сказал я, потянулся, стараясь не беспокоить ее, взял сигарету, закурил, отогнал дым, поплывший светлым облачком в редеющей темноте в сторону ее лица. — Бешеные собаки. И размышлять об их психологии — все равно что размышлять о природе водобоязни, когда на тебя бежит бешеный пес, приближается морда в липкой, свисаю-

щей желтыми нитями слюне, чувствуется гнилое дыхание. Надо было сразу стрелять, а мы беседовали. Они же ведь были готовы убить нас всех. Если б не Гриша с Гариком... Хотя я согласен с тобой: сейчас и мне кажется, что это не идеология, а физиология...

Гриша и Гарик выстрелили одновременно, в то же мгновение и я поднял свой пистолет, левой рукой сильно толкнув ее, свалив на потрескавшиеся керамические плитки пола и падая сверху. Мои хранители планомерно опорожняли свои обоймы, в результате чего уже через несколько секунд все продолжалось в полной тьме, под сыплющимися сверху осколками ламп, только вспыхивала где-то в углу голубая дуга короткого замыкания. В ее вспышках возникали и исчезали как бы застывшие картинки, стоп-кадры из какого-то древнего боевика с перестрелкой в чикагском гараже.

Вот летит, почти горизонтально, Гарик...

Вот он уже лежит на сбитом с ног мужчине, а пулемет скользит, скользит по плиткам пола в сторону...

Вот катится по полу Гриша, падает, словно подрубленная под колени, красавица и взлетает вверх из ее руки револьвер...

Мужчина лежит вниз лицом, Гарик стягивает за спиной его локти своим шарфом...

Красавица сидит на полу, утирая кровь, текущую по лицу от ссадины на скуле, а Гриша возится в углу, возле рубильника...

Когда загорелись две случайно уцелевшие

лампочки, первое, что я увидел, были светлые глаза женщины в замшевом костюме, полные безнадежной ненависти.

— Идите к ним, — сказал я, поведя пистолетом в сторону усмирённых, — идите к своим друзьям...

— Будьте вы прокляты, — прошептала женщина, — будьте вы прокляты, вечные победители, супермены, шлюхи, — женщина посмотрела на нее, — ничтожества...

— Миша, дайте даме поджопник, — гулко крикнул Гриша, — чтобы она не выступала, а уже вела себя! И давайте поговорим с этими миссугинер о дальнейшей жизни.

— ...Это не Россия, это не русские, и только в одном проявляется наша национальная традиция: в строительстве царства скуки мы дошли до края. Как всегда, мы переняли западные идеи поздно и довели их до абсурда тогда, когда весь европейский и американский мир уже был ими сыт по горло и начал жить по-новому, драматическая история, история, полная трагедий, катастроф, конфликтов, раскручивает там новый виток, а наша ожиревшая, дряхлая власть держит русское общество в болоте тупого, сытого обывательства. Это — преступление перед народом, перед отечественной историей, и мне было бы стыдно, если бы я приняла уничтожение человеческой души молча.

Светловолосая женщина перевела дух, чтобы продолжить, глаза ее сияли, грубое и немолодое лицо сейчас казалось молодым и очень привлекательным.

Мы сидели вокруг старого, колченогого стола, его белая пластиковая столешница была исцарапана, в одном месте на ней проступало глубоко вырезанное краткое ругательство. Семь полусломанных стульев, с металлическими, как и стол, ножками, с фанерными сиденьями в ободранной голубой краске, стояли неровным кругом. Мужчина слушал молча, разминая недавно развязанные руки. Восточная красавица смотрела с презрением, несколько раз пыталась перебить, потом застыла, брезгливо искривив губы. Гриша сидел далеко от стола, покачиваясь на задних ножках хлипкого стула, держа на коленях руку с тяжелым пистолетом, дымил сигарой. Гарик пистолет положил на стол перед собой, смотрел на блондинку, не отводя ни на секунду глаз. Мы сидели рядом, я обнял любимую за плечи левой рукой, правую, с пистолетом, перевесил через спинку стула — держать в дискуссии оружие на виду мне казалось неудобным.

Заговорил Гриша.

— Мадам, я извиняюсь у вас, — и старый еврей скорчил любезную, видимо, по его мнению, рожу, — и у ваших поделщиков, но это полное фуфло, дорогая мадам, весь этот ваш народ, извиняюсь, и эта ваша скучание, весь ваш базар. Что вы мне, пожилому человеку, будете говорить народ-шмарод? Народ хочет кушать и очень довольный, что кушать есть. Или вы будете ему рассказывать про жизнь и что он дурнее вас? Вот ваши русские сидят, — Гриша ткнул стволом в сторону мужчины и девушки, — так это просто хазейрим, по-русскому урки, а не на-

род. Или если я аид, а Гарик Мартиросович из армяшек, так мы уже не русские? Вы же интеллигентная дама, что вы гоните такую парашу, что людям стыдно слушать... Между прочим, очень приличный костюмчик на вас, а что было бы вам надеть, если бы не было в магазинах что купить?

— Жид... — прошипела красивая девушка и, плюнув на пол у своих ног, выпрямилась и с улыбкой посмотрела Грише в лицо.

— Вот видите, — закончил Гриша тихо и без малейшего акцента, — видите, сударыня, с кем вы оказались в одной компании. Неловко... Потом стыдно будет.

— Вы удивительно сильны в демагогии для такого темного человека, каким прикидываетесь, — мужчина, поправив очки, внимательно и остро посмотрел на Гришу, потом перевел взгляд на Гарика, на нее, на меня...

— Странные вы, господа... Не понимаю вашего маскарада, но, судя по всему, люди вы любопытные, занятные, не быдло... И при этом, очевидно, хорошо подготовленные для борьбы, может, даже для какой-нибудь специальной операции. Почему же вы не с нами? Неужели вас, — он обратился прямо ко мне, — и вашу прелестную подругу привлекает эта жизнь, животное потребление, унылая буржуазная мораль, тоскливая система запретов и разрешений, вегетарианская культура, гибель настоящего искусства, жестокое подавление и истребление, даже из сознания, величайшей человеческой идеи — идеи революции? Мне кажется, что вы, — он снова обратился прямо ко мне, — имеете какое-то отно-

шение к искусству. Следовательно, вы не можете принимать этот мир, эту свиную кормушку, не можете не любить революцию, как художественный акт! Этот мир несовместим с нами, с художниками, артистами, музыкантами, писателями, с теми, у кого есть воображение и совесть, он вытесняет нас на края и так и называет — маргиналы. Но за нами есть наша сила, мы можем поднять людей против этого проклятого порядка и сами, наиболее сознательные и заинтересованные в разрушении этой мерзости борцы, можем пойти первыми на прекрасную гибель!

Треснутые очки съехали на кончик носа, и стало видно, что глаза его — желтые, маленькие и совсем без ресниц, звериные, с ускользящим выражением. Гарик кашлянул, повернулся ко мне.

— Товарищ, конечно, горячится, да, — сказал он, — но надо же ответить, он же в чем-то прав, а? В наставлении по идеологической борьбе и дискуссиям без оружия, раздел «Дискуссии культурные, споры пьяные, сцены семейные, драки до крови и другое» сказано...

Я услышал, как она тихонько засмеялась, покосился — испуганно глянув на меня снизу вверх, она зажала рот рукой, сделала еще более круглые, чем обычно, глаза и скорчила, отняв руку, одну из своих детских гримас. Я подумал, что никакие идеи, никакие попытки изменить или спасти мир не стоят того, чтобы грустила эта маленькая женщина, полная живой жизни, легкая и веселая, почти всегда пританцовывающая, — утром она возилась на кухне, из моего приемника приглушенно вопил незабвенный

Чаби Чеккер, она не видела, что я наблюдаю за ней, и вся ходила ходуном, стоя у плиты, вся ее игрушечная фигурка двигалась, как бы отрываясь от пола, тонко вибрируя, приподнимаясь, — чтобы она испытывала страх, и никакая моя любовь не искупает ее даже быстро проходящих страданий.

— Что ж, вы правы во всем, что касается понимания вашего и, если угодно, нашего положения, — сказал я. Мужчина усмехнулся. — О достоинствах и недостатках буржуазной цивилизации я с вами спорить не буду, скажу только, что никакой другой свободы, никакой другой демократии, никакой другой человеческой жизни, кроме буржуазной, не существует. Все попытки найти нечто другое, лучшее, кончались людоедской тиранией, истреблением людей, и в любом случае утверждались унижительная нищета одних и развращающая, убогая власть других. Если вам борьба за это кажется увлекательным и романтическим занятием, это ваша психологическая проблема. А что касается экзистенциальной тоски и маргинальности художника, — тут Гарик задавленно кашлянул, а Гриша радостно захохотал, — то в этом я, повторяю, абсолютно согласен, только считаю, что для таких, как мы, есть два пути. Вы хотите разрушить неприемлемый для вас мир, а я выбираю саморазрушение, и для этого есть много способов. Можно без оглядки и без остатка погрузиться в страсть, — я крепче обнял ее за плечи, и она прижалась ко мне, — можно нырнуть в это, — я положил пистолет на пол рядом с ногой и, достав из заднего кармана высокую плоскую фляжку, крепко глот-

нул и пустил ее по кругу, и выпили все, — можно придумать еще многое, чтобы примирить себя с жизнью. Вы хотите развлекаться, ну и развлекайтесь. А большинство людей предпочитают сытую скуку — ну и оставьте их в покое. В моей последней из предсмертных записок я написал об этом...

Блондинка смотрела на меня с сочувствием.

— Какой примитивный вздор, — сказала она тихо, — какой вздор несете вы оба... Где же место душе в ваших бессердечных рассуждениях? Вы словно мертвые...

— И последнее, — продолжал я. — Вы правильно поняли, что нам не нравится нынешняя ситуация в нашей стране, она была моей, и ее, и их, — я двинул плечом в сторону Гриши и Гарика, — гораздо раньше, чем вы стали считать ее своей, — повернулся я к восточной сумрачной красавице. — Мы действительно хотели бы, чтобы она изменилась, но не собираемся устраивать революцию. Есть другие, достойные приличных людей, способы... Потому нам и хочется здесь кое-что изменить, что страна движется именно в нужную вам сторону, их идеи всеобщего усреднения, сдерживания сильных и лести слабым, подавления всякого мужественного, агрессивного начала покончат с цивилизацией, лишат общество сил, и тогда-то, увы, и придет ваше время... Мы постараемся этого не допустить. Мы...

В следующие пять секунд последовательность событий, мне показалось, нарушилась. Например, сначала раздался выстрел, эхо загремело в уходящем в темную глубину плоском подземелье, и только потом я увидел, как смуглая

красавица бросилась к моим ногам, схватила пистолет, перекатилась на спину, ствол спрятался в густых темных волосах, и прекрасное лицо исчезло, взорвалось, и кровь забрызгала мои брюки. Лишь тогда я услышал ее крик — будьте прокляты все, крикнула она, будьте прокляты все.

Я прижимал любимую к груди, рукой, плечом, грудью закрывая ее, не давая ей увидеть смерть... Гриша навалился на мужчину, закручивая его руки за спинку стула... Светловолосая женщина легла щекой на стол, глаза ее закатились... Гарик уже стоял у машины...

Гриша запер ворота. Гарик усадил ее в машину, прикрыл Гришиным пыльником, — ее трясло, — держал фляжку у ее рта, было видно, как она глотает. Откройте, Григорий Исаакович, сказал я. Мы рискуем, Миша, сказал он, но тут же отпер и помог мне немного раздвинуть ворота. Я вошел в подвал и вывел оттуда волочащую ноги, ставшую почти старухой женщину. Светлые волосы и кокетливый замшевый наряд выглядели нелепо. Она неспособна донести, сказал я Грише, она не гадина, она несчастна. Вы правы, Миша, согласился он, мы довезем ее, куда она скажет, если она в состоянии сказать... Они обе плакали, и плакал я, и тряслись плечи вцепившегося в баранку Гарика, и Гриша глядел неотрывно в окно, и время от времени тер глаза тыльной стороной руки с зажатым в ней «кольтом». Темная, без фар машина неслась по пустому городу, черные силуэты банковских небо-

скребов Зарядья-сити, маленькие дворцы и садовые решетки фешенебельной Калужской улетали назад, свистел ветер на обстроенном отелями Варшавском тракте... Мы высадили женщину недалеко от Первого Большого Кольца, где-то в глубине Нового Царицына, у подъезда богатой резиденции в стиле поздне-имперского аскетизма. На прощанье моя любимая поцеловала ее... Теперь мы мчались по Большому Кольцу, низко заходил на посадку — казалось, над самой дорогой — огромный самолет, мигали близко в небе красные и голубые огни...

— ...Я знаю, знаю, — шептала она, и в свете яркой после дождя луны, проникавшем на веранду, я видел слезы, стоявшие в ее глазах, — я знаю, что это наказание мне, весь этот ужас, я всегда как бы подозревала, что такое бывает, но не со мной, понимаешь?

— Понимаю, — отвечал я и гладил, гладил ее волосы, прижимал ее к себе, пытаюсь обхватить всю, спрятать, укрыть, — понимаю, но, поверь, тебя не за что наказывать, просто ты попала в негодование, негодование выплеснулось, ты ни в чем не виновата, как не виноват человек, попавший в пожар, встретивший волков на лесной дороге...

— Нет, это все рассуждения, — шептала она, и слезы, лунные ночные слезы ползли по ее лицу, и уже плечо мое было мокрым от этих горьких слез, — я соглашаюсь с тобой умом, но чувствую, чувствую свою вину, я предала, я изменила, и это наказание, ты помнишь, что сказал тот человек со страшными глазами? Это

только начало, эта кровь на вас, вы будете по горло в крови, которой вы так боитесь, сказал он, никуда вы не денетесь от крови, только я готов пролить кровь, а вы захлебнетесь в ней, дрожа от страха и стыда... Он был прав, мне страшно и стыдно, хоть бы что-нибудь сейчас случилось со мной, и кончилось бы это наказание, и ты был бы свободен от меня для твоих забот, для таких важных для тебя дел, наказана я, а страдают все, устала, ничего не хочу.

— Перестань, девочка, мой бедный ребенок, перестань, не казни себя, — повторял я, чувствуя все, что чувствовала сейчас она, понимая ее так, как никогда не понимал ни одного человека, ощущая, как прямо в моих руках она разрушается, как проклятая жизнь ломает, уничтожает это любимое, такое слабое рядом с моим телом, эту единственную нераздельно соединившуюся с моею душой, — перестань, любимая, ты ни в чем не виновата, только общий человеческий грех на тебе, и не казнь это твоя, а еще одно зверство этой подлой жизни, зло не в тебе, оно внешнее тебе...

— Это наказание, — шептала она все тише, — это наказание, я точно знаю, — и я с ужасом думал, что мне не удастся ее удержать, она ускользнет от меня в это отчаяние и погибнет, тихо растворится в нем, и ничего не будет нужно, и пусть все идет, как идет...

Когда она затихла, и судя по дыханию, задремала, я услышал, как стукнула калитка и на крыльцо ступил кто-то крупный, шагающий тяжело.

Боже, подумал я, теперь, похоже, каждую ночь мы будем сидеть здесь, эта бесконечная бессонница нашей странной семьи никогда не прервется, мы будем говорить и говорить, и все уйдет в разговоры, мы ничего не сделаем, но и ничего не проясним в нашей жизни, тем все и завершится.

Компания наша была неизменна, но нынешней полночью все выглядело необыкновенно официально. Все мужчины — и Гриша, и Гарик, и я — были в смокингах, только Гарик позволил себе такую вольность, как черная шелковая рубашка с распахнутым воротом, под которым видна была тонкая серебряная цепочка с крестом-распятием, а Гриша был в белой бабочке, как жених или дирижер. Она была в вечернем платье из темно-золотых кружев, с открытыми плечами и голой до поясицы спиной, и в туфлях из парчи, которые тут же, сев ближе к жарко дышащей печке, сбросила, поджала под себя, на кресло, ступни в кремовых чулках.

Гость же был во фраке, пластрон выпукло выгнулся, когда он сел, бросив трость, цилиндр и черную на белом шелке длинную пелерину в угол дивана.

Он был высок, усы, огромные и пушистые, смыкались с бакенбардами, черные кудри густо падали на лоб и спускались на плечи и спину — больше же почти ничего нельзя было различить в его лице, потому что не рассматривать его хотелось, а отвести взгляд. При всем этом, как я заметил, гость курил папиросы «Казбек», посту-

кивая перед прикуриванием каждую о крышку с джигитом и горой и чиркая спичкой из коробка с аэропланом и экспортной надписью «Safety Matches».

— ...Вероятно, вы, — он адресовался непосредственно ко мне, — узнали меня либо по описанию вашей матушки, либо по собственному, простите меня задним числом, неприятному воспоминанию. Хотя тогда, помнится, я был в летнем флотском мундире... Как бы то ни было, вы, несомненно, уже поняли, кто я и, возможно, догадываетесь, какова моя роль в вашей жизни...

Я молча, чуть приподнявшись, поклонился. Он закончил:

— ...и кем я прихожусь нашим общим друзьям.

На этих его словах Гриша и Гарик встали и вытянулись, как положено офицерам без головных уборов в присутствии старшего. Пришелец раздавил папиросу в плоской вазе, служившей нам пепельницей, взял свой бокал с почти неотпитым и уже выдыхающимся брютом, глотнул... Мой приемник пел, естественно, мужественным саксофоном Маллигана, прыгал и метался газовый огонь за приоткрытой дверцей печки, и я вдруг, ни с того ни сего, пришел в чудесное состояние счастья, уверенности, что все будет хорошо, что жизнь продолжится радостью, успехом, что она будет любить меня, и я буду ее любить, и другие люди не станут мешать нам, примирятся с нашей удачей, в долгой дороге пустое шоссе будет бросаться под колеса, путь продлится, мы грустно обнимемся, и ощущение бесконечного начала обманет и утешит нас, опьяне-

ние не отпустит, синий газовый огонек бездумного наслаждения, сгорающая минута обнимут и понесут, мы соединимся, не погубив никого, и так завершим дорогу, и в конце концов все искупится прекрасным финалом. Долго и счастливо не бывает, но возможно — в один день.

— Итак, я пришел, чтобы еще раз объяснить вам, ради чего была вся затея, — сказал он. — Все минувшее лето я пытался предупредить вас, я хотел, чтобы грядущие хлопоты и страсти не оказались для вас неожиданными, чтобы вы отдавали себе отчет в том, на что идете. Вас, мой друг, предупреждали: будьте осторожны и сдержанны, не заводите новых знакомств, не рискуйте, потому что каждому назначен час, и ваш наступил. Знаете ли, так бывает несколько раз в жизни: в раннем отрочестве, на исходе молодости, в вершине зрелых лет, на пороге старости... Более или менее безболезненно вы миновали почти все. Даже, сказал бы я, удачно: за каждым перевалом дорога становилась все шире, все больше приобретений ожидало от поворота к повороту, да и потери становились приобретениями, благо так уж вы устроены. Но последний срок всегда самый опасный, потому я и приложил столько усилий, чтобы остеречь вас. Я посылал вам письма и передавал через знакомых нам обоим дам на словах, я просил моих друзей и помощников, — он развел руки, указывая на Гришу и Гарика, — сделать, что возможно. Увы... Ведь и сами же знали последствия, справедливо однажды заметив, что знание последствий и есть старость, не придали, тем не менее, значения тому, что знали — и вот, будьте

любезны, результат. Женщина, которую любите, как ни одну прежде — куда ж вы ее влечете, в какие беды, что ее ждет? Бедность, ваши болезни, бессилие и безнадежность, а ведь она не сможет бросить вас, не такова... Миссия, которая вам не по силам, которую вы, скорее всего, не исполните, но намучаетесь сами, измучаете друзей и любимую, смутите ложными надеждами многие человеческие души. Ну, надо ли вам было все ломать тогда, в июле, бросаться в новые связи и отношения, собирать всех любящих вас женщин, испытывать терпение ваших хранителей, да и мое, заставляя нас тяжело трудиться, находя вам спасение в таких историях, в которых вам и оказываться — то никак не следовало. Что, мало вам было родиться, на кирку не сесть, от спирта не задохнуться? Мало, что ли, вы уж извините, возился я с вами, и для чего? Единственно для того, чтобы не прежде времени, а именно в назначенную минуту явиться за вами, призвать, как у нас говорится, трубным гласом и, так сказать, огненным мечом указывая путь... Ну-с, и так далее. Что же вы-то себе позволяете? Пьете до полусмерти, в любую дамскую историю бросаетесь, голову очертя, ни себя не бережете, ни других не щадите. Итог: женщину прелестную тянете в авантюру, у самого печень в клочья и сердечная одышка, ангелы мои с пистолетами забегались, как какие-нибудь придурки-полицейские из плохого боевика, да и я сам оперетту тут с вами разыгрываю, того гляди за такие штучки не то что очередного звания не присвоят, а и вообще чина архангельского лишат...

В полном противоречии с вполне культурной

своей речью, лишь к концу сбившейся на старшинское рывканье, он плюнул на пол и растер подошвой лакированной бальной туфли.

Все тяжело молчали. Конечно, была в его словах и немалая правда, и потому мне стало действительно стыдно и перед ним, и перед смущенными — вероятно, оттого, что весь разговор происходил в их присутствии, что со стороны шефа было бестактно — моими ребятами, и перед нею, уже, как обычно, начавшей было дремать в тепле, но к середине гневной речи гостя проснувшейся... Она-то неожиданно и ответила обличителю, с этого ответа и начался конец всего плохого.

— Каждый сам выбирает свою жизнь, — сказала она и, сделав большую паузу, прикрыла глаза, опустила веки, придав лицу скорбное, безнадежное выражение, как всегда, когда съезжала на свою болезненно-любимую тему, о фатальности наказания. — Сам выбирает и расплачивается... Но с тем, что вы говорите, я не согласна, никак не согласна. Вы предупреждали его, он и сам, вы правы, знал о последствиях, но зачем же вы в таком случае — ведь вы же? или есть кто-то старше вас? не думаю — зачем вы все это затеяли? Зачем вывели его из дома, дали чужое имя, чужой паспорт, привели ко мне, зачем создан он таким, какой есть? Вы испытываете его, я понимаю... Но, извините, мне кажется, что это совсем бесчеловечно, жестоко и — она положила руку на мою ладонь, слегка поцарапала ее ноготками, болезненно и грустно улыбнулась мне — и даже неблагородно. Извините, пожалуйста... Вы же знаете его, знали, что он обя-

зательно вяжется в эту историю. Время от времени я задумываюсь об этом — и не могу, никак не могу понять, почему именно с ним и со мною случилось такое. Почему мы любим, полюбили друг друга так сразу, почему нам так необходимо спасти этот вполне счастливый мир от счастливого идиотизма, ведь люди, которые здесь живут, совсем не нуждаются в том, чтобы им открывали глаза... Все могло бы быть по-другому, идти, как шло. Я бы оставалась тихой домашней хозяйкой, он продолжал бы свою беспутную, но, в общем, безопасную, обычную жизнь стареющего бабника, вы трое, или сколько вас, я не знаю, присматривали бы за ним, раз уж вам положено о нем заботиться. Но ведь сами же подтолкнули на риск, свели с любовью, а теперь отчитываете. Не могу понять вашей логики, чем больше думаю, тем хуже, просто крыша едет, извините... И вот только сейчас начинаю, кажется, что-то понимать. Вы говорите о какой-то сдержанности, последовательности, а поступаете так же, как и мы — сплошные противоречия, так же мучаетесь, ищете выход, загоняете сами себя в угол. Вам так же невыносима жизнь без событий, как и нам, в вас слишком много, мне кажется, человеческого, и поэтому вы спускаетесь в наш мир, вы ругаете его, воюете, страдаете... Потому же и мы хотим изменить здешних людей, разучившихся страдать. Я поняла: мы делаем одно и то же, и все это — наше общее испытание, и, мне кажется, я догадалась, зачем вы его отчитывали. Чтобы проверить, не откажется ли он от миссии, от жизни? Поверьте мне, за эти пять дней я узнала его лучше, чем, может, вы за

всю жизнь, потому что было еще... были еще пять ночей... Он не откажется, как бы ему ни было тяжело, страшно, противно, что угодно. Он всегда хочет красиво выглядеть, и потому не предаст, не бросит меня, вас, их. Он, быть может, слабый, трусливый, несчастный — но живой. Иначе вы не были бы с ним, правда?

Она замолчала, и, нашарив и надев туфли, обошла мой стул, встала сзади, положив руки мне на плечи, и я потерялся отросшей к вечеру щетиной о тыльную сторону ее правой ладони.

И все молчали. Каждый занялся каким-нибудь как бы необходимым делом. Гриша, например, вытаскивал из-под своего кресла и ставил на стол одну за другой бутылки — французское шампанское, греческий коньяк, шведскую водку, скотч, бурбон, настойку «Стрелецкая» воронежского разлива и «Портвейн розовый» Нижнетагильского ордена Ленина химкомбината. Гарик вынул из подмышечной кобуры любимый «ТТ», выдернул из нагрудного кармана шелковый платок, разложил на коленях и в одну минуту произвел неполную разборку, чистку и смазку оружия в полном соответствии с пособием «Уход за личным оружием в условиях вечеринок, дружеских бесед, выяснений смысла жизни и других». Гость же, и без того в своем фраке, усах, бакенбардах и кудрях похожий на фокусника, взял свою трость и начал ее задумчиво крутить — но так ловко, что черная с серебряным резным набалдашником трость вращалась, как пропеллер, образуя в воздухе прозрачный круг.

Тут же пришли и звери. Спрыгнула со шкафа

на стол, со стола на мои колени, свернулась и немедленно заснула кошка, и ее шерсть всех трех цветов, конечно же, сразу облепила мой черный наряд. Явилась и собака, и легла посередине комнаты на бок, вытянув в сторону лапы так, чтобы ее было невозможно обойти, и тоже сделала вид, что заснула, и даже вздохнула во сне.

— М-да... Умная девочка... — наконец проговорил негромко ночной визитер. — Умная и хорошая девочка, да еще и красавица. Вам повезло. Всегда вам везет, за это иногда и расплачиваетесь. Впрочем, что мне в вас нравится — вы не отказываетесь платить... Однако я отвлекся, вычитывая вам нотации, на что мне справедливо и указала милая дама, а цель-то моего посещения я назвал в самом начале: напомнить вам о сути, смысле всей экспедиции. Собственно, это уже сделано, и сделала это, опять же, наша очаровательная подруга. Вы должны научить живущих здесь и сейчас страдать, показать им ужас и муки, окружающие их, которых они и сами не хотят видеть, да от них и скрывают. План остается прежним — вы вторгаетесь в компьютер ЦУОМ...

— Простите, — перебил я его, — есть несколько вопросов, и мне бы хотелось, чтобы вы ответили именно на них. План в целом ясен. Но я не понимаю, для чего в деле должна участвовать она? Слабая женщина, к тому же постоянно мучающаяся сомнениями, по любому поводу обвиняющая себя во всех грехах, неуверенная... Она тоскует по семье, я же вижу это, любит и меня, и своих близких... Зачем она появилась здесь?

— Вы не умеете слушать, — господин во фраке недовольно поморщился, — ну, да что поделаешь... Отвечу коротко: без нее вы не сможете ничего сделать, понимаете, ничего вообще. Вы, надеюсь, исполняете приказ о воздержании?

— Ну... в большей или меньшей степени... — ответил я, чувствуя, как дрогнула и вцепилась в мое плечо ее рука.

— Это необходимо соблюдать неукоснительно, — сказал господин строго, — и на конечном этапе вы, — он обратился к Грише, — должны будете объяснить, почему, и дать последние указания...

— Или! — ответил Гриша не по уставу, и через секунду гость наверняка пожалел, что включил старика в беседу. — Или! Можно подумать, что Гриша не помнит своих забот, чтоб вы так помнили об Грише, как он помнит! И я вам скажу как пожилой человек, эти мальчик и девочка так влюблены друг в дружку, что их ничему не надо будет учить, я вам уверяю. Мне даже неудобно вам учить, вы же умный человек, но я вам скажу, что вы говорите глупости. Когда уже дойдет до дела, так эти двое справятся без нас с вами, и тот сраный, извиняюсь у дамы, компьютер будет как миленький делать наше с вами дело. И об Грише не беспокойтесь, я еще никого не подвел, и вас не подведу, и присмотрю за молодыми, если не забуду, конечно, потому что в жизни все бывает... и я вам должен предупредить, что здесь таки стреляют, и кто будет отвечать, если, не дай Бог, что-нибудь? Один пожилой аид и один армянчик — это, по-вашему, ди-

визия? Гриша стреляй, Гриша не стреляй, Гриша иди туда-сюда, а у мне только две руки, между прочим!

— Не паясничайте, рабби, — сказал гость хмуρο, — лучше налейте-ка...

Гриша немедленно открыл бутылку поддельного польского «наполеона» и, по своему обыкновению, налил полную чайную чашку, которую гость, все так же хмурясь, выпил одним глотком. Между тем, Гарик откашлялся, сунул под мышку собранный пистолет и заговорил в свою очередь.

— Фары побиты, зажигание надо делать, как ездить, а? У меня все категории, я с шестнадцати лет за рулем, а у них здесь только девяносто шестым заправляют, так, а «паккард» серьезная машина, ему на девяносто шестом ездить, как нам ситро пить, да? И фары побиты. «Устав автомобильной, тракторной, бульдозерно-велосипедной и иной службы» что говорит? Он говорит так ездить?

— Надоело, — рывкнул тут ффрачный господин, — я, что ли, жестянку вашу ремонтировать буду! Фары заменить, зажигание отрегулировать, а бензин надо было свой брать, в канистрах... Как дети.

Гриша и Гарик смотрели в стол. Господин же мило улыбнулся ей, подмигнул мне, будто и не он только что орал на подчиненных, и поднялся, взяв цилиндр и накидку.

— Что ж, пора, — произнес он и, широко распахнув дверь, ступил на крыльцо, остановился в проеме, оглянулся...

Солнце уже вставало, ночью, возможно, были

первые заморозки, поэтому воздух стал прозрачен, и яркий свет восхода пронизывал его, и фигура уходящего была окружена этим светом.

— Мой вам совет, — он посмотрел на нее, перевел взгляд на меня, — не думайте о логике, о причинах и целях, о следствиях и путях. Вот мы просидели ночь, беседовали, пили, несколько красивых живых существ, в тепле и уюте... Зачем же искать объяснения этой прелестной картине, для чего нагружать ее смыслом и значением? Да, кстати: что это, господа, вы все в черном, нам так не подобает...

С этими словами он вывернул свою пелерину белой подкладкой наружу, укрылся ею весь и шагнул с крыльца в солнечный свет, и лакированная трость в его руке под этим светом за сверкала, вспыхнула оранжевым огнем.

9

Все затянулось до такой степени, что казалось — никакой другой жизни не было и не будет, так и останемся мы нашей странной компанией на этой призрачной даче, четверо костюмированных голливудских статистов из третьеразрядного боевика не то о «стреляющих двадцатых», не то о «свингующих сороковых». Вечно будет чистить свой музей оружия и нести чушь с комическим акцентом Гриша, вечно будет бесшумно бродить по комнатам или прогревать перед гаражом мотор очередного рыдвана сумрачный Гарик, каждую ночь будем мы с нею изводить друг друга неудовлетворимым желани-

ем, а днем будем все колесить по веселому, богатому, чистому городу, дрожа от страха, проезжать мимо доброжелательно подмигивающих полицейских, бродить среди спокойных, приятных людей, вовсе не жаждущих, чтобы мы их наконец спасли от неведения, совсем не мечтающих познать добро и зло — им вполне хватало добра...

С утра уборщики в желтых комбинезонах уносили в черных пластиковых мешках уже начавшие темнеть под ночными холодами и дождями разноцветные листья с лужаек, газонов и широких светло-серых плиточных тротуаров. По аллеям Бережковской, Смоленской и Пресненской набережных, мимо бесконечных рядов припаркованных колесами на обочину машин с мокро блестящими крышами бежали джоггеры в высоких кроссовках на толстенных подошвах, в расписанных рекламами «Колы-квась» и «Мавзолей клуба» фужайках, в городошных кепках, повернутых козырьками назад. На перекрестке уже обосновывались шестеро длинноволосых, в невероятном цветном тряпье, разворачивали плакаты «Секс вдвоем — это агрессия! Прекратите войны в постели сейчас!» и «Обладание другим человеком — отвратительное насилие! Онанисты, будьте гордыми!» Это начали очередную демонстрацию сторонники равных прав для моносексуалистов, борющиеся за выставление своего кандидата на очередных президентских выборах. Тут же на столике была разложена выходящая в излюбленном моносексуалистами Лужанском околотке радикально-левая и авангар-

дно-культурная газетка «Дрочила ньюс». Редкие в этом районе даже днем, а утром тем более, прохожие, смотрели на протестантов без малейшего интереса, как на пустое место — всем было известно, что никакого секса это активное меньшинство давно уже не практикует, как и все остальные, собственно, а просто пытается привлечь внимание к своим произведениям и идеям. Моносексуалисты были в основном художниками, музыкантами и поэтами социалистических взглядов.

На Арбате клубилась международная толпа, окружавшая то одного, то другого интернационального же артиста. Толстый до изумления африканец огромным, самостоятельно живущим брюхом рвал цепи и валил на землю желающих. Узкоглазый оркестр домбристов в войлочных островерхих шапках играл нечто народное, слегка ритмизированное, вокруг приплясывали под чрезвычайно модную в этом сезоне среднеазиатскую музыку молодые люди в коже, в металле, в джинсах, в широких и толстых клетчатых рубашках. На урне застыл, изображая манекен, японец, загримированный и одетый Лениным из популярной комедии «Маленький большой мужчина», только что прошедшей по всем экранам и сделавшей небывалую кассу.

Мы в который уже раз ехали к Страстной площади все с той же целью. Сегодня Гарик сидел за рулем бежевой «победы», чуть отросшие черные усики были тонко подбриты, черный набриолиненный кок отливал вороненой сталью. Гриша рядом с ним выглядел необыкновенно солидно в зеленой велюровой шляпе, в толстом, с

сильно наваченными плечами пальто из коричневого ратина, с изжеванной и погасшей папирсой в углу рта. Она была в маленькой шляпке, полумесяцем охватывающей прическу из коротких кудряшек, чернубурка мягко и свободно лежала на плечах осеннего жакета колокольчиком из голубовато-серого бостона. Я надел, как всегда, любимый габардиновый макинтош, усы же подбрил и подстриг короткой щеточкой, по-английски. В результате вся компания выглядела возвращающейся с бегов или из кафе «Националь», тем более, что в довершение сильные запахи коньяка «КВВК», бутылку которого Гриша разлил на всех перед выездом, и отличных, из того еще «Арагви», сациви, лобио и жареного сулугуни, которые он выставил для закуски, наполняли машину. Гарик включил приемник, и голос Александровича прелестно смешался с ароматами кавказской трапезы и немного пыльных ковровых дорожек, которыми были прикрыты сиденья. Вернись в Сорренто, предлагал певец, и мне так захотелось вернуться в этот, гори он огнем, Сорренто, и остаться там с нею навсегда, как, собственно, и в любом месте с нею, пусть будет Сорренто, и забыть все, никогда не видеть и не слышать никого, с кем прожил всю жизнь до встречи с нею, жить себе и жить в Сорренто, сколько там осталось, зарабатывая на кусок хлеба, предположим, пением этой самой песни, причем по-русски, для добрых туристов...

На Триумфальной площади, у памятника Маяковскому, тоже митинговали моносексуалисты — или «пацаны», как они сами себя называ-

ют. Но здесь же был и второй митинг, гей-националистической партии. Митинги страстно ссорились между собой, в открытые окна машины доносились вопли: «Педрилы вонючие! Не примазывайтесь к национальной идее! Русский человек должен сам себя любить!» «Онанисты! Дрочилы! Недоделки! Руки-то не устают?» При этом «голубые» поднимали огромное знамя соответствующего цвета, но с двуглавым орлом — правда, головы смотрели не в разные стороны, а друг на друга и с выражением нежности. Кроме знамени над небольшой их толпой возвышался также портрет необыкновенно красивого юноши с выпуклыми, как бы фарфоровыми глазами и со множеством сережек в ушах — одного из классиков движения, активно писавшего в конце минувшего тысячелетия скандального публициста. В свою очередь, сторонники полной самостоятельности и сексуального суверенитета личности поднимали над головами тоненькие, карманного формата книжечки — полное собрание сочинений автора, жившего примерно в одно время с фарфоровоглазым, но воспевавшего одиночество в автобиографическом труде, рассказывавшем, как именно он любил сам себя.

Гарик тут был вынужден затормозить, пробираясь среди добродушных зевак, рассматривающих из-за желтых лент полицейской линии забавных чудаков. Я заметил, что чуть в стороне проходит еще одна демонстрация. Ее участником был единственный человек, средних лет мужчина в классическом костюме и безукоризненной белой рубашке со строгим галстуком. Он держал небольшой плакатик такого содержания:

«Прекратить сегрегацию белых гетеросексуальных мужчин! Мы тоже человеческие существа!» Как раз когда наша машина проезжала мимо, к упрямому реакционеру подошел полицейский и начал строго проверять документы — видимо, разрешение на манифестацию. Тем временем два враждующих митинга начали переходить к рукопашному, правда, вялому выяснению отношений, но полицейский даже не обернулся...

Мы свернули на Тверскую. По тротуарам шла публика, которую всегда можно увидеть на этой самой шикарной улице мира. Здесь были прекрасные молодые семьи, с тремя-четырьмя детьми, с легкими колясками или рюкзаками для переноски младенцев, одетые просто, небрежно, но очень дорого — в джинсах «веревсадник», в красно-белых спортивных куртках и фужайках «спартак чемпион», в прогулочных туфлях «скороход супер», стоящих, как приличное брильянтовое кольцо... Спешили на ранний коктейль пары средних лет — он в обязательном смокинге, она в норковой шубе со специально неокрашенными ромбиками на левом плече и правом рукаве, подтверждающими для «зеленых», что мех, упаси Боже, не натуральный... Высаживались из наемных шестидверных лимузинов «чайка де люкс» гуляки в блейзерах, с пестрыми фулярами под распахнутыми воротами рубашек, с ослепительными двухметровыми скандинавками, цветоподобными филиппинками и элегантными, как сам лимузин, нигерийками — всех их на выбор предлагала лучшая международная фирма эскорт-сервиса «Тургенев герлс инк.»... На углу Благовещенского переулка

ка играл прекрасный, высокопрофессиональный дуэт: высокий, тонкий, пританцовывающий темнокожий балалаечник и грузный, немолодой, с седой косицей, с простоватым лицом волжанина саксофонист. Они играли старинные песни и как раз перешли от «Русского поля» к «Yesterday». Монеты непрерывно падали в пластиковый стаканчик, стоявший перед музыкантами на асфальте... Из маленького, но знаменитого на весь мир бара за углом вышел популярнейший артист, только что сыгравший главную роль в фильме — сенсации года — «Любовник президента», огляделся по сторонам, как бы поправляя платочек в нагрудном кармане, но, не встретив ни одного узнающего взгляда, оскорбленно прыгнул в открытую «оку специал спорт» и унесся в сторону Бронных...

Мы поравнялись со знаменитым магазином электроники «Поповъ», когда на мостовую ступил полицейский, поднял ладонью к нам руку в белой перчатке и улыбнулся — мол, извините, ребята, не моя воля, я бы вас пропустил, но... Гарик прижался к тротуару и выключил зажигание. Позади нас, сколько можно было видеть, до самой Александровской площади и дальше уже стояла бесконечная плотная лента машин, хлопали дверцы, люди выходили и, оживленно переговариваясь продолжали путь пешком.

— Делают, что хотят, — сказал Гриша. — Вот это мое айдыше счастье, если мне надо по делу, так у них народное гулянье...

Мы тоже вылезли из машины и двинулись к площади пешком.

— Офицер, что-нибудь случилось? — поинтересовался я, проходя мимо полицейского.

— Случилось, приятель, конечно, случилось, — радостно откликнулся двухметровый малый с детским лицом, поднося руку в белой перчатке к лакированному козырьку. — Случилась хорошая погода, а в хорошую погоду мы советуем людям пройтись... Хорошо смотрите, ребята! Классный маскарад, и машина, и вообще... Прямо со съемок? Или будете что-нибудь показывать на площади?

— Будем показывать, — она улыбнулась так, что, сложившись пополам, чтобы лучше видеть ее сияющее лицо, полицейский даже чуть отшатнулся, как от вспышки. — Освободитесь, приходите посмотреть, хорошо? Я буду рада... — Она сделала паузу, за которую сердце бедного парня успело подпрыгнуть и остановиться в его глазах, и закончила: — ...и мои друзья тоже.

Интересно, подумал я, почему она так легко заговаривает с первым встречным и так упорно молчит со мной, и просит меня не говорить, ей кажется, что я говорю слишком много, пытаюсь все поместить в слова, и потому все порчу, искажаю, она же молчит, закрывает глаза, только прижимается тесно... Может быть, она меня и не любит, подумал я, но, безусловно, относится по-другому, чем ко всем остальным, ко всему миру. Она кокетничает со всем миром, подумал я, что ж, вероятно, она достаточно болезненно пришла к этому способу выживания, единственно возможному для такого слабого по сравнению с миром существа. Жизнь, подумал я, научила ее ласково улыбаться, а не скалиться угрожающе, она побеждает, поддаваясь — и острая, горькая

ревность на секунду заполнила меня всего, пока полицейский, согнувшись в три погибели, отдавал ей честь, заглядывал в глаза и бормотал, что после дежурства, конечно, сударыня, я найду вас, это не проблема для нас в полиции — найти кого-нибудь...

На Страстной народу было полно, но не тесно. Посередине площади маршировал, непрерывно перестраиваясь, духовой оркестр, впереди, танцуя, подбрасывая и ловя оперенные жезлы, шли девушки, тамбур-мажор взметал свой гигантский, тяжелый, в эмблемах и колокольчиках тамбур, тамбур повисал в воздухе, а фокусник ловил его, сделав пируэт. От центра на движущейся платформе приближалась группа, застывшая в живой картине: они изображали самый известный эпизод истории страны. Седой человек с грубым лицом сидел за большим письменным столом и, свесив голову, спал, а вокруг стола стояли трое, один из них что-то говорил в трубку стоявшего перед седым телефона, другой, склонившись, подписывал какой-то документ, третий, обернувшись к зрителям, просто стоял — выпятив грудь и скрестив на ней руки, высокомерно вскинув голову. Все знали, что изображают артисты, тем не менее, на откинутом борту платформы, выкрашенной в национальные цвета, была крупная надпись: «Отстранение от власти. По картине академика Плясунова». Толпа заплодировала, группа медленно проплывала над нею.

— Атасно сделано, да? — Парень обращался к нам, обнимая за плечи девушку, оба восхищенно смотрели на артистов. Притиснутые к нам

толпой, они жаждали поделиться с ближайшими своим патриотическим чувством, своей любовью, молодостью, радостью от хорошей погоды... — А у вас тоже какой-нибудь приколы? Что будете показывать? Из «Банды Берии», я секу, нет?

Они все просто помешались на этом вполне посредственном триллере, на этом старом жаргоне, подумал я, и неопределенно, но, конечно, с улыбкой кивнул парню, отчего он уже окончательно расплылся, радостно и с восхищением замотал головой, взлетела его длинная косица и зазвенели две сережки в левом ухе. Девушка, чрезвычайно коротко стриженное и, видимо, бессловесное создание, прижалась к его плечу, пытаясь подняться на цыпочки и даже подпрыгнуть, чтобы лучше видеть удаляющуюся над толпой историческую картину.

...Они правили страной втроем меньше года, и сумели добиться того, что всегда и везде становилось началом процветания — они разрушили все до конца. Кошмар, творившийся даже в самые последние дни перед их приходом, когда седой человек уже не выходил из запоев больше, чем на неделю, когда стреляли по всей стране, когда начал исчезать хлеб, — этот кошмар казался покоем и процветанием. На пустом месте, на руинах появились такие авантюристы, по сравнению с которыми сам дьявол был младенцем. И началась новая история, и через каких-то пятьдесят лет установились мир, богатство, порядок, и уже казалось, что так было всегда. Осталась легенда о «Великом Отстранении от

Власти», уверенность, что возможна только такая жизнь, в которой ничего не происходит, и что так живут все, кто хочет жить нормально, весь мир, а те, кто живет иначе, сами выбрали свою судьбу и, значит, им не нужны мир, еда и спокойствие. Впрочем, где живут такие люди, как они живут и что думают о Республике России, самой богатой стране мира, никто особенно не интересовался...

— А чего, брателла, пошли в «Быстрые пельмени»? — Парень просто лопался от доброжелательности, от радости жить. — Я ставлю, серьезно! Пошли!..

Совершенно неожиданно инициативу решения взял Гарик.

— Спасибо, брат, за уважение, да? Только я ставлю. Слушай, я старше, значит, надо уважать... По инструкции «Случайные спецзнакомства...» — но тут Гришей был нанесен, видимо, достаточно ощутимый удар, потому что Гарик замолчал, изумленно воззрившись на старика и, абсолютно не заботясь о связности, закончил: —...посидим, поговорим, как люди, — и пошел впереди, легко раздвигая толпу, впрочем, охотно и старательно пропускавшую нас, улыбающуюся, подмигивавшую. Если люди пробираются в такой тесноте, значит, им нужно — в России уже давно извинялись перед толкнувшими и уступали дорогу спешащему.

Над восемьдесят четвертым этажом Центра Управления Общественным Мнением бежала горящая строка новостей. В Петербурге задержаны торговцы наркотиками, они ввезли в страну

несколько килограммов почти чистого холестерина... Кинозвезда и сверх-модель бросила вызов обществу, заявив, что безопасный секс отвратителен. Однако она признала, что никогда не пробовала какого-нибудь другого... «Нижегородские тигры» разгромили «Смоленских чудовищ» и теперь возглавляют таблицу национальной лиги лапты... Концерт величайшей группы «Дети Контрацепции» в лучшем зале города «Чайковский»... Наводнение в Канаде, голод в Чехии...

Стеклянный колпак над памятником, похожий на прозрачный карандаш, уже был подсвечен, его грани сверкали, в них отражалась толпа, сам памятник был почти не виден. Справа возвышался темный, гранитный, с маленькими окнами, длинный шестиэтажный фасад основного конкурента ЦУОМа — либеральных, радикально-консервативных, авангардно-реакционных «Ведомостей», издающих десятки газет, бюллетеней и журналов, общий тираж которых не поднимался выше тысячи-полутора. Напротив «Ведомостей» стоял нетронутый очень старый дом, казавшийся крошечным среди небоскребов, окружающих площадь. Но скульптура, установленная на его крыше, отчасти уравновешивала картину. Это была каменная девушка, стоящая на ротонде, — когда-то ее предшественницу сняли, но, восстанавливая старину, строители постарались, и новая девушка была впятеро больше старой.

А мы пробирались к четвертому углу площади, где горела, светилась изнутри прозрачная призма «Быстрых пельменей», над которой под-

нималось самое большое в городе конторское здание, получившее собственное имя в честь легендарного мэра: он разрешил строительство за самую большую из зафиксированных в истории взяток.

— Не знаю, не знаю, — сварливо бубнил Гриша за моей спиной, — если человеку не нравится хорошо жить, так пусть себе живет плохо... А если мне нравится, так оставьте пожилого человека у покое... Им надо знать правду, им надо? Так пусть знают, я не против, я все исделаю, как велели, они узнают эту паскудную правду. Но одно дело ее знать, а другое дело из-за нее здесь все погромить и головы друг другу пооткручивать... Что, я не прав, Миша?

— Вы правы, рэб Гриша, — сказал я, не обращиваясь, — хотя я не все понял. Но головы откручивать не надо, это точно.

10

— Этого не может быть. — Девочка отодвинула от себя пакет с фотографиями, поднесла к губам пластиковый стаканчик с «Колой-квась», но ее передернуло, и она поставила стаканчик на поднос. Гриша убрал фотографии в свой докторский баул. — Этого не может быть... У нас нет такой армии, мы ни с кем не воюем, пацифизм уже сто лет назад стал нашей официальной идеологией... Я учусь на историческом...

— Если идеология становится официальной, она становится ложью, — вздохнул Гарик и не сослался на инструкцию, не закончил фразу во-

просом, будто и не он. Шрам на его лице побелел и выделялся сейчас особенно четко, глаз с оттянутым веком смотрел грустно. — Я много раз видел эти фотографии, но только сейчас понял, что они значат. «Этого не может быть», но это есть, и вы уже не можете жить, как раньше, не можете забыть то, что вы увидели, и жизнь идет под откос, не хочется танцевать на площади, не хочется любить...

— Генук, Гарик, — сказал Гриша, — генук. Уже хватит пугать молодых людей. Жизнь их еще напугает так, не дай Бог, что у них, извиняюсь, будут мокрые штаны, и им будет неудобно смотреть один на другого, извиняюсь. Чтоб они мне были так живы, разве это они исделали то, что на карточках? Так почему они должны переживать? То есть, конечно, пусть себе переживают, пусть страдают и огорчаются за людей, но почему, спрашивается, они должны иметь неудобство за себя? Что они исделали плохое за свою маленькую жизнь? Любили себе друг дружку, учились в своих институтах, танцевали, обжимались потихоньку, тряслись и стеснялись полюбить как следовало... Так я вас спрашиваю, Гарик, в последний раз, зачем вы их учите быть виноватыми во всем этом говне, извиняюсь?

Девочка плакала, парень обнял ее за плечи и смотрел в сторону, повернувшись к нам прекрасным, молодым и твердым профилем, колечки в мочке его уха едва заметно дрожали, и едва заметно же ползала по лопаткам косица, и я понял, что он тоже плачет, только беззвучно и без слез.

Она заговорила тихо, замолчала, глянула на

меня, я все понял, достал из заднего кармана фляжку из зеленого стекла, обтянутую толстой кожей, отвинтил серебряную крышку-стаканчик, налил, протянул ей... Глотнув, и сморщившись, и переведа дух, она продолжала:

— ...Мы всегда спорим... всегда спорим с ним, — она положила руку на грудь мне, обычным своим нежным жестом, и сердце мое остановилось, сбилось, вернулось в ритм, сбилось снова, — спорим об этом... Виноваты мы или нет в несчастьях других людей? И почему мы мучаемся от этих несчастий? Плохо другим, а мучаемся мы... Разве мы святые или праведники? Почему невозможно быть счастливым, причиняя горе?.. Я думаю, что вы все согласитесь со мною: не от нас зависит, чувствовать или не чувствовать свою вину. Нам посылается это чувство, и если нам плохо оттого, что плохо другим — значит, это нам наказание за нашу вину перед другими. Простите... Может, я не должна говорить о таких серьезных вещах так уверенно, но я чувствую, что это так и есть, и ничего не могу с собою сделать...

— Вероятно, вы правы, — Гриша снова стал говорить нормально, и я вдруг понял, как надоели им двоим, ему и Гарику, идиотский маскарад и шутовская речь, весь выданный им в эту командировку камуфляж. — Скорее всего, вы правы, да и не мне сомневаться в вашей правоте, у всех нас здесь одно дело. Но позвольте мне, прилагая, естественно, все усилия, чтобы успешно завершить нашу миссию, все же сохранять свои рефлексии. Вы убедительны, вы логичны и, что самое главное, вы неотразимо со-

вестливы в своем моральном обосновании нашей цели. Однако позвольте вам напомнить, милый вы человек, что давеча в нашей очередной ночной дискуссии вы говорили нечто совсем иное. Вы стояли за то, что следует любыми способами облегчать жизнь людей, их страдания, которых всегда предостаточно и без дополнительного, подробного знания о страданиях ближних, что ложь во спасение извинительна, что поведение, дающее счастье или хотя бы покой, — благо. Вы, помнится, с поразившей меня откровенностью даже привели пример из собственной личной жизни, и я не мог с вами не согласиться: рассказать бесконечно любящему вас человеку об измене было бы жестоко и бесчеловечно, устоять же перед соблазном было невозможно, поскольку любовь и даже просто страсть сильнее земных существ... Я согласился — адюльтер ужасен, но адюльтер плюс признание убийственны вдвойне. Отчего же мы стремимся обрушить еще более страшную правду на головы всех живущих в этой стране мирных, скучных, но неплохих в сущности людей? Вот что меня мучает все эти дни и ночи, когда наш путь к близкой уже цели все прерывается и прерывается, мы как-то странно вязнем уже у самого финала. Может, с пугающей догадкой спрашиваю я себя, пославший нас и не хочет, чтобы мы открыли людям правду, может, все дело только в нас, точнее, в вас, поскольку мы с Гарриком Мартиросовичем просто на службе — а вас испытывают? Вы терзаетесь, спорите о смысле и оправданности задания, но, тем не менее, преодолевая и терпя все, стремитесь его выполнить — и не мо-

жете. Возможно, в этом и заключен весь смысл? Увы, я не посвящен...

Когда он умолк, глаза всей компании были на мокром месте, женщины плакали откровенно, суровые мужчины старались не смотреть друг на друга. Может быть, причина была и в том, что к этому времени полулитровая моя фляжка, заправленная самым крепким из скотчей, пятидесятисемиградусным «Aberlour», дважды обошла круг и опустела. Впрочем, никто не обращал на нас внимания. В «Быстрых пельменях» народу было немного, толпа за стеклянными стенами тоже понемногу редела, в ней оставалось все больше молодежи, люди семейные возвращались по домам, чтобы успеть к вечерним ток-шоу, к очередным сериям бесконечной саги из жизни обитателей маленького, очень буржуазного городка где-то под Костромой, к концерту «Детей Контрацепции», который молодежь собиралась смотреть и слушать на площади, — позади памятника уже готовили на помосте технику и мерцали по бокам сцены два огромных экрана, на которых лица музыкантов во время концерта можно будет увидеть крупно, рассмотреть заливающий их пот, а пока шла обычная телетрансляция...

— Вы должны все довести до конца. И доведете, — парень говорил тихо, голос его был голосом совершенно больного или очень старого человека, нельзя было представить, что час назад эти ребята были веселы и бездумны, были частью той толпы, что шумела, приплясывала, плескалась сейчас за стеклом, мы же были, словно уродливые, чуждые этой человеческой

жизни какие-нибудь глубоководные рыбы в аквариуме. — Если бы тот, кто послал вас, я не могу назвать, но догадываюсь, кто именно, не рассчитывал, что вы исполните порученное, мы бы не встретились. Дело в том, что я работаю в ЦУОМе, ассистент программиста-инспектора главного компьютера, и я смогу вполне беспрепятственно, надеюсь, провести по крайней мере двоих из вас, — он посмотрел на нее и меня, — в здание.

Теперь мы сидели на бульваре. Толпа все не расходилась, хотя «Дети» уже давно отпели, откричали, отгремели и отпрыгали свое, и рабочие уже успели как-то незаметно убрать все электрические ящики со сцены и даже саму сцену наполовину разобрать, она просто потихоньку исчезала, таяла в синем воздухе необыкновенно ясной для этого времени года и весьма прохладной ночи. Но молодежь все толкалась на площади в своих куртках, свитерах, рубахах поверх курток и свитеров, спортивных фужайках, кепках для лапты и городков, шумела, время от времени из этого ровного, как гул моря, шума вырывался возглас, крик : «П-цаны, канаем на Краску!... Ну, оттяг!.. Я тащусь от «Детей»! «Дети» — кла-асс!..» «Краской», видимо, называли Красную площадь.

Отсюда, с бульвара, толпа виделась сплошной, темной, как бы кипящей, субстанцией. Они сразу разъединятся, подумал я, сразу станут отдельными людьми, вот что произойдет, это, собственно, и будет главный результат того, что нам предстоит сделать.

— ...Не знаю, что скажет Гарик Мартиросо-

вич, — закончил свою довольно длинную речь Гриша, — но мне проблема представляется практически неразрешимой. Вы двое должны там быть по самому главному условию выполнения операции. Но молодой человек и берется провести только двоих — хотя, честно сказать, я так и не понял, на что он рассчитывает... Но, допустим, так все и будет. А как же мы? Я и Гарик не можем, не имеем права оставлять вас, тем более на главном, завершающем этапе. В обеспечении вашей безопасности, простите канцелярские обороты, и состоит наш единственный долг и единственный смысл нашего участия в экспедиции...

— Григорий Исаакович, — перебил я его, — простите, но, мне кажется, вы имели уже случаи убедиться, что я и сам могу справиться с кое-какими трудностями, сам могу позаботиться о ее и своей безопасности!

— А можете и не справиться... — задумчиво сказал Гарик. — И потом еще одна вещь: вы как же себе представляете наши и свои действия? Неужто всю эту бутафорию, весь этот реквизит вы принимаете всерьез? Вы что же, собираетесь здесь устроить драку, стрельбу, прорыв через охрану с оружием в руках? Или на вас такое впечатление произвели некоторые слабости и пристрастия Григория Исааковича и мои, некоторая склонность к простенькой драматургии и стилистике классического боевика, присущая тому, кто нас послал, его же любовь к пародии, которая заставляет Григория Исааковича говорить, как героя анекдотов, а меня — как героя других анекдотов или шпиона из комедии... Мо-

жет, вы действительно думаете, что это барахло, — он ткнул себя в наваченную грудь стилижного пиджака-букле, — имеет какое-либо значение, кроме попытки придать легкую театральность и занимательность совершенно серьезному, даже трагическому и безусловно сверхчеловеческому делу? Уверяю вас, что все, начиная от этих подростковых игрушек, — с этими словами он вынул из-за пазухи свой верный «ТТ» и спокойно, не глядя, опустил его в стоящую рядом со скамейкой урну, — включая этот грим, — он стащил парик с набриолиненным коком, отклеил усики, швырнул все туда же, одним движением стер с лица шрам, — и даже, уж простите, ваша, пусть истинная и необыкновенная, любовь, которую мы вполне уважаем, — легко, чуть в сторону, склонившись, он поцеловал ее руку, — абсолютно все это не представляет собою ровно никакой ценности. То, что должно быть совершено, будет совершено, поскольку оно уже совершено в наступающих временах, детали же и украшения останутся лишь прахом...

— Жаль, что вы не дали мне довести роль до конца, — сказал Гриша. — Впрочем, так тому и быть. Начинаем.

Мы встали.

Рыжие кудри плотной шапочкой, горбатый нос, яркие голубые глаза, белая накидка до земли — таким он стоял по правую руку от меня.

Черные длинные пряди по плечам, мягкое юношеское лицо, карие глаза с робким, неуверенным выражением, черное глухое трико — таким встал второй по левую руку.

Она встала передо мною, плотно прижавшись

ко мне всею своей узкой спиной, затылком, всем своим детским и женским одновременно телом, и я положил ладони на ее отведенные назад плечи. Тонкое белое платье было на ней, но, кажется, ей не было холодно, хотя я в своей невесть откуда взявшейся черной тройке дрожал.

Юноша и девушка стояли в нескольких шагах перед нами, в одинаковых одеждах, комбинезонах или спортивных костюмах — он, естественно, в голубом, она в розовом, они держались за руки и одновременно манили, звали нас за собой.

Все-таки маскарад продолжается, подумал я, только вместо ретро-боевика мы разыгрываем не то оперу, не то мистическую драму.

Молодая пара пошла через площадь, вдруг совершенно опустевшую, и мы вдвоем пошли за ними — так же держась за руки. Мы шли за ними, бело-черное следом за розово-голубым в ночной синеве, а белый мой хранитель и черный мой хранитель остались позади и постепенно исчезли во тьме.

Охрана пропустила нас в башню, даже не взглянув на странных посетителей. Эти полицейские, впрочем, тоже выглядели странно-то — в латах и шлемах с опущенными забралами вместо обычной формы, с короткими широкими мечами вместо дубинок.

Юноша открыл было рот, «это мои гости, мой пропуск дает право», но один из стражей перебил его, «нас предупредили, веди их», и указал мечом в сторону лифтов.

Я нажал кнопку, двери разошлись, но кабины

за ними не оказалось, там была непроглядно черная пустота. «Входите», — сказал проводник, мы вошли, потеснились. «Вверх», — сказал он, двери закрылись, тьма, в которой мы повисли, рванулась вверх, я обнял любимую, и она привычно потерлась маленькой своей попой, и я немедленно, в ту же секунду, рванул, подался к ней, и подумал, что та, другая пара, должно быть, делает и испытывает то же самое. А, может, и нет, подумал я, может, они совсем, совсем другие, и чувствуют другое, и не обнимаются сейчас в темноте, а так и стоят, держась за руки и глядя сквозь непроницаемую тьму друг на друга. Или наоборот, подумал я, они уже не ограничиваются объятиями и предались сейчас беззвучной любви, кто их знает, молодых. «Приехали», — сказал Вергилий, двери раскрылись, мы вышли в коридор с серыми стальными стенами, освещенный отвратительными люминесцентными лампами в металлических сетках, и я увидел, что нас только трое. «Мы разлюбили друг друга, — объяснил юноша, — она вернулась вниз». «Но этого не может быть, — заорал я, — так не бывает! Вы были так хороши вдвоем, так близки, так подходили друг другу, даже мы успели привыкнуть видеть вас вместе, а ваши друзья, что они скажут, ведь когда расстаешься, рушится жизнь, то, что было прожито вместе, не может, не должно исчезнуть, и поэтому-то расставание невозможно, невысказано, что вы делаете?!» «Не выступай, папик, — парень улыбнулся, — вроде сам ни от кого не уходил... Девка она нормальная, прикинута, в тусовке... Жить будет, не бери в голову, старый...»

Мы шли по стальному коридору, сворачи-

вали, миновали один застекленный переход, висящий над пустынным, заставленным сломанными контейнерами и просто огромными дощатыми ящиками, двором, второй, снова попали в такой же стальной коридор, пересекли гигантский мраморный вестибюль с длинной, свисающей в лестничный пролет люстрой...

«Пришли», — объявил молодой человек, останавливаясь возле стальной, почти неотличимой от стены двери. «Я никогда не был там, да и никто из нас не был, — сказал он, — потому что туда можете попасть только вы». Он взял ее левую руку, положил на дверь и прикрыл ее сверху моей ладонью. «Думайте друг о друге и о вашей любви. Я буду вас ждать здесь».

Он отошел к противоположной стене, прислонился к ней, прикрыл глаза — вид у него был невероятно усталый, лицо в дневном свете ламп побледнело, под глазами легли темные круги, он казался сейчас моим ровесником.

Я посмотрел на нее, она подняла глаза — знакомое мне, полупьяное, уплывающее выражение.

В ту же секунду в двери что-то громко шелкнуло, прозвенело, и она стала мягко и тяжело подаваться внутрь.

«Вы все знаете, а что не знаете, поймете», — сказал юноша. Я оглянулся — он стоял все так же, не открывая глаз, привалившись к стене.

Мы вошли.

Со всех стен смотрели на нас телевизионные экраны, десятки экранов, а посередине комнаты

возвышалось устройство, с первого взгляда на которое мы все и поняли.

11

На моих часах было уже около трех, значит, прошло сорок минут, как мы закрыли за собой дверь...

— Я не могу, — шептала она, закидываясь и сползая в кресле, обнимая мои колени, прижимаясь щекой к животу, снова откидываясь с закрытыми глазами, улыбка и в то же время страдание были на ее лице, потом она опять прижималась ко мне, так что сверху были видны только густые, растрепанные темно-золотые пряди, и то шептала, то говорила почти в полный голос, — я не могу здесь, не могу так, этот мальчик за дверью, охранники внизу, Гриша и Гарик, и та девочка, которая ушла, они все знают, что мы здесь делаем, и этот ужасный свет, Боже, если бы месяц назад мне сказали, что будет такое!.. Не могу, не могу...

Мы оба уже были полураздеты, грудь ее стала обжигающе горячей, соски под моими пальцами выпрямились и сделались как бы прозрачными, от них шло темно-коралловое свечение, полные плечи и предплечья покрылись мелкими каплями пота. Наклоняясь и целуя ее голову, я чувствовал уже ставший родным детский, кисло-ватый-мыльный запах. Она гладила волосы на моей груди и руках, острые ногти царапали кожу, оставляя розовые тонкие линии.

Ее платье и маленький, смятый, словно мерт-

вая белая бабочка, лифчик, были брошены на другое кресло, вместе с моими пиджаком, жилетом и рубашкой, черный галстук траурной лентой свисал к полу.

— Что же мы будем делать, — спросил я почти беззвучно, склонившись к самому ее уху, — я перегорю, и ничего не выйдет, ты же видишь, что со мною творится...

Она положила руку, прижала, погладила, как бы успокаивая, но, конечно же, под ее рукой еще сильнее напряглось, рванулось, растягивая, разрывая ткань, стремясь к ней, в нее, и она снова прижалась щекой, а я все бунтовал, все рвался на волю, и она подняла счастливое и горестное, улыбающееся отчаянно и почти удовлетворенно лицо и, глядя мне в глаза уплывающими, обморочными, янтарного цвета глазами, что-то сказала одними губами, голоса не было.

— Что, что ты говоришь, любимая моя, любимая?

— Давай... Давай же.

Это был самый обыкновенный казенный стол, только очень большой, на тяжелых тумбах. Стол был пуст, лишь в центре стояло нечто вроде пепельницы или плоской вазы из какого-то черного материала, тяжелой пластмассы или камня, полированное и блестящее снаружи, с внутренней же поверхностью вогнутой, пористой, в микроскопических, одно вплотную к другому, отверстиях. Я попытался приподнять этот предмет, но не смог оторвать его — то ли он был вделан в стол, то ли был так тяжел. С той стороны,

которая была обращена к одному из узких краев стола, верхний срез вазы имел полукруглую, отполированную выемку, будто для гигантской сигары.

На полу у этого же края стола лежал небольшой квадратный коврик из грубой черной ткани, вроде войлока. По периметру коврик был обшит черной же лентой из блестящего шелка, и то ли поэтому, то ли потому, что в центре он был прикреплен к полу большим гвоздем или болтом, шляпка которого ярко блестела на черном, края коврика немного загнулись кверху, как у листа бумаги, свернутого в трубку, а потом разглаженного.

— И все-таки это странно, так странно... — Мы стояли у стола, обнявшись, мне пришлось наклониться, она обнимала меня за шею, мы образовали как бы зеро, ноль, но, может, это была бесконечность. Она все повторяла: —...странно, так странно... Все серьезно, даже ужасно, и вдруг почему-то именно таким способом, именно мы должны решить судьбу целой страны... Это просто плохой фантастический роман, да еще с этой... с порнографией, да?.. Но почему именно мы? И какой в этом смысл? Странно...

— Знаешь, — я приподнял ее, как приподнимают детей, под мышки, и посадил на край стола, чтобы удобнее было разговаривать, — на самом деле во всем этом гораздо больше практических резонов, чем тебе кажется. Такой способ замыкания сети делает абсолютно бессмысленным, а потому и невозможным проникновение сюда здешних людей...

— Но почему же?! — тихо воскликнула

она. — Разве здесь теперь никто не любит, никто не желает другого человека, разве среди здешних страстных любовников не может найтись пара, способная на это пойти ради того же самого — чтобы люди прозрели?

— Во-первых, страстных по-настоящему среди них действительно почти нет, но даже если бы они нашлись... — я взглянул ей в глаза и вдруг понял, что она просто стесняется, что при всей своей чувственности и даже некотором опыте, она просто стеснительная девочка, совсем несведущая в том, куда может завести любовь, в какую даль и мрак, —...если бы нашлись, все равно, они все генетически, понимаешь, генетически неспособны ни к чему, кроме того, что многие из них уже ненавидят, проклинаят, но не представляют другого. Только безопасный секс. Они не способны к другому, они изолированы...

— Но ведь дети, у них полно детей! — Она засмеялась, и глаза ее зажглись бешеным любопытством, как всегда, когда речь заходила о чем-нибудь, касающемся неведомого ей в любви. — Они же беременеют, я видела на улицах, их беременные мне так нравятся... Как и все...

— Господи, до чего ты, все же, ребенок! Да это просто специальная медицинская служба, социальный сервис — ты идешь на прием, немного платишь, выбираешь пол, цвет волос, будущие склонности, аппарат включается на пять минут, и все, рожай, когда придет время! — Она смотрела на меня с ужасом, я обнял ее, прижал к груди голову, гладил... — И никому из них в голову не приходит связывать это с любовью, понимаешь?

— Но почему это?.. — Она уже почти крича-

ла, показывая на окружающие нас со всех сторон, мерцающие, светящиеся всеми красками экраны, на которых беззвучно танцевали, играли в лапту и городки, разгадывали викторины, открывали в пении рты, беседовали, смеялись добрые и веселые люди, разыгрывались исторические драмы времен Ивана Грозного и Сталина, Горбачева и Панаева, люди в диковинных костюмах нестрашно стреляли и легко умирали, красиво агонизируя, диктор читал новости, радостно улыбаясь, показывали сюжет о только что закончившемся концерте, и мы видели площадь и толпу, в которой были три часа назад... — Почему это зависит именно от любви?! Почему, зачем так придумано? И почему именно мы выбраны? Кто так решил? Ты знаешь? Ты должен знать...

— Я могу только догадываться... В любом, самом прочном, непоколебимом устройстве всегда есть слабое место. Почему его оставляют, даже как бы специально создают те, кто задумывает и строит что бы то ни было, от какой-нибудь машины до общественной системы? Ведь они-то заинтересованы в неразрушимости воздвигнутого... Бог знает. Понимаешь? Я сказал именно то, что сказал, буквально. Господь знает, почему и зачем он не дает ни единому человеческому замыслу осуществиться до конца, ни хорошему, ни, к счастью, дурному, почему все сделанное человеком рано или поздно рушится, идет прахом. Поэтому, наверное, в их жизни, где есть все, кроме настоящей страсти, кроме настоящей любви между настоящими мужчиной и женщиной, в этом их тоскливом Раю есть этот

стол, это место для Ада любви, открывающего истинный Ад истинной жизни... А почему именно мы? Что ж сказать... Я надеюсь, что мы это заслужили. Я даже уверен в этом. Ведь выбрали нас.

— Давай... — сказала она. — Давай же.

Она села на самый край стола и медленно, держась за меня, легла на спину.

Ее голова попала точно в вазу, и тонкая шея немного выгнулась, уместившись в выемку блестящего черного края.

Волосы, прошептала она, и глаза ее стали совсем круглыми от страха, мои волосы тянет назад, я уже не смогу встать, волосы прилипли.

Кожа на ее лбу и висках натянулась, будто она сделала балетную прическу.

Я понял, для чего поры на внутренней поверхности вазы — теперь она была прикована к месту своими волосами, втянутыми какой-то силой в эти поры. Как Гулливер.

Не бойся, сказал я, тебя наверняка отпустят, когда все кончится.

Я встал на коврик перед нею, и коврик скрутился еще сильнее, обхватил мои щиколотки, сдвинуться с места было невозможно.

Теперь у нас нет выхода, сказал я, мы прикованы друг к другу.

Это ужасно — любить насильно, сказала она.

А разве мы вообще любим по своей воле, сказал я, разве любовь — это свобода, не делай вид, что ты меня свободно выбрала, нас что-то взяло и притянуло друг к другу, так же, как и сейчас.

Я люблю тебя, сказал я, проникая, вдвигаясь, вжимаясь и видя рядом со своим лицом ее маленькие ступни, люблю.

Она застонала от боли и резко повернула голову в сторону, и я понял, что черное изголовье дает ей ту свободу, которая необходима для любви.

Ее ноги тянулись вверх, как побеги любви, как ветви от ствола моего тела.

Коврик держал меня плотно, но мягко, не мешая двигаться, раскачиваться на одном месте взад и вперед, взад и вперед, взад и вперед.

Она стонала уже непрерывно, перекатывая голову в черном ложе из стороны в сторону, улыбка боли и счастья не сходила с ее лица, глаза смотрели на меня, будто не узнавая, совсем пьяные и прекрасные.

Мои пальцы были на ее сосках, и ее — на моих, пальцы двигались, обводя маленькие круги, и внутри этих кругов умещался весь мир — кроме того, который вместился в меня, и со мною вошел в нее, и сейчас пылал и тонул одновременно, заливаемый водами, из которых все вышло и в которых все кончится.

Я склонился к ней, поймал ее рот своим ртом, и еще один мир возник в этой общей влаге, двигались, сталкиваясь, языки, это была внятная нам речь, и она объясняла все.

Я выпрямился, откинулся, колени ее легли в мои ладони, я ощутил мельчайшие пупырышки кожи и волоски.

Впалый ее живот выгнулся кверху, она закричала.

Все кончалось, кончалось и никак не могло кончиться, длилось, длилось и никак уже не могло продлиться, и кончалось бесконечно долго, кончалось мгновенно, длилось вечно, кончаясь всегда.

Я понял смысл воздержания нашего во все дни и ночи прежде.

И все смыслы понял, и смысл всего, всю бессмысленность всего, что не любовь, и весь ее смысл — все понял, наконец.

Наконец я все понял.

Но тут же забыл понятое, потому что все кончилось окончательно, и начался конец.

Нужно было отделиться друг от друга, мы начали разделяться, оба стонали, и я заплакал.

Потом я подал ей руку, и она встала со стола, и черная ваза отпустила ее, и мой коврик мягко лежал под моими ногами.

Она вытерла мои слезы губами и языком, губами и языком вытер и я ее.

Одень меня, попросила она, мне становится холодно.

Я шагнул к креслу, на котором лежала наша смятая одежда...

Экраны мерцали, светились всеми красками. Где-то должен включаться звук, сказала она хрипло, и у нее тут же сел голос. Я не знаю, где, сказал я, да это неважно, все ясно и так. Она дрожала теперь и от холода, и от того, что шло к нам со всех экранов, но оторваться от этого и одеться у нас не было сил — голые, вцепившись

друг в друга, мы медленно поворачивались от стены к стене. Вот мы и замкнули цепь, и теперь вся страна уже минуту смотрит это, сказал я. Я боюсь, все же это кощунство, сказала она, то, что мы делали, и этот ужас, они несовместимы, и мы понесем наказание, мы будем наказаны, даже если мы действительно исполнили миссию, мы будем наказаны. Ты глупая, сказал я, никакое это не кощунство, это любовь, и недаром она рифмуется только с кровью, а наказание, ты права, наверное, последует, за любовью оно следует всегда...

Мы шептались почему-то, одни в пустой комнате, голые, любящие и несчастные человеческие существа, такие же, живые и страшась смерти, как те, кто теперь мучился и мучил, умирал и убивал, исчезал и выживал на окружающих нас экранах, на окружающей нашу зреющую страну земле...

— Пора, — сказал юноша, входя в оказавшуюся уже незапертой дверь, — вам пора и мне тоже.

Гриша и Гарик стояли позади него в коридоре.

— Называется охрана, — Гриша презрительно сплюнул. — Лохи это, а не охрана, им стало интересно знать, что таки случилось, и они себе пошли смотреть телевизор, как последние поцы, и входи, кто хочешь, вы такое видели?

— Двенадцатый раздел части седьмой памяти «О спецнарушениях спецрежима на спецобъектах работниками охраны в связи с халат-

ностью, пьянством и другими причинами», — уточнил Гарик и добавил: — тоже люди, нет?

Мы долго спускались по лестницам, все пятеро — лифты уже перестали ходить. Она шла за мною, в узких черных брюках, тонком свитерочке — почти незнакомая мне женщина. Я осторожно ступал стертymi и скользкими подошвами своих старых замшевых башмаков, в кармане вельветовых штанов я нащупал ключи и пытался сообразить, как эта связка там оказалась — ведь я вышел из дому, оставив их там и захлопнув дверь. Первым спускался местный юноша, за ним шел Гарик со своим вновь возникшим «ТТ» в вяло опущенной руке, последним, непрерывно что-то бормоча и в то же время рыская стволom «штайра» по сторонам, двигался Гриша. «Все же таки аид такого не сделал бы, — бубнил он, — аид бы не бросил за просто так своя работа, если он работает по лифтам, чтобы люди так мучились на лестнице...» «Гриша, это шовинизм, — сказал Гарик. — Великодержавный, а?»

На площади снова была толпа, но уже совсем другая, чем накануне вечером. Я увидел эту толпу в сером свете раннего утра и испугался, и пожалел о свершившемся — как всегда мы жалеем.

12

Шли, шли, шли танки.

Боевые машины пехоты, бронетранспортеры,

разведывательные машины десанта, миасские грузовики, симбирские джипы, штабные фургоны, передвижные центры связи, заправщики с соляркой и бензином, амфибии всех боевых назначений и понтоновозы, обычные «волги-супер», только с цветами флага и орлом на дверцах, с камуфляжно крашеными капотами, крышами и багажниками, установки «Мрак», качающиеся на платформах, установки «Мор», установки «Саранча-1», самоходная артиллерия и тягачи с орудиями, безоткатные пушки в открытых вездеходах.

Снова танки, танки, танки.

Горели, переворачивались, стояли, покосившись, без гусениц, обуглившиеся, свесив к земле ствол орудия. Отдельно лежали башни. Пылали дополнительные наружные баки, танк неся по пустому шоссе, но пламя не сбивалось. Взрыв.

Сталкивались, перегораживали дорогу, съезжали в канаву, взбивали гусеницами и колесами грязь, погружаясь в нее все глубже, уходили под проломившийся лед, рушились в воду вместе с обломками взлетевшего на воздух моста, сползали с разъехавшихся понтонов.

На полном ходу слепо утыкались в стены, застревали в лесных завалах, валялись назад с крутых подъемов.

Шли, ехали, бежали, стояли солдаты. Сидели, лежали на земле, на полу в пустой комнате с выбитыми окнами, на асфальте за углом дома, на покато́й крыше, на клумбе посреди городской площади, за пустым постаментом.

С автоматами, ручными пулеметами, гранато-метами и огнеметами.

В касках, шлемах и уродливых зимних шапках.

В камуфляже, в обычном хаки и в черных комбинезонах.

В масках, в боевой раскраске и просто в потеках грязи на лицах.

Валялись трупы.

Сожженные до черноты, уменьшившиеся вдвое. С оторванными руками, ногами и головами, разодранные пополам. Босые, с голыми животами под задравшимися тельняшками, с повернутыми ногами. Укрытые куртками или брезентом, в пластиковых мешках. Голова, кисть, нога почти целиком, просто красное мясо.

Палкою, по-волчьи, опустив хвост, трусила через площадь собака.

Горели дома, деревья на бульваре, бегущий человек в азиатском халате, плоский черный цилиндр нефтехранилища, трамвай на повороте, ларек на углу.

Четверо солдат вели мужчину в тряпье. Возраст его определить было невозможно, с разбитого лица слепо и косо смотрели очки. Двое солдат тащили его под руки, один чуть приотставал и, разбежавшись, в прыжке, бил каблуком человека в поясницу, человек прогибался и обвисал, четвертый солдат, шедший впереди, оборачивался, и все четверо хохотали, даже останавливались ненадолго, чтобы отсмеяться.

Ноги женщины были связаны, веревка переброшена через ветку дерева. Двое потянули, женщина повисла, руки ее доставали, хватали землю, одежда съехала вниз, закрыв голову и

землю, одежда съехала вниз, закрыв голову и обнажив нелепо белое тело. Двое, натягивая веревку, отступили в сторону, двое других подняли автоматы, стволы задержались, тело женщины раскачивалось.

Танк ездил взад и вперед, но рука все еще торчала из раскатанной грязи.

Парень в форме, с непокрытой светло-русой головой, с очень красивым, серьезным лицом стоял перед привязанным к уличному фонарному столбу стариком. Старик закрыл глаза, покачал головой, седая круглая бахрома бороды дергалась. Парень отступил на шаг, осторожно, как молодой отец, вынул из стоящей на тротуаре коляски аккуратно завернутого в одеяло младенца, взял его за ноги, размахнулся, как дубинкой, и головой ребенка ударил старика по лицу.

Где это, хрипела она, кто эти люди?

Симферополь, Йошкар-Ола, Уфа, отвечал я, Петрозаводск, Элиста, Брянск, Курск, Псков, Калуга, может быть, это и на Луне, отвечал я, и это граждане великой, богатой и мирной страны, это солдаты ее несуществующей армии, это отдельные эпизоды из жизни и смерти ее несуществующих врагов, отвечал я. Кажется, я ничего не отвечал, да и она ничего не спрашивала. Возможно, нас просто не было там, среди этих экранов.

Он встал перед нами на пустой, сверкающей под луною дороге — давний знакомец, и оба моих ангела, белый и черный, оставили меня и встали рядом с ним.

— Вот, собственно, и все, — сказал он, — вы

сделали свое дело. Счастливые люди узнали правду и стали несчастными, как и подобает людям. Увы, они не ограничились знанием и не смирились с несчастьем, как и следовало ожидать от вашего рода...

— Что сейчас происходит в городе? — спросил я. — Видимо, там...

— Да, вы правы, — перебил он, — там начались беспорядки, и весьма серьезные. Примерно через час после того как на экранах всех их телевизоров появились картины настоящей жизни, они начали выходить на улицы. Кстати, меньше всего среди вышедших было тех, кто прежде ходил на демонстрации — вроде ваших знакомых, с которыми, помните, вы беседовали в старом бомбоубежище на Котельнической... Многие из этих вольнодумцев даже обратились к власти с просьбой прекратить уличные выступления силой. Между тем в городе уже громят государственные учреждения, кое-где начались пожары, полиция и градоначальство пока бездействуют, но военная колонна, выведенная из боев в Заволжье, уже на подходе...

— Что ж, вы довольны, — я посмотрел ему в лицо, но не увидел глаз, — вы довольны, что грех неведения теперь уступит греху ненависти? Мы, она и я, выполнили то, что вы задумали, новая кровь, которая прольется теперь, ляжет на нас. Для чего это? Разве неизвестно вам или тому, кто и над вами, что борьба со злом есть зло? Это знают даже дети...

— А разве неизвестно вам, — ответил он с удивившим меня раздражением, — что и примирение со злом есть зло? Или дети, вроде вас, это-

го не знают? Дивизия, лившая кровь на Средней Волге, перестала убивать там и, возможно, начнет убивать в Москве. Войны по периметру прекратятся, но, возможно, начнется война внутри этой съеживающейся страны. Что лучше? Зло непобедимо, но я и они, — он положил руки на головы своих помощников, — посланы, чтобы с ним бороться. И благодарите, — он поднял свое темное, невидимое лицо к синему небу в частых остриях звезд, — что вы были хорошим орудием в этой борьбе.

— Давайте чужой паспорт и возвращайтесь, — сказал он.

Я протянул ему измятую книжечку, Гарик щелкнул зажигалкой, поднес огонь — и лохмотья бумажного пепла упали, смешались с прахом дороги.

Трое повернулись и пошли прочь. Никто из них не оглянулся, правда, Гриша, не оглядываясь, приподнял в прощании шляпу над головой, а Гарик помахал, тоже не оборачиваясь, рукой со сложенными в кольцо большим и указательным пальцами — О.К.

Они скрылись за поворотом дороги, за деревьями становящегося различимым к рассвету леса.

— Я возвращаюсь, — сказала она, — пора, все уже дома, а мне еще надо купить что-нибудь. Может, курицу... Хлеба... Пока. Я позвоню тебе.

— Я буду ждать, — сказал я, — позвони, если сможешь.

Часть третья. **Л**юбимый,
замечательный

Але.

Это я.

Ты можешь сейчас говорить?

Почему же ты не позвонила?

Простите, я, видимо, ошибся.

Але...

Вас не слышно, перезвоните...

Вас не слышно, перезвоните...

Говорите... говорите же...

Але.

Это я.

Ну, наконец. Теперь ты можешь говорить? Ты одна? Слава Богу. Девочка. Я тебя люблю. Я соскучился ужасно. Все это время думал о тебе, о том, что с нами было.

Ты знаешь, чем больше времени проходит, тем ясней я понимаю: это наше безумное путешествие было придумано тем же самым идиотом, помнишь, я рассказывал тебе о нем, он считает себя моим автором, однажды он достал меня настолько, что я написал ему письмо, почему-то стилизованное, с архаическими оборотами, и, представляешь, он ответил, с такой хамской издевкой, мол, я тебя выдумал, что хочу, то и придумываю в твоей судьбе, он эгоцентрик и мегаломан, мы, видимо, ровесники и одного кру-

га, поэтому он хорошо представляет себе мои вкусы, довольно точно описывает некоторые эпизоды биографии, но многое просто списывает с себя, например, он холодный бабник и пытается сделать меня таким же, только ничего у него из этого не выходит, я люблю тебя, на этом его фантазии кончаются.

А согласишься, что-то есть в этой... его выдумке, правда?.. мне понравилось... страна такая... сытая, скучная... невозможно у нас, да?.. а он придумал... и еще способ... ну, этот... способ открыть им глаза... как мы замкнули цепь... мне понравилось...

Ты эксгибиционистка, это просто примитивная, убогая метафора, вот и все, а тебе, видимо, вообще нравятся такие мужчины, как он, вешающие на других свои комплексы, влезаящие в чужую жизнь, использующие тебя просто как блядь, прости, я не хочу тебя обижать, но ты же знаешь, что я ревную тебя ко всем, тем более к нему, мне кажется, он трахнул нас обоих, помнишь «Кабаре», вот так же, и еще я бешусь, потому что во многом он прав, во многом он понял меня, и тебя тоже, он очень хорошо почувствовал, например, мою тягу на дно, страх и одновременно желание опуститься, пропасть, когда я прохожу мимо бомжей, которые спят у меня на лестнице, у метро, в переходах, я чувствую, что меня тянет к ним, я очень ясно представляю себя таким же, грязным, вонючим, сумасшедшим, в рваных тряпках, не трезвеющим никогда, в желтой луже, я вижу это, а он вокруг этого моего страха и предчувствия все и закрутил, тебе кажется это просто литературной

игрой, а мне бывает жутко, потому что я знаю, что так и будет, он своего добьется.

Успокойся... успокойся, мой любимый... ну, что ты?.. просто ты совсем не спишь... и пьешь много... так нельзя... что-то надо делать с твоим сном... давай как-нибудь придумаем, встретимся, и ты поспишь, просто обнимемся, положим рядом... как там, на даче, помнишь?.. так хорошо было... и не ревнуй к нему... пожалуйста... у тебя нет никаких оснований для ревности... ни к кому... все, что было раньше... как будто не было... я их не помню... никого... люблю тебя, скучаю... хочу лечь, вытянуться вдоль тебя... совсем родной... Ну, ладно, Танька, договорились, буду в твоём районе, забегу померять, потрепемся, ладно, пока.

Але... привет... ты понял?.. Он вернулся от метро, забыл что-то... и смотрел мне прямо в лицо, когда я называла тебя Танькой... это ужасно, это все... иногда мне становится так страшно... я думаю... разве нельзя любить двоих?.. ведь жизни две... мы же были с тобой во второй жизни... а получается, что нельзя... жизни две, а я-то одна... Я стараюсь не думать... и там, в той жизни, старалась не думать... но ничего не выходит... помнишь, я говорила, что все беды, и мои, и твои, и всех, это мне наказание?.. я и сейчас так думаю...

Чепуха. Опять ты завела эту песню, я виновата, я виновата, это ерунда, из всех, кого я знаю, ты виновата меньше всех, не казни себя, я прошу, я знаю, что говорю, тебе не за что себя казнить, я же рассказывал тебе, ты довольно наслу-

шалась обо всех моих женщинах, и я честно тебе говорю, ты самая лучшая, самая чистая, ни в какой я не в эйфории, неужели ты еще не поняла, что ни любовь, ни пьянство мое не лишают меня абсолютной трезвости, с которой я оцениваю и тебя, и себя, и вообще людей, любовь не мешает мне видеть все, как есть, я замечаю и дурное в тебе, как и в себе, но, уверяю тебя, этого дурного в тебе так мало, ты настолько лучше других людей, что постоянное твое самоистребление просто глупо, хотя я понимаю, конечно, потому ты и мучаешь себя, что хорошая, что совесть есть, если б не терзалась, то я бы тебя и не любил, но все-таки, прошу тебя, не мучайся, успокойся, любимая моя, девочка, мое счастье.

Але... я люблю тебя...

Подожди. У нас не так много времени, он вернется, опять придется бросать трубку, лучше поговорим о важном, о том, что происходит на самом деле, а не в бедных наших душах, мы измучились жизнью врозь, от этого тяжелые разговоры, мысли о плохом, а все дело в том, что не спим рядом, не засыпаем, обнявшись, что не лежим spoon like, как ложки, тела скучают, а нам кажется, что дух томится, но, может быть, он и действительно томится оттого, что скучают тела, но, как бы то ни было, я хочу рассказать тебе о реальных вещах, которые происходят со мною после возвращения.

Скучаю... родной...

Я вернулся, знаешь, как будто пять минут прошло, кошка накормлена, все в том же виде, в котором оставил, и даже пыли не прибавилось, ну, удивляться нечего, фантастика есть фанта-

стика, прошел к себе в комнату, разделся, лег на диван, кошка пришла, и, представляешь, задремал, со мною это, ты же знаешь, почти не бывает, я и ночью-то не сплю ни черта, а днем тем более, а тут заснул, кошка лежит на груди, голову сунула мне под подбородок, урчит, как трактор, я так и заснул на спине, в штанах, в рубашке, только пиджак снял, и вдруг меня прямо подбросило, знаешь, бывает так во сне, как будто упал, открыл глаза, ничего не понимаю, кошка убежала, слышу, что она в прихожей вякает так тревожно, она так провожает всегда меня и Женю, и тут дверь хлопнула, я вскочил, никого нет, квартира пустая, во все окна солнце шпарит, шторы раздернуты, я это ненавижу, и в свете пыль танцует, смотрю, рядом с диваном на полу бумажка, опять, думаю, мы в переписку с Женей вступаем, точно, записка от нее, вот, слушай: «Ты, видимо, очень где-то устал. Что ж, продолжай развлекаться. Я возвращаюсь в Питер, теперь уже надолго. По телефону меня не разыскивай, я не в гостинице, и звонить не надо. Пока тебя не было, приходил какой-то господин, спрашивал тебя, сказал, что это по поводу обмена квартиры. Быстро ты все решил. Рада, что тебя не мучает совесть». Такой вот бред, какой-то обмен, какой-то человек, ничего не могу понять, полез в буфет, выпить, конечно, нечего, стал собираться, чтобы выйти, купить чего-нибудь, разделся, пошел в душ, только воду открыл, телефон, вы объявление давали насчет обмена, вот у нас есть подходящий вариант, две комнаты в Бутове и пять тысяч доплаты за район, я сдуру даже спросил, пять тысяч чего, и

только потом сообразил, какое объявление, какой обмен, чертовщина какая-то, тут понял, что имела в виду Женья, значит, и ей это предлагали, вы ошиблись, говорю, не было никакого объявления, а этот мужик даже возражать не стал, ну, значит, ошибка, извините, и трубку повесил, представляешь?

Странно... а ты точно не давал объявления?... может, Женья... но записка... странно, но могли ведь просто ошибиться, неправильно напечатать телефон... не нервничай, любимый, просто ты ужасно недосыпаешь...

Да, а наше путешествие это тоже мой недосып, оно мне привиделось от переутомления, да, и Гриша, и Гарик, появившиеся еще летом, и записка, которую оставила моя бывшая жена, я тебе рассказывал, это все галлюцинации, что ли, я уже не говорю о моем предчувствии, я тоже тебе рассказывал, мои предчувствия всегда сбываются, я сам во всю эту чепуху не верю, меня тошнит от рассуждений об энергетике и биополе, ты же знаешь, но что я могу сделать, если сбывается все, совершенно все, и если я точно знаю, что меня выживут из моего дома, из жилья, из жизни, если мне суждено рано или поздно ночевать в подъезде, перегораживая грязным своим телом дорогу припозднившимся жильцам, я точно знаю, я вижу, как я сижу возле метро в старых своих стильных тряпках, рваных и пропахших мочой, и стоит передо мною, конечно, пластиковый стаканчик, я же не буду собирать в ладонь, я же знаю, как надо цивилизованно нищенствовать, и мятые бумажки в нем, и я на глаз оцениваю, что уже хватит на стакан и сосиску,

но нет сил встать, и какая-то девушка, наклонившись на ходу, чтобы сунуть деньги, потом оглядывается и дергает своего спутника, смотри, я точно узнала, помнишь, он играл в «Изгое», и потом была его выставка, и вышла книга стихов, помнишь, и парень оборачивается, смотрит на меня вполне безразлично и пожимает плечами, спился мужик, вроде, действительно, рвань на нем фирменная, ну, дай ему еще штуку, а может, мне все это кажется, потому что уже подступает, липкий пот течет по подбородку, и если я не выпью в ближайшие пять минут, я просто сдохну, повалюсь на бок, свернусь калачиком в углу грязного, в растоптанной снеговой жиже вестибюля метро, подойдут менты, один ткнет носком сапога в ребра, наклонится, присмотрится, а другой будет уныло стоять в стороне, положив руку, будто сломанную, в козынку, на висящий под локтем автомат, и потом они вызовут перевозку.

Хватит!.. ну, хватит же... что ты говоришь, подумай, что ты говоришь... успокойся... ну, выпей немного сейчас, если не можешь по-другому... все будет хорошо, если ты хоть немного отдохнешь... ну, не звони мне дня два, отвлékись... полежи, ящик посмотри, с книжкой... я бы хотела поспать с тобой, я бы прижалась, вдавилась бы, втерлась в тебя, и ты бы заснул... успокойся, любимый...

Я уже успокоился, успокойся и ты, все, все, хватит, может, это действительно все мне чудится, психоз переутомления, и ты же знаешь, у меня сейчас работа не идет, прогорают галереи, негде выставиться, продать, и на кино нет денег

ни у кого, кто меня снимал, а со стихами и вообще смешно, но я соберусь, вот подожди, вот сегодня вообще не буду пить, сейчас приберу здесь все, соберусь сам, пройдусь, знаешь, там мороз и солнце, как положено, я сейчас смотрю в окно, чудесный день, побреду потихоньку в театр, посижусь там, посуечусь, с ребятами потреплюсь, с Дедом поругаюсь, отвлекусь немного, глядишь, обойдется все, да, а потом мы с тобой перезвонимся, хорошо, и все решим, может, сегодня удастся увидеться, можно, я тебе позвоню, а то ты меня не поймаешь, или позвони мне в театр, ладно, меня найдут, только подождать придется, или сюда позвони, скажи на автоответчик, а я перезвоню, как вернусь, тогда и договоримся, может, ты будешь выезжать к вечеру, и увидимся, придумай что-нибудь, я очень хочу видеть тебя, девочка, любимая, пожалуйста, ну пожалуйста.

Я позвоню... что ты ноешь, ну, не ной... я позвоню... позвоню...

Знаешь, когда я возвращаюсь домой и прослушиваю этот проклятый автоответчик, и он все время гудит и гудит, все звонят и ничего не говорят, кладут трубку, но у нас какая-то такая сеть, что эти панасоники не отключаются сразу, а записывают сигнал отбоя полную минуту, которая отведена для сообщения, я часами слушаю эти гудки, и только иногда прорвется одна запись, это почти всегда твой голос, любимый, говоришь ты, замечательный, я звоню-звоню, а тебя нет, а потом опять гудки, и без конца, и мне кажется, что автоответчик — это вся моя жизнь, пустые, безгласные звонки, меня нет, я автоот-

ветчик, я автоматически отвечаю, мне автоматически звонят, вся Москва теперь так живет, это телефон Михаила Шорникова, оставьте ваше сообщение после сигнала, please, leave your message after the bip, и я вам обязательно перезвоню, и услышу ваш автоответчик, жизнь бессмысленна, ту-ту-ту, знаешь, девочка, когда я окончательно умру, поставь мне на могилу телефон с автоответчиком, извините, сейчас я не могу взять трубку, оставьте ваше сообщение после сигнала, и еще положи со мною мою книжечку, куда я записываю дела на день, впиши туда массу дел, которые я так и не успел сделать, и я там буду их густо зачеркивать, ты же видела, как выглядит прожитый день в моей книжке, все густо зачеркнуто, замазано, от дня не остается никакого следа, это старая, еще антигэбэшная привычка, вот и положи мне туда эту книжечку, и мне будет там хорошо, будет гудеть автоответчик, ту-ту-ту, и дни будут вычеркиваться, и я даже не замечу, что умер, ничего не изменится, только ты звони, ладно, я люблю тебя, люблю, звони мне, когда я умру.

Ты дурак...

Не плачь.

Я не плачу... ты дурак...

Не плачь.

Я не плачу... я тебя люблю...

И я тебя люблю.

Ты хоть ел сегодня что-нибудь?.. ну, что это такое, ты не ешь, не спишь, пьешь, и еще удивляешься, что работать не можешь... вообще не

понимаю, как ты еще живешь, сколько у тебя сил... у тебя еда-то дома есть?.. Женя оставила?.. сосиски, какая гадость... я бы хотела сварить тебе суп... ты ведь любишь гороховый суп, да, с грудинкой, да?.. я так хорошо варю суп, ты не представляешь... сварить тебе суп, налить себе рюмку... ладно, ладно, и тебе... и потом лечь вместе, завернуться... прижаться, влезть в тебя... ну, можно телек включить... и заснуть потом, так, обнявшись... и потом опять заснуть... и утром поваляться вместе... никуда не спешить, пожить так хоть немного, быть вместе и никуда не спешить... но потом ты должен будешь отпустить меня погулять одну... не сердись, не сердись, пожалуйста, я должна иногда быть одна, гулять... и я так люблю спать рядом с тобой, потому что я тогда и одна, во сне, и с тобою, рядом, прижавшись... наверное, это плохо, я зависимое существо... бывают женщины самостоятельные, сами делающие свою судьбу, карьеру... а мне никогда даже не хотелось... понимаешь... для меня это естественно, зависеть от мужчины и подчиняться ему... это несовременно, да?.. все эти феминистки... да я тоже ненавижу феминисток, чего ты кричишь... а все-таки так, как я, жить, наверное, тоже неправильно... но, мне кажется, есть одна вещь, в которой я тоже такая... как они, эти эмансипированные, деловые, независимые, да... что я имею в виду?.. извини... понимаешь... только не обижайся, в этом, по-моему, нет ничего для тебя обидного, даже наоборот... ну... дело в том, что мужчин выбираю я сама... и мне однажды сказали, что я их использую, но это неправда... я

выбираю сама, действительно, я могу даже довольно откровенно проявить инициативу, дать понять... но потом я попадаю в зависимость и расплачиваюсь этим за свой выбор... ты понял?.. если можно сказать, что использую... может быть... немножко... только в постели, понимаешь, в траханьи... ну, как используют инструмент... ты не обиделся?.. ты мой инструмент, я тобой добываю счастье... люблю тебя очень... ох... не могу больше... люблю...

Я хочу видеть тебя, эти телефонные разговоры, от них едет крыша, мы оба сумасшедшие, знаешь, это очень странно, и ты подумаешь, что я просто сейчас увлечен и преувеличиваю по своему обыкновению, накручиваю себя, но это правда, уверяю, со мною действительно такое происходит впервые, мне шестой десяток, у меня было черт его знает сколько женщин, жены, долгие романы, одна ночь в купе, десять дней у моря, рабочий стол в старой моей мастерской, в худкомбинате, случайное пересечение гастролей и гостиничный номер, чужая супружеская кровать, спящий ребенок в соседней комнате, были любопытство, постоянно тлеющая похоть, была страсть, привычка, просто человеческая привязанность, близость, один или два раза случилось краткое, почти мгновенное ослепление, казалось, что нашел, но такого, как к тебе, не было никогда, наверное, так любят детей, но во мне, ты знаешь, отцовские чувства не бурные, наверное, так любят любимых жен, вот что, но у меня, оказывается, любимых раньше не было, понимаешь, здесь все вместе, когда я смотрел на тебя, я чувствовал гордость, вот какая

красивая у меня девочка, можете все завидовать, и просто было приятно смотреть, мне просто очень нравится твоя внешность, все в тебе правильно, знаешь, почти обо всех думаешь, да, красивая баба, вот только нос, или рот, или еще что-нибудь, немного бы убрать, прибавить, и был бы вообще полный порядок, а в тебе мне ничего не хочется менять, ничего, да ведь ты же знаешь, не я же один считаю тебя красавицей, а страсть — это что-то еще, кроме всего, кроме нежности, кроме восхищения, в тебе так странно сочетается полная свобода с детской, даже какой-то деревенской стыдливостью, эти твои поцелуи только до пояса, и ты так смешно раздеваешься, втягивая живот, сгибаясь, пряча себя, сжимая и скрещивая ноги, и выкручиваешься, приседаешь, когда я хочу повернуть тебя, раскрыть, и твой характер, мне все подходит, помнишь, в самом начале ты смешно сказала, а если я вам не подойду, я даже не понял, как это не подойдет, вы мне очень нравитесь, а ты улыбнулась так, знаешь, скривила губы, у тебя есть такая улыбка, и пояснила, ну, не устрою, не понравлюсь в этом смысле, и смутилась, и ты же не притворялась, что стесняешься, и еще эта твоя покорность, и... але, какой Миасс, я не заказывал, что, меня вызывают, ну давайте, извини, я тебе потом перезвоню... але, да, слушаю, да, Шорников, да, откуда вы взяли, что я меняюсь, где вы прочли объявление, нет, это ошибка, ошибка, говорю!

Але, это я.

Вас не слышно, перезвоните...

После возвращения начался уже абсолютный кошмар и все пошло очень быстро.

День ото дня становилось яснее, что я не могу без нее жить, в самом буквальном смысле этого слова, но жить приходилось, она не могла и не хотела уходить из семьи, там были связи, корни, настоящая жизнь, именно семья — разные люди, ребенок, родители, какие-то старые мужчины и женщины, а не просто муж, там был покой, привычки, совершенно непредставимый для меня обычай ужинать всем вместе, тихая и достойная привязанность друг к другу.

Еще более непостижимым для меня было то, что старомодный этот дом, который она так ценила, не мешал ни ее страсти ко мне, вполне необузданной, ни нежности и даже заботе, которые я чувствовал, ни такой близости между нами, какой я прежде действительно не испытывал ни с кем.

Однажды я назвал ее двоемужней, она согласно усмехнулась.

Но видеться мы из-за этого ее старосветского уклада почти не могли, да и перезваниваться было непросто. Муж мог вернуться из офиса в любой момент, мог заехать днем пообедать, мог привезти с собой весь свой совет директоров, мог позвонить, попросить ее быстро собраться и увезти с собой на какой-нибудь прием, в бизнес-клуб, просто в ресторан, в компанию своих партнеров, которые, к тому же, все были его старые друзья, университетские, комсомольские... Много ели, много пили, сидели допоздна. Были они

все, в сущности, совсем неплохие молодые ребята, любили друг друга и своих близких, серьезно делали свое новое дело, помнили, что все они кандидаты, а то и доктора наук, и к нынешним своим президентствам и генеральным директорствам относились с некоторым юмором, не мешавшим, впрочем, делать деньги истово и фанатически. Стрельба, которая шла вокруг, их как бы не касалась, даже если стреляли в хороших знакомых — они продолжали строить жизнь, заводили новых детей, покупали землю, дома, устраивались надолго.

А я бежал к телефону каждый час — не было сил терпеть. Трубку брали мать, дочь, тетка мужа, муж. Ему надоели частые ошибочные звонки, он сменил все аппараты, теперь они были с определителями, более того — каждый номер, с которого звонили, оставался в памяти. Я стал звонить из автоматов, дозванивался наконец до нее, мы договаривались, когда она сможет вырваться из дому и позвонить мне.

Возможностей было две.

Была галерея, которую он ей купил, чтобы она не совсем уж затосковала дома, ей это очень нравилось, я зашел однажды и, к своему изумлению, не испытал отвращения — что обычно бывало в любой из бесчисленных теперь галерей. Она и ее подруга, с которой вдвоем они вели все дело, ездили по всем барахолкам города, скупали — платя иногда вчетверо против того, что просил автор — работы спившихся клубных оформителей, любителей-пенсионеров, пытающихся получить какую-нибудь пользу от старого увлечения, бесконечные копии, сделан-

ные с конфетных оберток, огоньковских репродукций, копии с копий, «незнакомки», «мишки», «ржи», «вечные покои» и даже «помпеи». Все это тесно висело на беленых стенах хорошо отремонтированного бывшего жэковского партбюро на Солянке, а по зальчику были расставлены гипсовые горнисты, головастые октябрюта, бронзовые Горькие с хипповатыми патлами и усами, Чкаловы в шлемах — это волок их помощник, юноша, носивший габардиновый номенклатурный макинтош и черные очки «blues brothers». Юноша был явно голубоват, они давали ему немного денег и кормили в маленькой комнате рядом с выставочным залом принесенными из дому салатами, он ел и рассказывал о тусовке, они чувствовали себя мамашами — да, в общем, и годились девятнадцатилетнему в матери, хотя и сами носили черные рейтузы, солдатские башмаки и кожаные куртки в молниях, как положено модным галерейщикам.

Кто все это смешное, вошедшее в тусовочную моду ностальгическое барахло покупал, было непонятно, но ее это не слишком интересовало — галерея была очевидным развлечением, мужниным подарком. Удивительно, ее самолюбие от этого не страдало, хотя ведь когда-то честно выработывала в музее свои искусствоведческие сто тридцать, и в отношениях со мною была щепетильна, от любого мелкого подарка начинала отказываться, цветы брала смущенно. Впрочем, что я мог подарить жене банкира...

В маленькой комнате стоял и телефон, она выгоняла подругу, отправляла стильного подростка на охоту за гипсовой парковой живно-

стью и звонила мне. Привет... это я, ваша Саша... люблю, скучаю... ты мой любимый, замечательный...

У меня заходило сердце.

Ее странное двуполое имя мне снилось само по себе. Я не знал раньше, что слово, звук может сниться — отдельно, никакой картинки, только яркий свет и это имя — Саша...

Вторая возможность позвонить представлялась, когда она забегала к этой самой подруге-партнерше — и моей, кстати, некогда подруге. Они же учились вместе еще в школе, конфиденциальность была гарантирована. Подруга шла на кухню, варила кофе, открывала прихваченную по дороге бутылку «beefeater'a», банку тоника — обе это дело очень и очень любили, а она набирала номер, и мы соединялись на полчаса, на сорок минут, я люблю тебя, и я тебя люблю, а подруга заглядывала в комнату и крутила пальцем у виска.

Раз в пару недель муж улетал в Цюрих, в Лондон, в Кёльн, черт его знает куда, но это мало что изменяло, огромное семейство держало ее цепко, при непредставимых их деньгах у них не было постоянной прислуги, только убирать приходила какая-то бестолковая тетка, бывшая министерская служащая, а она сама ездила по магазинам, вдвоем с матерью готовили на всю ораву. Но все-таки, когда муж был в отъезде, становилось немного свободнее. Охранника, стокилограммового блондина с мягким лицом русской девицы, посылали на джипе за дочерью в школу, оттуда он вез девочку в бассейн, на теннис, на дополнительный английский, ждал у

дверей, вытирал мокрые волосики своим полотенцем с надписью «Сборная СССР», тащил, вспотевшую, под полой своей куртки, стараясь не прижать больно к кобуре, в ответ получал полное обожание десятилетней красавицы. Тем временем у меня раздавался звонок, я еду на Черемушкинский... будь на углу... минут сорок выкроим, да?..

Я в панике, боясь опоздать, потерять лишнюю минуту, брился, суетился под душем, одевался тщательно — а вообще-то в последнее время сильно опустился, ходил постоянно в как бы модной щетине, в джинсах, в некогда сверхмодном, но уже довольно драном длинном плаще, иногда прямо в нем, вернувшись в беспмятстве домой, заваливался на диван, включал телевизор и тут же засыпал под какие-нибудь известия, под нескончаемые танки... Лихорадочные мои старания давали результат незначительный, на угол вылетал сильно поношенный джентльмен, в стареньком твиде, в порядочно засаленном на узле галстукке, в давно пожелтевшей от стирок рубашке — впрочем, другим, с иголки, меня уже трудно было представить.

И вот рядом останавливался серебристо-белый, текуче-округлый, словно облизанный брикетик мороженого, небольшой ее «мерседес», она, пристегнутая, перегибалась, тянулась через сиденье, распахивала дверцу, и я плюхался рядом с молодой женщиной, сверкающей солнечными волосами, янтарными глазами, абрикосовой от кварцевого загара кожей и всею прочей юной пошлостью... На ней могла быть майка с матерной английской надписью или француз-

ская морская шинель, джинсы или юбка до земли, на всех пальцах серебряные кольца, в левом ухе две серьги, и вместе все это выглядело воскресным посещением дочери с целью проветривания нафталинового, быстро дичающего папаши.

Машина летела по Тверской, застревала в пробках, петляла по переулкам, наконец мы, всегда с оглядкой, останавливались метров за пятьдесят от ее галереи или за квартал от дома подруги, пропадавшей с утра до ночи по тусовкам, я вылезал, закуривал, шел медленно — случайный гость... Когда я входил, она уже была со стаканом джина в руке и в одной майке почти до колен.

На верстаке, идеально подходящем под мой рост, на заменяющем стол верстаке, в маленькой комнате за галереей, на большом махровом полотенце, извлеченном из набитого пустыми бутылками шкафа.

Она стонала, плакала, я зажимал ее рот губами, она выворачивалась, маленькие ее пятки мелькали у моего лица, судорожно сведенные пальцы тянулись к моей груди, вцеплялись в волосы, отыскивали соски, и через две минуты она обессилевала, закидывала голову, закрывала глаза, счастливая и безумная улыбка совершенно меняла ее, а я продолжал вбиваться, внедряться, отталкивая и снова притягивая ее к краю дощатого ложа, и все возобновлялось, и снова кончалось, снова, снова, и наконец я нависал над нею низко, опершись одной рукой, дру-

кую уже было не остановить, а она ждала, смотрела мне в глаза, и радостно выгибалась навстречу, и принимала всею кожей, и каждым волоском, и впитывала, вбирала, и животная жадность была в ее движениях и в лице, обычно имевшем мило доброжелательное, чуть кокетливое, но не более, выражение.

На диване, раздвигающемся не слишком широко, на разъезжающемся, с ненадежным краем диване в подружкиной однокомнатной, на собственной простыне и наволочках, специально купленных и хранящихся в том же диване, в пластиковом мешке.

Она вжимала в подушку лицо, так что я боялся задушить ее, прогибалась, узкая ее спина казалась еще уже, маленький, но тяжелый, как у цирковой лошадки, круп придвигался, она толкала им меня все чаще, все сильнее, извиваясь, соскальзывая, и вдруг, с криком боли, рушилась, и лежала на животе, прикрыв руками затылок, будто боясь удара, а я сползал, опускался, искал губами, жесткие волосы прилипали к языку, горький миндальный запах входил в меня вместе с судорожными, неглубокими вдохами, она отдергивалась, отстранялась, переворачивалась на спину, лежала солдатиком, вытянувшись, закинув за голову руки, крепко сведя ноги, неподвижно, и мерно, безжалостно, словно машина, взлетал и падал я, сгибая руки и распрямляя их полностью, чувствуя, как искажается жестокой улыбкой мое лицо, и уже рычал, хрипел, дергался, словно под током, и чувствовал, как она наполняется мною.

Ну что, малыш, говорил я, дедушка еще не так стар, как кажется, мы пока на равных, а, и мне самому становилось противно от самодовольной глупости этой фразы, но она только счастливо улыбалась и гладила меня, чуть царапая коготками, и брала мою руку, обхватывала, прижималась к ладони щекой, и проводила маленькими, но очень выпуклыми сосками по моему животу, и лежала, обняв себя моими ногами и глядя на меня снизу, не то почти в слезах, не то в счастье.

Между тем жизнь шла, я каждый день ходил в театр, понемногу начал репетировать в новой затее Деда, ругался с ним отчаянно, он однажды, с обычной своей чудовищной неделикатностью, сделал мне замечание за небритость и грязные джинсы, в другой раз вроде бы с усмешкой намекнул, что если бы не я, он давно уже установил бы в театре сухой закон, но мне ведь не запретишь, а другие на меня смотрят... Я злился, но все шло не так уж плохо, и я понимал, что пока есть театр, где, хоть убейся, надо быть к десяти, я на плаву удержусь. Днем забегал в издательство, надо было заменить одно слабое стихотворение новым, когда я его написал, не могу представить, хоть убей, сборник должен был вот-вот выйти... Вдруг, к изумлению моему, продались сразу три акварели и несколько листов давней графики, галерейщик, похожий на любого из тех ребят, которые крутятся вокруг ларьков и у входов в ночные клубы, вытащил из внутреннего кармана вишневого ворсистой пиджака скрученную в трубку олив-

ковую пачечку, перетянутую резинкой. Я купил немедленно бутылку сказочного «Glenmorangie», хорошие ботинки на толстой коже — вот ведь, где уже молодость, а шузы с разговорами не меняются! — и подарил ей косынку «Lanvin», которую она тут же повязала вокруг задницы. На том деньги и кончились, но жизнь шла, шла...

Женя появлялась время от времени, вполне доброжелательная, сочувственно смотрела в заполняющийся пустой посудой кухонный угол и на мои все отчетливее трясущиеся по утрам руки, мы с нею о чем-то говорили, иногда вместе — но недолго, я засыпал, начинал похрапывать, ужас, и она выпроваживала меня в другую комнату — смотрели телевизор, утром я, конечно, не помнил, что именно. Женя снова уезжала, звонила из Питера, что доехала хорошо, но все это было как-то туманно, расплывчато, без очертаний, проносилось быстро, как проносится ближний пейзаж за вагонным окном, а внутри идет настоящая жизнь, знакомятся, выпивают, откровенничают, вспыхивают и разгораются дорожные приключения, и начинаются долгие романы... Впрочем, все было мирно.

Остальные, после той оглушительной ночи прощания со всеми, постепенно исчезли, растворились, перестали звонить, я начал даже забывать имена. Правда, две оказались то ли более терпеливыми, то ли действительно примирились с дружбой, иногда забегали в театр, мы шли в буфет, выпивали по рюмке, я рассказывал о неприятностях, дама горестно вздыхала, разговор исчерпывался, вот такие дела, повторял я, гля-

дя в чужое, вполне даже приятное, но абсолютно не имеющее ко мне отношения лицо, такие дела, ну, звони, будешь рядом, загляни обязательно... И еще одна исчезала, пропадала, уходила в беспредельное, непредставимое пространство города... Повязывая на шею фуляр, протирая горящие после редкого бритья щеки одеколоном, я вспоминал — подарок, милая она была все-таки — и забывал уже окончательно, даже имя.

Исчезли и ангелы мои. Кажется, один раз промчалась мимо сумасшедшая «таврия», кажется, был за рулем Гарик, кажется, весь, как положено, в черном — но не остановился, не предложил подвезти, не поговорил о мудрости инструкций и наставлений, не процитировал параграф «Оставление охраняемого в беде, опасности, а также предательство и неоказание помощи в иных нештатных ситуациях». Я долго смотрел вслед, маленькая машина пробиралась в толпе, застрявшей на перекрестке со сломанным светофором... Мелькнул как-то в метро и Гриша, это был точно он, рыже-седой, приземистый и плотненький, в грязной белой парусине. Но не глянул в мою сторону, не подкатился, не объяснил, как таки должен себе жить интеллигентный человек, если он порядочный аид, а не поц какой-нибудь, не лох и не хазер, как исделать бабки и быть здоровым, а не наоборот, пусть нашим врагам будет наоборот, я вам говорю как своему сыну. Он встал на эскалатор и поехал вверх, и мне показалось, что из-под парусинового его лапсердака выпирает на крепком заду большая пистолетная рукоятка...

Однажды раздался телефонный звонок, я схватил трубку — ждал, как всегда, ее. С той стороны помолчали, вздохнули, потом я услышал немного хрипловатый, иногда срывающийся в надтреснутые верхи, но приятный голос: «Ну что, дружок, маешься?» «Кто это?» — раздраженно спросил я, причин раздражаться непонятными звонками у меня к этому времени было предостаточно. «Кто-кто... я в пальто... автор твой...» Я взбесился. «Вы, господин Кабаков, окончательно с ума сошли, — заорал я так, что в трубке зазвенело, и кошка, подпрыгнув над постелью всеми четырьмя, кинулась, оскальзываясь на поворотах, под ванну. — Вы что же, решили все свои неприятности, проблемы и безобразия на меня взвалить?! А еще репутацию имеете приличного, доброго человека... Да у вас просто совести нет! Ну, не можете сами со своими бабами разобраться, ну, в себе закопались, остаться один на минуту не в состоянии, рассудка боитесь лишиться, пьете оголтело, боитесь на старости лет опуститься, уйти тянет, тоже мне, Толстой хренов — а я здесь при чем?! Хоть какая-никакая совесть у вас есть? На старого своего знакомого, ровесника, слабого и нездорового человека вешаете свои заботы... Вы просто негодяй, вот что, как и вообще ваш брат-сочинитель». «Не ори, Миша, — сказал он грустно. — И не сердись. Я б и рад тебя из всего этого кошмара вытащить, да не знаю, как. Понимаешь? Есть только один способ прекратить твои неприятности, и тебе он известен, но известно ведь тебе и то, что я этим способом по отношению к

такому герою, как ты, никогда не воспользуюсь. Извини, суеверен... Так что давай, сам все решай, выпутывайся... Держись, старичок, все будет хорошо, вот увидишь. Будь здоров». «Пока», — сказал я растерянно в загудевшую пустоту.

Неприятностей же моих действительно прибавлялось день ото дня и ночь от ночи.

После звонка из Миасса начался обвал. Я сидел, смотрел на телефон, раздавалась длинная трель — черта с два теперь, когда появились беспроводные, мобильные и прочие безумные аппараты, отличишь международный вызов от набора из соседнего подъезда, я срывал трубку, ждал ее, ждал приглашения на пробы из Баварии, ждал сообщения маршана из Парижа, но прежде и больше всего ее, остальное отходило, отходило все дальше, не мог думать и беспокоиться больше ни о чем, только о нас с нею, но в трубке хрипело, трещало и вдруг омерзительный, скрипучий, хамский голос с ухмылкой спрашивал: «Ну, ты, козел, ты съедешь с хаты или тебе костер сделать?» Я орал, ругался, грозил, бросал трубку молча — снова раздавался звонок, какая-то баба интересовалась, не поеду ли я все-таки в однокомнатную в Бутово, но с очень большой доплатой, я перебивал, ошибка, вы понимаете, ошибка, я не давал никакого объявления, телефон снова надрывался, ну что, пидор теплый, еще не устал, давай, отваливай сам из квартиры, пока твою сосалку в подъезде не прихватили. Я покрывался ледяным потом, медленно приходил в себя, успокаивался — там код,

там охранник, она постоянно на машине, ничего они ей не сделают, но страх всасывался в кровь, как водка натошак, и я ждал, когда начнут терроризировать ее. Предупредил после первого же такого звонка, она презрительно махнула рукой. Пусть сначала найдут наш номер, его не дает справочная... И откуда они могут вообще о нас знать, успокойся... Просто хулиганит кто-то, может, даже соседи... Черт их знает, чем ты им мог помешать, дом-то пролетарский, раздражаешь... Я чувствовал, что все не так, но не спорил, я вообще с нею никогда не спорил, это была первая женщина, с которой я не то чтобы во всем соглашался, наоборот, вкусы ее, многое в ее жизни, да и взгляды на весьма существенные вещи мне были совершенно чужды, но спорить не хотелось — что-то более важное, чем даже самые важные взгляды, было общим, родным, абсолютно одинаковым, и иногда мне казалось, что она — это я.

Однажды мы провели вместе почти целый день, было так хорошо, как никогда прежде. Муж был в Нью-Йорке, взял с собою дочь на время коротких каникул, она не полетела с ними, потому что вдруг поднялась температура, действительно плохо себя почувствовала, а чтобы ради Америки пренебречь гриппом, даже и речи не зашло — она на удивление спокойно относилась к любым поездкам, хотя не так уж много повидала, Кипр да Канары во время семейного отдыха, но при ее безграничном любопытстве к жизни была совершенно равнодушна к путешествиям, будто все интересное кончалось в Шереметьеве. Я живу, говорила она, глядя мне в гла-

за со своим обычным выражением, веселым и грустным одновременно, улыбаясь, а веки неожиданно краснели, будто вот-вот заплачет, я живу, а не достопримечательности осматриваю, понимаешь?.. Конечно, Париж... Но ты же знаешь, я не умею спешить... А все время надо спешить, визы, самолет... Я понимал, видел, что она нисколько не пижонит, Париж для нее действительно не стоил суеты. Уже давно я убедился, что она самый искренний человек из всех, кого я встречал. На прямой вопрос она физически не могла ответить ложью — при том, что к актерству была склонна больше обычной женщины. К счастью для нее, люди нечасто задавали прямые вопросы.

На второй день температура упала, она как-то вырвалась от семейства — кажется, по обыкновению просто сказала правду, мне нужно в галерею, потом заеду к Таньке, отправила охранника на рынок, уговорила, и у Таньки, умотавшей на целый день по вернисажам, мы валялись, мокрые и обессиленные, прижимались друг к другу, она любила оплетать себя моими ногами, примащивалась под мышку, прижималась лицом к животу — втираюсь, говорила она... втираюсь в тебя... Ты уже втерлась, говорил я, втерлась в доверие, так называлось это в партии, в моем детстве была такая частушка, я ее на перемене проорал, и мать вызвали в школу, шпион Лаврентий Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. В твоём детстве, задумалась она... какой же это год?.. Пятьдесят третий, наверное, вспоминал я, или пятьдесят четвертый. Меня еще не было,

удивлялась она и смотрела на меня снизу, изображая почтение... да вы, Михаил Янович, действительно пожилой человек... А ты маленькая засранка, говорил я, обязательно тебе надо ударить по больному месту. Ты молодой, бормотала она, прижимаясь все крепче, все настойчивее глядя, царапая коготками мою грудь, ты же совсем молодой... посмотри на себя... и устаю я быстрее...

Я вернулся домой часов в девять. Было отвратительно, пусто, грустная кошка лезла на руки, не давая раздеться. Расставаться было невыносимо — сидеть в пустой квартире, глядя на телефон и уговаривая себя не звонить ей, все равно поговорить не удастся, трубку скорей всего возьмет мать или тетка, на просьбу позвать, если обезумею и решусь, обязательно поинтересуются, кто спрашивает, придется врать, что это по поводу выставки, и молоть какую-то чепуху, когда она подойдет, учитывая наличие параллельных аппаратов, а она будет растерянно молчать или неестественно вставлять «да, конечно» и «позвоните завтра в галерею», поэтому максимум, на что можно было надеяться — это подойдет сразу она, послушать ее голос и молча положить трубку, рассчитывая, что она сообразит немедленно стереть из памяти определителя мой номер.

Я не стал звонить, а вместо этого скрутил голову очередной бутылке дряннейшего болгарского коньяку — денег, кстати, не было совершенно, и я уже давно перешел на это самое дешевое и, вроде бы, не химическое пойло — и на-

лил сразу половину большого, с толстым дном, стакана для виски. Через час, когда я уполз из кухни и рухнул в постель, предусмотрительно приготовленную, в бутылке оставалось меньше трети.

Ночью мою дверь подожгли. Истошно заорала кошка, спасительница моя. Я вскочил очумело, почувствовал бензиновый едкий дым, увидел светлую, мерцающую пламенем щель под дверью. Чудом сообразил, что делать, и еще большим чудом отыскал телефон соседей. Они выскочили с чайниками и кастрюлями, вызвали милицию и пожарных. Раздраженный и брезгливый мент велел мне расписаться под протоколом и, пока я ставил закорючки постыдно дрожащей рукой, презрительно рассматривал картины на стенах, афиши, книги и мою мебельную рухлядь, которой когда-то я так гордился. Потом поинтересовался, когда в следующий раз меня по телевизору покажут, и какое будет кино, одно ему очень понравилось, но названия он не помнил. Мы расстались приятелями, однако ни утром, ни на следующий день, ни через неделю ничего не последовало, обещанный ментом следователь не звонил и не приходил, и я никуда не пошел тоже.

Я сидел за столом, самый ненавидимый мною свет — утренний, серый — понемногу заполнял комнату, достигая уже дальней от окна стены, лампа бледнела, и я понимал, что история моя с этой ночи начала двигаться к концу с новой скоростью.

Але, это я.

Здравствуй, любимый... Ты спал хотя бы немного?.. Сколько же можно... Ты совсем измучился...

Все в порядке, не думай об этом. Скажи лучше, мы сможем повидаться сегодня? Я соскучился, я хочу тебя видеть, я хочу в галерею, к верстаку, к Таньке, куда угодно, можем просто погулять, я хочу тебя видеть, хочу тебя видеть, я не могу без тебя жить, не могу жить.

Ну, перестань... можешь, прекрасно можешь жить... Ты работал уже сегодня?.. Получается?.. Много успел?..

Знаешь, я сам удивляюсь. Чем больше рушится, тем лучше идет дело, после пожара все сдвинулось и пошло, вчера я, конечно, не мог заснуть, ты же знаешь, если я перебираю с вечера, либо не могу заснуть, либо падаю, как мертвый, в десять, зато просыпаюсь в три, в четыре, ну и, как положено, весь комплект, печень, голова, ползу в душ, а вчера Женя была дома, я старался не бродить, не шуметь, кое-как свалился с дивана, сел за стол, мучился-мучился и, незаметно как-то, к утру закончил то, что давно хотел, последние строчки для сборника, покажу потом, вроде ничего, только скажешь честно, ладно, и лег снова, думал заснуть, но, понятно, какой сон, когда перевозбудился, и светает уже, встал снова, умылся тихонько, кофе сварил из смолотого, оставалось немного, смотрю — шесть, а делать нечего, и чувствую себя почти нормально, и сел опять работать, тот лист, который дав-

но придумал, помнишь, я рассказывал тебе, подражание Эшеру, двусторонний человек, помнишь, как бы вывернутый наизнанку, еще девяти не было, а я уже почти все сделал, ерунда осталась, смотрю, уголь кончается и нету больше, черт его знает что, а тут звонят, можно выезжать на пробы, представляешь, да нет, это всего три дня, но надо быстро, паспорт, визы, все эти дела, так всегда — все вместе, то на части рвешься, то делать нечего, только по городу болтаться и по сторонам глазеть, так что видишь, все не так плохо, плохо только, что не увидимся сегодня, я ведь правильно понял, ты хотела сказать, что не сможешь, да?

Я тебя люблю... мне так нравится, когда ты говоришь о своих делах... я ведь знаю художников... когда говорят о работе, делаются важные... и все всерьез... нет, ты уважаешь свою работу, я понимаю... но всегда немного иронии... и трезво... знаешь, я буду ужасно скучать, когда ты уедешь...

Это всего три дня, и еще неизвестно когда, а сегодня я так надеялся, но ты никак не сможешь, никак?

Никак... ну, не ной, ты мой милый, ты мой хороший... лучше послушай, я тебе еще скажу, что я люблю... еще я люблю, когда ты рассказываешь всякие истории из своей жизни... только не с бабами... и когда... вернее, всегда мне это интересно, ты же знаешь, у меня такой интерес к этому всему... естествоиспытательский... мне кажется, что я многого про это не знаю... и не умею... но когда в прошлый раз у Таньки ты начал рассказывать... мне вдруг расхотелось... и

твои фантазии, где я участвую... у меня вдруг все пропадает, высыхает... а когда мы куда-нибудь едем, или в галерее, и еще сидят Танька и Славик, и ты начинаешь вспоминать... что-нибудь о тех временах, когда нам с Танькой было лет по десять, а Славика вообще не было... так интересно, и ты такой красивый... я слушаю и смотрю на тебя, а ты этого почти не замечаешь... ты кокетничаешь с Танькой и, мне кажется, даже со Славиком... да кокетничай, совсем не надо меняться!.. ты же мне такой понравился... мы же одинаковые... может, завтра удасться, придешь в галерею... естественно, просто художник пришел в галерею, и все... а там будет видно, может, Танька пойдет дальше тусоваться... в клуб какой-нибудь... а мы заедем к ней на часок, да?.. у меня будет свободен весь вечер, ведь вернисаж же... не расстраивайся, любимый, замечательный, завтра... завтра...

Надо еще дожить. Расскажи, что ты делаешь сейчас.

Я сижу на кухне... возле телефона... и смотрю на плиту... варится суп... знаешь, какой я умею делать гороховый суп... тебе понравился бы... в кухне работает маленький телевизор, какая-то дрянь идет мексиканская... дома никого нет, только мама, но она прилегла, спит... у нас жарко, я босая, в трусах... ну, чего ты сразу кричишь, я знаю, что ты не любишь, не хочешь, чтобы я дома ходила голая... но я же не голая... ну, не кричи, сейчас надену майку, помнишь, у меня есть такая длинная майка, как платье прямо... доварю суп, поеду за Аленкой, потом вместе с ней в бассейн, потом я еще хотела сегодня стричься... отдохну, поваляюсь, ящик пос-

мотрю... я чего-то так устала в последние дни... и выгляжу плохо, зеленая, глаза тоскливые... ты все-таки неправильно представляешь мою жизнь... в чем-то правильно, а в чем-то совсем не так... ты думаешь, что я очень близка со своими домашними, но это не то... я к ним привязана, вот правда... но не близка... это совсем не так, как с тобой... ты оказался первым близким мне человеком за всю жизнь... ну, и еще был один человек... недолго... он тоже был похож на меня, но я его совсем не уважала... даже презирала немного... и еще...

Алло, ответьте Подлипкам, ждите.

Алло, это ты, что ли? Слушай, мы тут сидим, квасим, решили вот позвонить, чтоб ты не скучал там. Думали, уже не застанем, понял, пацаны говорят, он уже давно заплыв делает. Москва-река, да? Ну. А ты отвечаешь, скажи, пруха? Ну, ты понял, да? Ты когда площадь освобождаешь? Давай, брат, не обижай людей, понял, да, пацаны сейчас сидят, квасят, пива взяли, хотели прямо по тачкам — и к тебе, а я говорю, бросьте, пацаны, культурного человека не надо обижать, он же имеет понятие, он уже шматье собирает, уже съезжать собирается с чужой площади, правильно? Алло, ты слушаешь? А ты отвечаешь, ае и все такое. Ты, значит, не понял, да? Слушай и записывай. Ты козел воючий. Ты чмо мелкое. Ты петух комнатный, падла, понял? Я завтра в Москве буду, понял, подъеду к тебе. Ты хуесос, понял? Ты...

Але, это я.

Нас разъединили. Они. Да. Этому нет конца.

Знаешь, я растерялся. Такие вещи всегда происходят только с другими, к ним трудно подготовиться. И ведь я знал, чувствовал, что начинаю пропадать, что скоро пропаду, но я не представлял, что таким способом, это сумасшествие, паранойя, причем, заметь, имеет явственно советскую окраску, ведь что для советского человека всегда было самым страшным? — потеря прописки, что самым желанным? — получение квартиры, видишь, они в эту точку и бьют, и действует, я испытываю совершенно панический ужас, мне стыдно, я уже давно отвык бояться, а теперь боюсь, и вовсе не звонков их мудацких, и не поджогов, боюсь совершенно отвлеченных пока вещей — бездомья, бродяжничества, как это у нас изумительно называется: «без определенного места жительства». Конечно же, пишется вместе, «местожительство», великий, могучий, правдивый, свободный, особенно свободы в этом много, в «местожительстве», и величие слышится, правда? А вот что точно слышно, так это могущество, и правда тоже, потому что и ты тоже чувствуешь, что есть некоторое жуткое могущество чье-то в том, что ты можешь оказаться вне этого чудовищного слова, вне «местожительства», а оно покидает тебя, и ты остаешься один, лишенный и места, и времени, и, следовательно, самого жительства, потому что у нас его не может существовать отдельно, жительства, а обязательно вместе, место и процесс, протекающий в этом, специально отведенном месте — местожительство. Кстати, местожительство, что это? Ты только задумайся, это удивительная вещь, это объединение, времени-жительства и про-

странства-места, это торжество физики и философии в нашей удивительной стране, вообще склонной объединять все — Европу и Азию, историю и географию, грех и святость, добро и зло, ты согласна? Сейчас я налью себе еще этого дивного болгарского напитка, дай им Бог удачи, нашим братушкам, сохрани их отсталые технологии, по которым, без всяких красителей и прочей технической гадости делают они свой виноградный самогон, дай им Бог удачи, пусть они и дальше шлют его нам вагонами, этот дивный «Солнечный берег», стоящий даже в самом крутом ларьке не больше десяти штук, сейчас я налью его еще и выпью.

И теперь скажу тебе страшную вещь, открою ужасную тайну. Я дошел своим умом до сути национальной идеи. Теперь я знаю, что такое Россия — это местожительство, понимаешь? Место и жизнь, в этом месте проходящая, но не отдельно, а вместе, вместе, и пишется слитно, как в милицейских вопросниках, вот это и есть наш особый путь, путь слившихся с местом, это и есть наши обстоятельства места действия, очень, я тебе скажу, сложные обстоятельства, а еще, как ты, может, помнишь, есть обстоятельства времени, отвечающие на вопрос не «где?», а «когда?», и с ними тоже есть проблема, потому что их нет, и на один из проклятых вопросов «когда?» всем, кто имеет наше местожительство, следует отвечать «всегда», и больше ничего, потому что ни вчера, ни завтра, ни позавчера, ни через год ничто не менялось и не изменится, и это не было и не будет ни страной, ни государством, ни историей, ни географией, а будет ме-

стожительством, чудовищным гибридом вещи и процесса, времени, как я тебе уже говорил, и пространства, будь оно неладно!

Ты совсем напился... они достали тебя, ты напился от бессилия... ты не пьянел так раньше... что же делать, бедный мой?... сейчас я доварю этот суп... я хочу все бросить, давай встретимся у Таньки, я выгоню ее... буду тебя гладить, целовать и молчать... мне нечем будет разговаривать, у меня будет занят рот... положим рядом, ты заснешь, успокоишься... я соскучилась, и мне так жалко тебя... ты совсем поехал... ты в плохом состоянии, мне не нравится это... слушай, я сейчас приеду, выходи на угол, к «подаркам», суп уже сварился, я оденусь и буду там через полчаса... умойся, приди в себя, не пей больше и выходи... я еду... я еду...

Подожди, я договарю. И, когда я договарю, ты, может, раздумаешь ехать. На кой хер тебе вечно пьяный, растерявший удачу, истеричный и нудный не то актер, не то поэт, не то художник — и, в общем, никто, на кой? Подожди, я договарю, все-таки. Я договарю, выслушай меня, девочка, пока у тебя есть время, по телефону говорить лучше, мы не отвлекаем друг друга руками, телами, глазами, языками, мы не прижимаемся, не влипаем, не вколачиваемся друг в друга, не рассматриваем кожу, волосы, ногти, не вдыхаем запахи, не едим и не пьем вместе, выслушай меня, любимая.

Я понял недавно, что совсем не знаю себя. Когда я остаюсь один, ночью, например, когда я не сплю, сижу на кухне, я очень быстро замечаю, что меня как бы нет, не существует Михаила

Шорникова, пятидесятидвухлетнего artist широкого профиля, крепкого еще, несмотря ни на что, мужчины, прилично выглядящего для своих лет, уже пережившего зенит профессионального успеха, но еще не совсем вышедшего в тираж, известного пьяницы и женолюба — все это есть, а меня нет. Я внимательно вслушиваюсь в то, что происходит внутри сидящего за кухонным столом человека, и ничего не слышу. Я вижу старую, запущенную кухню, углы и закоулки которой скрываются в падающей темноте, вижу ярко освещенную висящей над столом лампой пеструю клеенку, руки немолодого мужчины с некрасивыми, кургузыми ногтями, с волосатыми фалангами пальцев, с крупными сплетениями выпуклых сосудов на кистях, руки двигаются, гасят в пепельнице сигарету, берут стакан и бутылку, наливают красновато-коричневую жидкость из пузатой бутылки в стакан до половины, я вижу все это, но никак не могу понять, где же тут я.

Иногда я набираюсь сил встать, включить в ванной свет, посмотреть в зеркало. Там я вижу не совсем знакомое лицо, в общем все прилично, глубоких морщин и складок пока нет, щеки под скулами слегка впали, но не слишком, синяки под глазами вполне терпимы, могло быть и хуже, ситуация с волосами давно перестала огорчать, тем более, что, по общему мнению, их нехватка пошла мне только на пользу, ну, конечно, морда за последние годы почему-то удлинилась, это есть, и брови стали расти кустами, по-стариковски, но все это можно пережить, привыкнуть. Я придвигаюсь, насколько возмож-

но, к зеркалу над раковиной, вглядываюсь в глаза, но ничего в них не вижу, кроме обычного, постоянного выражения — тоска, уныние, не то собачья, не то национальная скорбь, вельтшмерц не по возрасту, вот и все. Где в них, в этих еврейских, с опущенными наружными уголками глазами я, я, Миска Шорников, моя жизнь, любви мои, где в них эти мои мысли и сомнения в собственном существовании? Нету. Ничего нет, только светло-каряя радужка да немного покрасневшие от бессонницы белки.

Я смотрю сверху вниз, все гуще зарастающая грудь, вот где годы-то, почти незаметный живот, измявшиеся за день клетчатые трусы фасона, который у нас презрительно назывался «семейные», а в мире-то уважается больше плавок и именуется «boxers», тонкие — но тоже изменившиеся, как ни странно, с годами, ставшие чуть тяжелее, что ли, прочнее — ноги, жилистые ступни в старых кожаных шлепанцах. Вероятно, это и есть я, эту кожу гладят, целуют, эти плечи, эти все же заметные наплывы на боках, над резинкой трусов, все это обнимают, этому шепчут «любимый, замечательный» — странно, тело больше всего убеждает меня в том, что я существую, хотя ведь не атлет, не танцор, никогда не был накачан и горд своим мясом, но почему-то именно рассматриванье этого безголового существа немного успокаивает.

Подожди минутку, я еще налью.

И вот, понимаешь, часам к трем, уже, конечно, пьяный, со слипающимися глазами, я прихожу к выводу: а меня и действительно нет! Уж если всю ночь проведя в поисках, я так ничего и

не обнаружил, не смог вступить в контакт с упомянутым господином Шорниковым Михаилом Яновичем, то, видно, это и невозможно, не существует такого.

Тогда, на последнем шаге к беспамятству, перед тем, как вырубиться, наконец, я осознаю, что же, кто же есть, если нет настоящего меня. Вот, слушай: есть некто, кого ты любишь, обнимаешь, облизываешь сверху донизу, кто делает тебя счастливой на несколько секунд — вот это только и есть. Еще есть некто, беседующий с приятелями, вызывающий симпатию или недоброжелательство, зависть или сочувствие, шатающийся по театральным коридорам, студийным павильонам, галереям, журналам, издательствам, кого помнят и ревнуют прежние бабы, из-за кого тихо мучается Женя, чье имя знают сотни три любителей и поклонниц — некое не то существо, не то условный знак, некто Шорников. Черный ящик, устройство которого неизвестно никому, в том числе и мне, а известны более или менее, как и положено черному ящику, сигналы на его входе и выходе. Ты, наверное, не понимаешь этой технической метафоры.

Подожди минутку, я выпью и прикурю. И не воспитывай меня, я сам знаю, что такое вредные привычки, и не сердись.

Слушай, я уже заканчиваю.

Я старый, сильно пьющий. Не сегодня-завтра меня выживут из дому, я стану бомжом, денег у меня все меньше, не на что будет и комнату снять. Слава моя не вернется, я чувствую, так, буду еще какое-то время барахтаться в тусовке, пока вовсе не сопьюсь и не перестанут давать

бродяге и тот заработок, который сейчас есть. Я же говорил тебе с самого начала, что пропаду, что знаю это твердо, что мне на роду написано пропасть, сгинуть у помойки. Я же выродок, понимаешь, в самом строгом смысле этого слова: выродившийся, выпавший из рода, из семьи. В моей законопослушной, тихой семье, где даже гуманитариев-то до меня не было, одни инженеры да инженер-полковники, где никто не то что не разводился, но и не погуливал даже — я получил такой, какой получился, представляешь? Ну, и как же может закончить свою жизнь выродок? Конечно же, опустившись, спившись, в нищете, в бродяжничестве, в традиционнейшем «на дне».

Секунду, я допью.

Дослушай. Девочка. Любимая. Мне приходит конец, понимаешь. Ты последняя. Теперь, когда я узнал, как это бывает. С тобой. Ты первая и последняя, слышишь. Я хочу жить с тобой, да негде, вот. Скоро они выгонят меня из этой проклятой квартиры. Женя уедет в Питер, еще куда-нибудь, не знаю. Но я точно не буду здесь жить, это я знаю. Если бы мне было где жить, я бы точно. Я бы увел тебя из твоих хором, из твоей этой чудесной жизни, точно. И ты бы не жалела, правда? Ты же меня любишь. Я бы тогда еще жил бы, все наладилось бы, я не пропал бы, да. И тебе было бы хорошо, ты бы увидела. Я очень люблю тебя. Я бы зарабатывал, мы бы жили неплохо. Я всегда умел зарабатывать. И я бы не пил, мы бы не пили с тобой, правда. Пили бы только понемножку, вечером, вдвоем. Было бы счастье. Я тебя люблю. Я уже почти заснул, знаешь, я уже.

Але... але!.. Что ты?.. Ты заснул?.. Проснись, проснись, я уже еду!!.. Проснись!!!

Не приезжай.

Я еду... еду...

Приезжай, приезжай скорей. Я сейчас умоюсь и выйду на угол. Приезжай, я люблю тебя.

Еду... уже еду...

Выхожу.

Еду...

Але... але же!..

Это телефон Михаила Шорникова. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала. У вас в распоряжении одна минута. Спасибо. This is the number of

Але!..

your message after the bip

Але!!

one minute for

Черт...

Thank you. Bip.

Але, это я, куда же ты делся... это Саша... я простояла на углу сорок минут, меня согнал гаишник... куда ты делся... я буду звонить еще... ту-ту-ту-ту-ту...

Але, будьте добры попросить к телефону Сашу.

Я слушаю...

Ты можешь говорить? Тогда только послушай быстро. Они пришли и пообещали устроить большие неприятности нам всем. У них, кажет-

ся, есть человек в охране твоего мужа. Мы договорились. Я оставил им квартиру. Я найду тебя сам. Не волнуйся.

Але!!!

Это Женя. Я звоню из Питера. Вероятно, я останусь все-таки здесь. Филармония нашла мне жилье, я получу двухкомнатную в конце Литейного. Не ищи меня, не звони, дай мне опомниться. Не волнуйся, я проживу. Ту-ту-ту...

Але... может, вы дадите бывшему хозяину этой квартиры прослушать записи... пожалуйста... дайте ему прослушать эту запись... пусть он позвонит... пожалуйста... если речь идет о деньгах, скажите ему... пусть он позвонит, мы все решим... и потом... он сможет договориться с вами, пожалуй...

Але, это я. Я из автомата, у меня только один жетон. Ты можешь говорить? Тогда послушай. Я жив. Все оказалось, как я и предполагал, не так уж страшно, даже неплохо. Сегодня я был в театре, после обеда пойду в издательство, потом в одну галерею, где мне должны — все будет хорошо, не волнуйся. Завтра я позвоню тебе в галерею, ты ведь должна быть там, да? Можем увидаться, расскажу все подробно. А то сейчас кончатся три минуты, а у меня только один жетон.

Але... але!..

Этот телефон принадлежит Михаилу Шорникову. Он здесь больше не живет. Пожалуйста,

скажите что-нибудь! Я попробую ему передать, во всяком случае, сделаю все, что зависит от автоответчика. Простите, по-английски я не говорю. Сейчас будет гудок — и говорите.

Але... я люблю тебя...

4

Как и следовало предполагать, они выжили меня.

Собственно, я даже не понял, как это произошло. Все эти ночные звонки, обещания, что сейчас «братва подъедет», поджигание двери и даже стрельба сквозь нее — сначала из пистолета, дырки ведь остались и в филенке, и в противоположной стене, — потом из охотничьего 12-го калибра или из помпового американского дробовика, прямо в дыру от пушечной пристрелки, так что картечь переломала се в прихожей... Какое счастье, что мудрая, лучше, чем я, обучившаяся боевой жизни моя кошка вовремя кинулась под ванну и только выла оттуда угрожающе, — и когда в очередной раз приехали менты, порассматривали с некоторой завистью — к исполнителям, конечно — разрушения, два часа писали протокол, потом вяло исчезли, — она все завывала хрипло, грозила врагам... Но все это происходило как будто не со мной, словно я смотрел какой-то средней руки триллер, какая-то случайная кассета на вечер. Более или менее благополучного джентльмена, обывателя с художественным оттенком, преследуют некие гады, бандиты, садисты, маньяки, он все терпит-тер-

пит, а потом терпение его лопаается, — я боялся себе представить, из-за чего может лопнуть терпение героя, но ведь знал, знал канонический сюжет! — и он, призвав на помощь старого товарища, по Вьетнаму, допустим, начинает мочить их всех: рядовых бандитов, их босса — изысканно-пошло экипированную сволочь, продажных полицейских...

Мое же терпение все не лопалось, я смотрел это кино с оцепенелым равнодушием, никак не осознавая, что герой — это я. Не могу даже сказать, что я боялся, хотя и это одно было бы вполне достаточным и уважительным объяснением, но нет, нет. Я просто застыл.

Потому что такое происходит только с другими, мы все в этом твердо уверены.

Ну, и дождался.

Я поднимался по лестнице пешком, потому что лифт опять сломался. Переступая через бомжей, затаивая дыхание в облаках аммиака, блевотины, гнили, я допыхтел до своей площадки — и тут же приоткрылась дверь соседней квартиры, выглянуло в щель испуганное старушечье лицо. Мишенька, они просто открыли и вошли, и выбросили вашу кошечку и вот это, хорошо, что я услышала, поймала ее уже на первом этаже, а сумочку эту тоже подобрала, что же теперь вы будете делать, Миша, если хотите, переночуйте у нас, а Женечки тоже давно не видно, она опять в Ленинграде?

Я взял сумку, повесил на плечо, прижал к груди даже не пытающуюся вырваться кошку и

пошел вниз, снова перешагивая через вонючих бродяг, читая в сотый раз злобные надписи на стенах.

С кошкой я пришел в театр. Уборщицы и вахтерши заохали, начали ее тискать, она вырвалась, нервно колотя хвостом, прижимаясь к стене, пошла по коридору вдоль уборных, безошибочно нашла мою, которую я раньше делил с покойным Юрой Литваком и уже год ни с кем, легла в сломанное кресло, издавна приткнутое в углу... Я понял, что она устроилась, дал бабкам денег на вискас, объяснил, где его можно купить подешевле, сел к зеркалу, раскрыл на коленях сумку.

Эти ребята оказались на редкость добрыми. В старую мою сумку, объехавшую пол-, если не весь мир, они сунули, в общем-то, все, что мне нужно. Там были: почти протершийся, но все еще незаменимый верблюжий даффл-коут и любимый кашемировый свитер — так что к зиме я оказался вполне готов; лондонская фляжка для виски и тяжеленный серебряный портсигар — и память, и на совсем черный день; четыре или пять книг, не стану перечислять, самых нужных, вот и все; статуэтка, стоявшая всегда на моем столе, за которую я почувствовал к ним особую благодарность... Словом, если бы я собирался уйти, я бы взял то же самое.

Впрочем, возможно, что я это все и уложил, только забыл, и даже занес к соседке, вместе с кошкой, а все остальное мне просто померещилось. В последнее время я стал замечать, что утром не помню ничего, что было накануне вечером, необходимая для этого доза стала постепен-

но снижаться. Кроме того, все чаще я бывал не в состоянии твердо сказать, что из помнящегося происходило в действительности, а о чем я только думал перед тем, как вырубиться, или, может, видел во сне.

Внутри сумки был довольно большой карман на молнии, она с тихим треском раздвинулась, я сунул руку и, оглянувшись на дверь, вытащил пистолет.

Это был «Para Ordnance P 13.45», изготовленный в Скарборо, в канадской провинции Онтарио по неувядающей кольтовской системе, только с широкой рукояткой, под двенадцатипатронный магазин, да еще один сорок пятого калибра в патроннике — отсюда и название модели. Он был изготовлен полностью из стали, и потому стоил дороже, чем та же модель, но с некоторыми деталями из легкого сплава, он был куплен по каталогу за 712 долларов, и я его очень любил.

Теперь я выщелкнул обойму и по одному выдавил из нее патроны, потом оттянул затвор и выкинул последний. Маслянистые патроны, заканчивающиеся пулей, так похожей на жаждущий любви сосок, — где же я это прочел? не помню, — я ссыпал в старый чистый конверт, завалявшийся в одном из ящичков подзеркальника, обойму загнал на место, предварительно протерев ее носовым платком, потом протер им же весь пистолет и, не касаясь больше металла, завернул его в пожелтевшую с прошлого месяца пыльную газету. Конверт и сверток я снова сунул в сумку.

Кошка уже спала, только ухом дернула, когда я, стараясь не стукнуть дверью, вышел.

Я бросил все с моста, с того самого, широкие каменные перила которого я так часто представлял под ногами, ночь, открыточный пейзаж перед глазами, быстро согревающийся твердый кружок, прижимающий короткие волосы на виске, вдавливающийся в кожу, короткое движение правого указательного, как положено, нажатие последней фалангой. Где-то я читал, что звук не услышишь, но вспышку увидишь — интересно, откуда они знают?

Теперь только свертки полетели в воду, а я уже шел к лестнице, спускающейся на набережную, сбегал по ней, свернул к переходу, тормознул какого-то чумазого дачника на ржавом «москвиче»... Прощай, оружие. Я сдался, игры кончились, я уже никого не защищу, не встану во весь рост, заслоняя собою и стволом слабую и любимую, не выстрелю на секунду раньше. И даже собственная моя жизнь теперь не завершится давно придуманной прекрасной сценой.

Последний герой — из череды таких же, давно забытых — уже сыгран. Теперь мне предстоит осваивать новое амплуа, веселого оборванца, подзаборной пьяни, Мишани-интеллигента, умеренно поколачиваемого коллегами и конкурентами по переходу возле метро. Потом подойдет раздраженный парень в форменных милицейских брюках и скромной нейлоновой куртке — из ближайшего отделения, брезгливо, носком ботинка перевернет уже закостеневшее под тряпьем тело — и останется ждать перевозку, нервно хлопая планшетом по тощей своей ляжке...

Между тем, все продолжалось, будто ничего и не произошло. Мы виделись в галерее и у Таньки. У Таньки я принимал душ, стирал рубашку и гладил ее, еще мокрую. Мы истязали друг друга любовью, я привычно показывал чудеса неустойчивости, она привычно же стонала, извивалась, потом жаловалась — все болит, что ты со мною делаешь, люблю тебя, ты меня проткнешь когда-нибудь насквозь, люблю, хочу еще, все время, люблю.

Об ужасе вспоминали потом, выпивая на Танькиной кухне, заедая готовым, кажется, датским салатом из пластиковой коробочки. Но и ужас к концу первой недели стал привычным, обсуждали положение спокойно, искали выход, прикидывали так и сяк, выход не находился и, выпив и поев, мы отвлекались, снова лезли в постель, иногда на полчаса-час засыпали вместе... Однажды мне пришло в голову, что если ничто не будет меняться, если мы в конце концов не станем жить вместе, рутина таких свиданий погубит нашу любовь еще вернее, чем любые неприятности, чем даже огласка, постоянный страх которой не исчез, но тоже стал привычным, будничным, чем даже моя бездомность и должная наступить рано или поздно нищета. Своим грустным открытием я поделился с нею, она расстроилась, глаза ее сразу оказались на мокром месте, веки покраснели. Но не возразила, да и что тут было возразить — все уже так шло, как шло.

Ночевал я иногда в театре, чего никто то ли не замечал, то ли не хотел замечать, иногда в ее

галерее, на нашем многотерпеливом верстаке, пару ночей провел у Таньки, когда та уезжала в Нижний, на какой-то фестиваль, снова в театре, опять у Таньки, отдохавшей неделю в Анталии, как водится. Научился спать на чем угодно, включая разъезжающиеся реквизитные кресла, и забыл о бессоннице, мог крепко заснуть даже днем... Деньги были, в театре платили не в сроки, но все же платили, около миллиона дали в издательстве, хотя сборник не вышел и, скорее всего, уже и не мог выйти, вдруг шестьсот долларов передал с оказией из Парижа маршан, я купил новые джинсы, старые сунул в гримерной в угол, а для нее нашел в антикварном занятный перстень с очередной бирюзой... И вдруг деньги опять кончились катастрофически, пришлось взять сотню до театральной зарплаты у одного парня, не вылезавшего из немецких гастролей, брайтонских концертов и каких-то совместных постановок. Парень дал без разговоров, но все равно было противно. Потом прошло...

Она ехала к какому-то художнику в мастерскую, к черту на рога, в Перово, подхватила меня по дороге, договорились, что я подожду в машине, пока она будет отбирать работы, а потом поедем на пару часов к Таньке. По дороге туда говорили не о беде моей, не о будущем отчаянном нашем, а черт его знает о чем: о разных женских типах, о вечной женственности, о великих возлюбленных, о том, что любят не тихих, порядочных, домовитых и преданных, а ярких, распушенных, предающих, терзающих. Невелико открытие Америки, но оба страшно завелись,

орали, перебивая друг друга, на перекрестке она едва не въехала в автобус — и было понятно, о чем потому, что все прикладываем к себе, к нашим отношениям, к нашему случаю. Она себя считала женщиной дурной, корила себя за все — что мужу, доброму, хорошему и терпеливому, изменяет, что мне принесла несчастье, что, не умея себя обуздать, рискует и своим, и чужим покоем, может и себя в угол загнать, и близких на всю оставшуюся жизнь погрузить в горе, в обиду, загубить. Ждала, что будет за все наказана, за все свои немногие приключения, и за нашу историю тоже — словом, завела старый разговор, вечную свою песню.

И обо всем говорилось так, будто пока ничего не произошло, будто не превращаюсь я неотвратно в бродягу, будто нужно еще ждать напастей, будто еще не дождались. Я и сам забыл о том, что через несколько часов надо будет искать ночлег и что, возможно, следующей моей спальней станет подъезд.

Все о том же продолжали говорить и у Таньки, что не помешало час исходить страстью, стонать, вскрикивать, начинать плакать, дергаться, едва ощутимо притрагиваться кончиками пальцев, изо всех сил прижимать, обхватывая руками и ногами, проталкивать язык все глубже, почти разрывая уздечку, бесконечно рассматривать, придвинувшись почти вплотную, заливаться потом на уже и без того мокрых простыне и полотенце, шептать десяток бесконечно повторяющихся слов, не имеющих себе равных в пошлости — любимая, любимый, девочка, мальчик, солнышко, солнышко, родная, родной, красивая,

красивый, люблю, люблю. Все. Все. Все. Не могу больше. Как хорошо. Все. Все. Все. Как хорошо. Не могу больше. Все. Все. Все. Иди сюда, иди сюда.

Потом, как обычно, сели на кухне, она в длинной майке, я в мятых трусах, она пила Танькин джин — правда, накануне Танька сама прикончила наш, я же открыл купленную ею для меня фляжку «Black & White». Сыр засох, хлеб стал в холодильнике каменным, а отогреть было некогда, оливки из банки вдруг опротивели. Все было как всегда, но я закурил, затянулся пару раз — и сунул сигарету в пепельницу, недодавил, и заплакал, ничего не в состоянии с собой поделаться, затрясся, заходясь все больше в тоске, страхе, безнадежности, она встала передо мной, прижала голову к груди, гладила, что-то неслышно шепча, я начал успокаиваться, взглянул снизу в ее лицо. Глаза ее были закрыты, губы некрасиво кривились, произнося неслышимые слова.

Я понял, что, независимо от любых перемен, она последняя, что не будет больше никого, и ничего не будет, и ничего больше и не надо.

Потому что, говоря просто, от добра добра не ищут, а лучше ее не то чтобы нет или быть не может — но мне не надо.

Потому что она именно и есть та, которую я придумал лет двадцать пять назад, когда я придумал всю свою жизнь, свои занятия и чего я от них хочу, свой образ существования до мельчайших деталей, и все так и получилось, все осуществилось, пришло и уже даже ушло, и не было только придуманной тогда женщины, были все

время хоть немного — а иногда и очень — другие, но вот она, она — это та. Другой не будет.

Не потерять бы ее, подумал я, как я уже растерял и продолжаю терять профессии, образ жизни и все, чего хотел и получил. Черт с ним со всем, подумал я, только бы она не потерялась.

Тут и зазвонил телефон, и она автоматически сняла трубку в чужой квартире, потому что звонок был резкий и длинный, и ей, наверное, показалось, что это звонок международный, от какого-нибудь лондонского или нью-йоркского ее знакомого галерейщика, и она схватила трубку, и ответила, и слушала минуты три молча, и так же молча трубку положила.

Слушай, сучка, сказали ей. Мужа твоего мы достанем и в Штатах, поняла? Старухи уже по месту прописки отвалили. А пацанку свою получишь, когда нам ключи от хаты отдашь. Ты, проститутки кусок, трубку не бросай, а слушай по-человечески. Ключи у тебя на одной связке, так? Вот, воткни в зажигание, поставь своего «мерса» на ручник возле «Измайловского парка», у метро. И вали к базару, просекаешь, там тебе девчонку сдадут. А захочешь потрахаться с хорошими ребятами, звони. Ну, все, у тебя час есть, гони. И козлу своему скажи, чтобы не возбухал, поняла? Давай, соска, исполняй. Пока.

5

Message, оставленный на автоответчике Михаила Шорникова: «Тебя, конечно, невозможно за-

стать дома, а мне надоело по междугородной разговаривать с автоответчиком, тем более, что он порет какую-то ерунду. Пьяный записывался? Так вот, выслушай меня внимательно и постарайся понять. Ты решил расстаться? Я уже давно знаю, что ты способен предать, вот и дождалась. Тем не менее, я не жалею о том, что мы прожили вместе эти годы, я все равно считаю их лучшими в своей жизни. Не беспокойся, я не умру без тебя. Я устроилась в Питере, разыскивать меня не надо. Женя».

Записка, опущенная в почтовый ящик Михаила Шорникова. Конверт со штампом «Московский Экспериментальный Академический Театр», без почтового штемпеля — принесен и опущен курьером. Машинописный текст на одной странице: «Заседание художественного совета театра и правления АО «МЭКСАТ» 19 апреля в среду, в 12 часов. 1) Отчет правления о ходе переговоров с «Экстра-Банком». 2) Утверждение договора об аренде репетиционного зала и прилегающих помещений клубом-рестораном «Venus-club» (российско-американское СП «Мармур & Мармурштейн enterprises Ltd.»). 3) Отчет главного режиссера о ходе подготовки спектакля «Печальная история Анны» 4) Утверждение исполнителей по спектаклю «Анна». Под машинописью дополнение от руки: «Миша! Не вижу тебя в театре уже третий день. На совете будь обязательно, есть дело». Без подписи.

Письмо, валявшееся на лестнице под почтовым ящиком Михаила Шорникова. Обратный

адрес на конверте: «M-r Vladimir Bronizki, 34, rue Saint Louis en Y'lle, 75004 Paris, France». Текст письма на двух страницах, мелкий компьютерный шрифт со многими подчеркиваниями, выделениями и разрядками: «Миша! Как видишь, не прошло и года, а я уже собрался написать. Не знаю, как ты теперь живешь, но, судя по тому, что нет от тебя ни слуху, ни духу, *ничто* происходит в твоей жизни. Предполагаю следующее: а) *новый* фильм, б) *новый* роман, в) то и другое, г) *разошелся* с Женей. В любом случае, надеюсь, что ты не киснешь, а *наслаждаешься* новой ситуацией. Когда будешь в областном центре Парижске? Что-то мы давно с тобой не выпивали; не сидели ночью у каких-нибудь греков в Старом Латинском квартале; не пугал ты мирных японцев за соседним столом, самоубийственно заказывая пятый, седьмой, десятый виски; не брели мы по Новому Мосту над веселыми, светящимися баржами; не ели «У Бернара» (помнишь, в районе Площади Италии) любимый *тартар* в компании ночных таксисток, возящих с собою на переднем сиденье как бы для безопасности пожилых псов; не похмелялись английской исключительных качеств водкой «Tanguerau» в пять утра на травянистом склоне у белой монмартрской церкви, под завистливыми взглядами клошаров; не дремали после чумной ночи на маленькой квадратной площади, со всех сторон окруженной антикварными лавками. Давно не шлялся ты по *оружейным* магазинам; по *блошиным рынкам* давно не пил местного популярнейшего пива «1664». Приезжай, а? Неужто нельзя придумать чего-нибудь, неужто не зовут

тебя на какую-нибудь встречу прогрессивной общественности, на премьеру какого-нибудь вашего новейшего фильма, что-нибудь про блядей и бандитов, неужели, в конце концов, твой маршан не может пригласить? Я бы пригласил, да с моими бумагами, знаешь, и сам живу как гость. Этранже, мать бы их. Тем не менее, живу я, Мишка, и радуюсь. И не тому радуюсь, что чисто, тихо, прилично, на лестницах не срут (привет твоему подъезду!), что улиток горячих могу поест (сейчас, говорят, и у вас все имеется за доллары, да?), что красиво все — хотя и это, признай, неплохо. Но радуюсь я, дружочек мой, тому прежде всего, что один. Ты, наверное, удивишься, — а может, и поймешь, — но пришел я за последнее время к выводу, что в нашем возрасте нет ничего лучше одиночества. Какая глупость — страх «одинокой старости»! Да разве она бывает *не одинокой*? Ну, живут где-нибудь старосветские помещики, что называется, душа в душу, смотрят вместе ТиВи, гуляют в парке, потом укладываются спать рядком, храпя и пукая, кто громче... Во-первых, гадость ужасная, во-вторых, одиноки-то они все равно, потому что от одиночества есть только *одно средство* — *любовь*, а ни привычка, ни привязанность, ни обязательства, ни ответственность не помогают. И все это знают, только не признаются. Я же признался себе: отвечать за другого человека и не хочу, и не могу, главное — не хочу, чтобы за меня отвечали. Между прочим, перечитывал недавно любимого моего, и вот что вычитал в упомянутой повести о великой и пожизненной привязанности: «...не проходило нескольких ме-

сяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, включая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуффраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было». Ну, так если не мальчик, то не Афанасий ли Иванович? Пусть простит мне великий такое кощунство, но не исключаю. В теплой-то духоте да с обжорства... А я, между прочим, много об этом думал, и пришел к выводу грустному: любая *измена*, не говоря уж о настоящем, длительном адюльтере, *разрушает любовь* обязательно. Понимаю, что открытие еще то, но что поделаешь — своим умом дошел. Оттого и все наши несчастья, что все ищем чего-то, а теряем последнее, что было. Но ведь не переделаешь же человека, правильно? Ну, вот и живу один, и счастлив, а в этом городе изумительном, да еще с моим еле-еле французским, одиночество сохранять просто. Такой вот я стал, ты, помня меня московского, не поверишь, наверное, а пишу истинную правду. На хлеб же зарабатываю — с трудом и немного — обычно: немножко в газетках русских, немножко на радио... Но, поскольку все это неотвратимо усыхает и сворачивается, старательно ищу работу нормальную, достойную свободного человека, не зависящую от ваших очередных безобразий или достижений. И, кажется, такую уже почти нашел, помогли мои теннис, волейбол, утренний бег, да и сейчас

я каждый день качаюсь, даже тренажер комнатный купил, осилил. В форме отличной, живота нет, руки-ноги в полном порядке. В результате, может быть, дадут мне маленький металлоискатель, красивую униформу, и буду я стоять в дверях большого магазина, открывать сумки и водить прибором по арабам — вдруг зазвенит... Думаю, что этой работы мне надолго хватит, все взрывают по всему миру и взрывают... А там видно будет. Между прочим, писать, если на службу возьмут, придется бросить, здесь этого не любят, нету традиции интеллигентных истопников и сторожей. Ну и хрен с ними. Тем более, что сейчас, перечитав эту эпистолу, обнаружил, что стиль на редкость старомодный, в духе наших с тобою первых попыток, помнишь, году в шестьдесят пятом или шестом?.. Так что потеря для словесности отечественной будет небольшая, а приобретение для безопасности мирного населения безусловное, я человек добросовестный. Такие дела. Приезжай, ей-Богу. Возьму выходной, погудим... Обнимаю тебя, твой Володя. А ей, кто б ни была, поклон — я твоему выбору доверяю. В.»

Заявление, оставленное на столе в РЭУ (скомканный, с оборванным краем листок): «Начальнику РЭУ-13 г-ну Биллялетдинову А.Б. от Шорникова М.Я., проживающего (оборвано). Заявление. Прошу прописать в приватизированной мною квартире по адресу (оборвано) г-на Григо (оборвано), являющегося моим родствен (оборвано) со стороны (далее все оборвано)».

Заметка в газете «Московский доброволец». Рубрика «Cito!». Заголовок «Известный тусовщик стал бомжем, но продолжает тусоваться». Текст: «Один из наиболее заметных представителей московской богемы старшего поколения Михаил Шорников, актер (знаменитый фильм «Изгой»), художник и поэт, продал свою квартиру и теперь ночует большей частью в Экспериментальном Театре или у подруги-галерейщицы. Вчера его видели выходящим из Театра в пять утра, что не помешало ему вечером высадиться из иномарки у входа в престижный ночной клуб «Крысолов», где состоялся вечер его друга, приехавшего из Парижа литератора Владимира Броницкого. На вечере старые друзья обнимались, пили и закусывали, а после вечера расстались — один поехал в гостиницу «Гранд-отель» (оплаченную пригласившей русского парижанина компанией «Росинцест»), другой был замечен входящим в подъезд старого дома в районе Тишинки, облюбованного для ночлега бездомными. Между тем, как стало известно из хроники происшествий, два дня назад в бывшей квартире Шорникова произошла драка, в которой двумя выстрелами из пистолета «ТТ» был убит новый хозяин квартиры, 27-летний безработный Г. Следствие ведется, возможно, что знаменитому тусовщику и бомжу придется ответить на несколько неприятных вопросов. Не огорчайтесь, Михаил Янович — жизнь коротка, тусовка вечна!»

Записка, отданная вахтерше на артистическом входе Московского Экспериментального

Академического Театра: «М.Шорникову. Мишенька, любимый, что происходит? Пожалуйста, позвони мне, попроси меня, кто бы ни подошел к телефону, или позвони в галерею, или Таньке. Я волнуюсь, боюсь за тебя после заметки в «МД». Позвони».

Приказ, вывешенный на доску объявлений в служебных помещениях Московского Экспериментального Академического Театра: «Приказ № 9. 12 мая. В связи с систематической неявкой актера М.Шорникова на репетиции, появлением в нетрезвом виде и фактическим прекращением работы в театре, а также в соответствии с поданным Шорниковым М.Я. заявлением, освободить М.Я.Шорникова от работы по собственному желанию с 12 мая с.г. Художественный руководитель и главный режиссер МЭКСАТ — подпись».

Записка, подсунутая под дверь галереи «ТиС»: «Танюша! Никак не могу поймать Сашку ни по одному телефону. Наверное, носится, ищет меня, а я ее. Передай ей, пожалуйста, что я жив, что ничего страшного не происходит, все устроится. В ближайшие дни я найду ее — пусть почаще бывает в галерее, я позвоню. Целую вас обеих — ее, как догадываешься, отдельно. М.»

Еще одна запись, оставленная на автоответчике, принадлежавшем Михаилу Шорникову: «Вы, мелкие ффраера! Если вы хотите спокойно

випивать и кушать, так дайте знать Мише Шорникову, что его уже ищут друзья, Гриша и Гарик. И задавитесь себе на его жилплощади, но если сделаете Мишке плохо, так я с вас личными руками устрою таких клоунов, что будете смотреться у зеркало и плакать, как по родителям. А как Гарик может вас по инструкции сделать на всех ваших беэмве, вы сами знаете. У вас еще есть немножко время. Гриша и Гарик».

Надписи, сделанные на стене подъезда, где жил Михаил Шорников: «Гриша и Гарик здесь были. 14/V. Кто видел в море корабли, не на конфетном фантике, кто помнит, как его ебли, тому не до романтики. Миша, кончайте детский сад, приходите к себе, сделаем вселение обратно». Ниже: «Мишенька! Позвони, Саша у меня. Таня». Сбоку: «Дайте мне несколько дней, я сам разберусь во всем и сам всех разыщу». Под этим крупная подпись — «М.Шорников».

6

Понимаешь, сначала он показался мне просто сумасшедшим, помнишь, когда пришел в галерею, ты нас познакомила... Немолодой ведь уже мужик, интересный, ну, на мой вкус слишком старательно одет, все эти платочки, пиджаки, «фаренгейтом» за версту разит, но ведь действительно хорош, ничего не скажешь... И знаменитость все-таки, мне это все равно, ты же знаешь, ты же все мои истории знаешь, я же не по этому

делу, мне все равно, помнишь Игоря, вообще был... я даже не знаю кто, механик по лифтам, да?..

Но, все же, я «Изгоя» видела, и стихи где-то попадались вполне симпатичные, а тут еще он со своими акварелями... ну, эта серия, «Объятия»... Конечно, произвело впечатление, но совершенно был сумасшедший, я даже испугалась. Пьяный все время, говорит непрерывно, обнимается... Помнишь, так обнял тебя за плечи, Танечка, солнышко, ты сегодня действуешь, как установка залпового огня, тебе черное идет необыкновенно... Старомодные комплименты, а глаза абсолютно безумные, и вдруг начинает говорить такое... То о себе все выкладывает, а кто мы ему, совершенно посторонние бабы, только что познакомились, а он рассказывает такие вещи, которые даже близким друзьям не говорят, что-то о болезнях своих, об этой его Жене, то вдруг такую непристойность ляпнет, даже не знаешь, как реагировать, не по морде же...

Знаешь, ты тогда ушла, он достает из кармана фляжку, очень красивая, наливает мне немного, сам прямо из фляжки, ужасная гадость это виски, теперь уж приучил... Выпили, он сел напротив, смотрит в глаза, замолчал вдруг, только улыбается так, знаешь, брови горестные, а глаза улыбаются, и молчит, а я с Сережей как раз договорилась встретиться, спешу, и вдруг, не понимаю сама, зачем, начинаю все ему рассказывать, и про Игоря, и про Сережу, даже про мужа, он слушает, курит, к фляжке прикладывается, мне еще налил, брови совсем домиком

сошлись, морда прямо как у доброй собаки, а я все рассказываю, рассказываю... Ну вот, говорю, поеду сейчас к Сереже, он хороший, добрый, лягу, прижмусь, отдохну от всего... Представляешь? Ну, чего я с ним разоткровенничалась?.. А он совсем расстроился, пожалуйста, говорит, не ездите к нему сегодня, если вы поедете, мне будет очень плохо, я буду все себе представлять и к концу вечера с ума сойду... Я и не поехала, допили мы его виски, стали пить наш джин, стала я уже собираться домой, пьяная совсем, говорю, брошу машину, поеду на метро, я тогда, помнишь, еще одна ездила везде...

А он вдруг усмехнулся просто похабно, положил руку мне на колено, мы на стульях друг против друга сидели, прямо посередине выставочного зала пустого, повел рукой вверх, ладонь горячая даже через одежду, и знаешь, что сказал?.. Я вас не отпущу так, вы уже можете простудиться... Понимаешь, в смысле, уже мокрая... Так сказал, что иначе понять было нельзя... И я осталась еще на час, прямо тогда, хотя как раз мне было никак невозможно, и дома ждали... Но он даже не очень уговаривал, просто обнял, Сашенька, Сашенька, я за Таню всю жизнь буду Бога молить, за то, что познакомила нас, Сашенька, я понял, понял, вы любимая, последняя, я всегда буду при вас...

И понес, понес, пьяный, безумный, глаза уплывают, а я все это вижу, слышу, что бормочет ерунду, но не могу ничего поделать, он встал, большой, уже отяжелевший, ну, знаешь, как спортивные мужики тяжелеют с возрастом, прижал к себе, на плечи чуть-чуть надавил...

О нашем путешествии тебе уже известно все. Вот тут и выяснилось, кто из нас сумасшедший. Я хочу только еще вот что тебе рассказать, меня это давно мучает, я хочу рассказать тебе, что я там чувствовала. Наверное, ты и так обо мне это знаешь, мое желание чувствовать себя одновременно собственностью, вещью, которой мужчина просто пользуется, понимаешь, справляет на мне свою нужду, и, в то же время, смотреть на него так, немножко свысока, сверху, вот, дескать, животное, которое нуждается во мне, чтобы ощущать себя человеком, сильным, значительным, это я ему даю, даю такую возможность, и он получает то, что никогда и ни от кого бы не получил, это чувство превосходства, полноценности, и пусть он думает, что победил, но я-то знаю, что поддалась, подарила ему этот обман, иллюзию превосходства. Танька, ты же знаешь, так было с Игорем, потому он за меня и держался, а Сережа почувствовал это, эту дрянь во мне сразу, и сразу стал с этим воевать, он мне доказывал, что не зависит от меня, что он просто взял, я просто дала, мы равны и свободны, ну, тогда я ему и доказала, когда не пришла, кто свободен, а кто зависим. Но там, в нашей экспедиции, в этом ужасе, в сказке, во сне я впервые, понимаешь, Танька, впервые в жизни, почувствовала, что от меня ничего не зависит, что война закончена, и я потерпела поражение навсегда, это было такое счастье, так сладко, так хорошо, впервые, слышишь, впервые я была собственностью действительно, ничего не зависело от меня, он меня вел, он знал все за всех,

за себя и за меня, за своих этих хранителей и за всех людей, он принимал решения, и я подчинялась им еще до того, как они были приняты, и даже его слабость перекрывала всю мою силу, и даже его зависимость от моего тела и от моей ласки делала его не зависимым, а, наоборот, свободным. Не могу тебе толком объяснить. В общем, там, в этом нашем путешествии, все сошло, и моя жажда подчиняться, и мое вечное стремление к превосходству, желание сделать царский подарок — себя. Понимаешь? Я ведь знаю этот свой порок, гордыню, и ты знаешь, но я никогда не предполагала, что такое может быть, чтобы я от него зависела, как вещь от человека зависит, а он от меня — как человек от вещи, понятно, да? Непонятно, я знаю. Ну, неважно. Во всяком случае, там было счастье. У нас была как бы одна кровь, только он был сердцем, которое кровь гоняет, а я сосудами, по которым течет и течет, толчками, так, как бьется сердце, и мы так зависели друг от друга, как сердце и сосуды. Ну, я разговорилась. Просто женский роман какой-то. Извини. Но мне очень хотелось рассказать, как было там. Видишь, мы вернулись, ничего не изменилось, я живу дома, Миша совсем спился и уже, кажется, стал бродягой, бомжом, я плачу, как только представляю себе его теперешнюю жизнь, разве можно так жить в его возрасте, но не могу ничего сделать. Он твердо решил, что должен пропасть, опуститься, у него было такое предчувствие, и я не в состоянии с этим бороться, ты же знаешь, какой из меня борец. И кроме того, я не могу освободиться, семья — моя большая часть там.

Я не знаю, что мне делать. Когда начинаю думать об этом всерьез, болит голова, невыносимо, и я сдаюсь, не разрешаю себе эти мысли.

Иногда я заставляю себя быть с собою совсем откровенной, понимаешь, совсем, до самого конца, понимаешь?.. Тогда получается, что мне никто на самом деле не нужен, я живу отдельно, отдельно ото всех, и от него тоже... Бывает такое состояние, мне нужно закрыться, отгородиться, остаться одной, ни муж, ни дочь мне не нужны, и он не нужен, я звоню тебе, или даже одна, никого не зову, иду бродить... В хорошую погоду это состояние становится совсем непреодолимым, мне надо уйти, идти одной... Я даже не очень глазею по сторонам, не захожу в магазины, не замечаю людей, в общем, не замечаю и погоды, солнце, или дождь вдруг начнется, мне все равно... Я ухожу, освобождаюсь, мне необходима эта свобода, в это время я никого, наверное, не люблю, я просто люблю дышать, я дышу в своем укрытии, мое тело становится моим убежищем, крепостью, и я отсиживаюсь, спасаюсь... Мне кажется, что это нормально вообще для человека, быть одному, закрыться, не чувствовать себя всегда и абсолютно слитым с каким-нибудь другим человеком или с людьми, даже с близкими... Мне кажется, что такое слияние даже болезненно и неестественно — вылезти из панциря, чтобы прикоснуться к любимому существу... Ничего не вышло бы, только боль и смерть мучительная...

Поэтому, ты же знаешь, мои романы были как бы... Через панцирь, да?.. Поэтому был Игорь, с ним и невозможно было без панциря, он совсем

другое животное, может, акула или огромный хищный моллюск, но в своей броне я была в безопасности, и даже сама могла... Могла постепенно поглощать его, понимаешь?.. Я видела что-то такое, по телеку, наверное, только не в панцире, конечно... Какой-то такой цветок... Он постепенно втягивал кого-то, какое-то живое... И было видно, хотя это просто огромный цветок, и шевелились как бы лепестки, но было видно, что он наслаждается... А с Сережей... С ним тоже можно было оставаться в панцире, он сам был в панцире... Это было даже приятно, соприкоснуться таким твердым, непроницаемым, и чувствовать, как все же идет навстречу, сквозь наши твердые поверхности, тепло...

А что ж муж? Ты же знаешь, Танька, как это было. Потом все постепенно сошло на нет, рассосалось. Наверное, потому, что он слишком хороший, серьезный, порядочный, благородный. А мне, ты права, нужно немножко дряни, гнили, да? Но я все понимаю, поэтому в конце концов и поступаю, как всякая нормальная баба, погуляла — и домой, поэтому и держусь так за него и вообще за семью, ты же не скажешь, что я за них не держусь. Если б не держалась так, давно уже пропала бы, тот же Игорь меня бы растерзал, уничтожил. Или еще был, до него. Конец мне был бы без мужа, и без наших старух, и без дочки, хотя, наверное, я могла бы, должна бы быть лучшей матерью, тем более женой, но я стараюсь, я держусь за них, чтобы не пропасть совсем. Это и есть моя к ним любовь.

Знаешь, я жутко расстроилась, когда узнала,

что они с Женей разошлись. Вот, думаю, останется он один, а я в семье — он и найдет какую-нибудь... свободную.

Я же ведь знаю себя... Ведь во мне есть и другое... Не давать, а взять, понимаешь меня?... Это он мне сказал, он быстро понял... Он сказал, что есть женщины, которые целуют, чтобы ласкать мужчину, а я — чтобы ласкать свои губы... Он сказал, что чувствует себя инструментом, что я им себя глажу... Я начала спорить, даже обиделась, но сразу почувствовала, что он прав... Понимаешь, это нельзя скрыть в постели... Он сказал, поэтому ты любишь быть сверху... Ты себя мною любишь, сказал он...

Вот потому и вся история с Игорем, будь он проклят, тварь. Теперь я все поняла, Танька, это мой порок, за него меня жизнь и наказывает. Он мне все объяснил, Миша, Мишенька, любимый мой, любимый, замечательный. Он сказал, что я отношусь к мужикам, как мужчины относятся к женщинам, понятно? Ну, сейчас я тебе объясню, только я уже не помню точно. Примерно так: нормальная простая баба, конечно, любит мужчину за силу, но что для нее это значит — сила? Значит, мужик лучше других в деле, ну, там, не знаю, пашет лучше, потому что здоровый, или доктор наук в двадцать пять лет, если речь об образованных идет, понимаешь? Ну вот. А я что люблю? Я красоту люблю, он сказал — ты нашего брата потребляешь, как обычный бабник вашу сестру. Фигура, глаза, ну, и так далее. Я сука, Танька.

С ним я вылезая из панциря, слышишь, Танька, он меня вытащил из панциря, я люблю его, я прикасаюсь к нему прямо голым мясом, ничем не прикрытым, больно, а он все тащит и тащит к себе, потому что у него совсем нет никакого прикрытия, он голый, ободранный, и я срастаюсь с ним, он этого и хочет, а мне больно, я сопротивляюсь, я возвращаюсь домой и притворяюсь, что уже не помню о нем, но ничего не получается, я бросаюсь звонить, а он уже пьяный, говорит с трудом, я сразу слышу, бросаю трубку, а теперь его вообще невозможно найти, что же я буду делать, я теперь тоже голая, ободранная, а его нет, и мне не к кому прислониться, прирасти, дома, мне кажется, на меня такую все смотрят с брезгливостью, и муж, и даже дочь, куда же мне теперь деваться, а его нигде нет, налей, Танюра, еще немножко, и пойдём отсюда, давай закрывать нашу лавочку, ой, подожди, я посмотрю, я забыла ключи, нет, подожди, выпьем еще немного, проклятая машина, как же теперь я поеду, Танька, позвони ему еще раз, я не могу без него. Ты же знаешь.

7

Меня нет. Понимаешь, старик? Не в том дело, что жить негде, со службы вылетел, нищенствую, трезв не бываю, не в том дело. Меня вообще нет. Теперь, когда появилось время присматриваться, прислушиваться, окончательно убедился в том, что раньше только подозревал:

не существует меня. Ничего нет и не было — ни биографии, ни ролей, ни пения, ни стихов, ни картинок, ни любовей, ни мук, ни счастья, ничего. Кому-то я уже это говорил... Если хорошенько прислушаться, сосредоточиться, получается, что даже и сейчас я не больно-то страдаю. Ну вот, смотри, сижу я с тобой на сырой лавке, в проходном каком-то дворе, собаки вокруг бегают, голуби в помойке шуруют. Рванина моя вельветово-твидовая уже попахивать начинает, на морде сквозь сидящую щетину красные шелушащиеся пятна просвечивают, руки черные. На скамейке, между нами, чтобы свой брат-бомж не спер, бутылка стоит, водка самая дешевая, уже на дне. Впрочем, лет десять-то назад только эту, дешевую-то, и пили, помнишь? Колбасы кусок и полбатона только что доели, курил «яву», дрянь, конечно, ужасная, но, опять же, недавно еще о других и не думали.

Что ж, так ли уж мне плохо? Нет, не чувствую. Свободно и спокойно, никому не должен, ни за кого не отвечаю, даже за себя. Вот и дружок мой парижский мне это советовал... Времени полно, и любая мысль додумывается до конца, и не сбиваюсь на бессмысленное «что же делать, что же делать». Нету меня — и мучений моих нету, и радости нет, а есть покой. И воля есть, то есть полная, Александр Сергеич, по-вашему, свобода. Очень бы и вам порекомендовал — вот так... глоточек... на скамеечке... и все. Были вы наше все, вот и не было счастья, а стали бы наше ничто, прости меня Бог, вот и убедились бы, что уж покой-то и воля на свете точно есть.

Добро пожаловать в бомжи, господа! Вперед, в ничто!

Пожалуйста, сержант, вот мои документы, вот, пожалуйста, член творческих союзов, ассоциаций и клубов Шорников Михаил Янович, конечно, немного выпил, но не трогаю никого, а, напротив, мирно беседую о некоторых экзистенциальных проблемах с моим новым другом, Александром Сергеичем, фамилию пока не успел узнать, временно безработным. Мне кажется, что он согласился относительно покоя и воли, а тут как раз вы. Вообще, хотел бы обратить ваше внимание, сержант, что покой и воля вполне достижимы только при отсутствии такой вещи, как совесть. Вы не согласны? Некто обещал освободить от этой химеры... Merсі, поп.

Что же, если вы считаете, что Александрю Сергеичу будет удобнее продолжить сон там, куда вы его отведете, воля ваша, господа. Однако я бы просил вас осторожнее укладывать его в автомобиль — вы, вероятно, не заметили, что он уже дважды ударился головой о дверцу и вот еще раз — об пол. Впрочем, нас бережет Бог. Прощайте, господа, как видите, я был прописан здесь, в этом именно дворе, но сейчас временно не прописан, что ж поделаешь. Уверяю вас, это временно, это недолго, в самом ближайшем будущем я вновь обрету постоянное место жительства, совершенно постоянное.

А вот это вы зря, сержант, дубинка всегда была не лучшим инструментом в отношениях власти с интеллигенцией. Собственно говоря, на протяжении всего ста лет в нашей с вами стране

с этого дважды все и начиналось, а кончалось сами знаете чем — и для власти, поверьте, это всегда будет кончаться не лучшим образом, поверьте, сержант.

Уже ухожу.

Але, это ты? Слушай, я надеюсь уложиться в три минуты, в этот раз у меня есть два жетона, но второй мне нужен для другого звонка. Слушай: прощай, опричнина и земщина, рассвет в невымытом окне, прощай, уже чужая женщина, вчера спешившая ко мне, прощай, отчизна пребывания, русскоязычная страна, прощай! Зачти мои старания, как намерения — жена, зачти попытки неудачные, да и удачные зачти, зачти все воскресенья дачные, стихи дурацкие зачти — зачти их вслух перед солдатами, которыми заполнен зал пред знаменательными датами — зачти, как сам бы зачитал: с подвывом, с горьким выражением, с дрожащей в голосе слезой... Але! Але!!

Извините, ради Бога, еще один звонок.

Добрый день. Будьте любезны попросить к телефону господина Кабакова... Привет. Узнал? Ну, удовлетворен? Горд? Все сбылось по писаному, все, как ты придумал, все основания гордиться налицо? «В то лето я почувствовал, что наконец начинаю пропадать...» Хороша была первая фраза, а? Ну, кайфуй. Хотя все равно не дотянул: последней-то не знал, правда? А вот я знаю. И ты узнаешь. Подожди немного, отдохнешь и ты. Знаешь, что я придумал? Я тебе вообще весь кайф сломаю. Во-первых, эпилог: ты здорово удивишься. Помнишь, Татьяна удрала

штуку, замуж вышла? Я еще почище придумал, так что эпилог будет крутой, не догадаешься. Но это еще не все, слушай — будет еще и пролог, понимаешь? Так что твоя первая фраза окажется совершенно проходной, ты понял, просто фраза в середине текста, причем читатель уже будет знать, что ничего не произойдет, не выйдет потвоему, понимаешь? Себя не обманешь, старый, зря ты пытался. Ты хотел преодолеть свой обязательный happy end? Ладно. Получишь счастливое начало. Знаешь, ты в последнее время вообще сильно упростился, одно траханье на уме. Климакс, старичок, ничего не поделаешь. Вот и зациклился, думал — самое главное, как кончить, извини за каламбур. А я тут пожил, благодаря твоей милости, на свободе, и понял: начинать надо сразу так, чтобы все шло к счастью. С самого начала не портить... Что?.. Слушай, перестань орать, истерик. Успокойся. Не стоит своему герою хамить. Тем более, что я-то у тебя после... Але! Але!!!

Благодарю вас. Благодарю. Спаси вас Христос. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю.

Эпилог

В проходном на четыре стороны дворе вблизи одного из московских вокзалов синим кубом стояла ночь. Однако, если бы спешащий к поздней телепередаче мирный житель пожелал сократить путь и сунулся в этот отвратительный двор, он обнаружил бы в его геометрическом центре светлое место: именно — рядом с помойными железными, на колесах, ящиками, столпившимися, словно старинные броненосцы в какой-нибудь Цусиме.

Свет давался четырьмя парами фар, направленными на место описываемого дальше действия. Свет был: от маленьких, прикрытых сверху хромированными козырьками фар «победы» последнего, модернизированного выпуска; огромных, словно медные тазы для варенья, фонарей «мерседеса» великой довоенной 530-й серии; осветительных приборов сильно битого «BMW-318»; наконец, от укрепленных на крыше джипа «мицубиси» прожекторов.

Площадка была иллюминирована прекрасно, как для киносъемок.

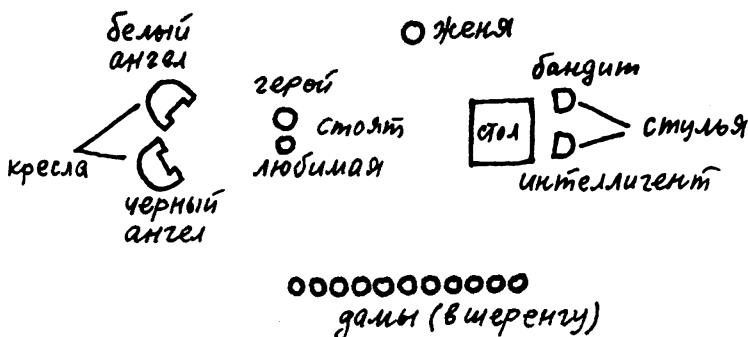
Да и декорирована соответственно.

Здесь, в квадрате помоек, уместилась вся обстановка хорошей, приятно обжитой московской культурной квартиры. Здесь стояли изодранные в бахрому кошками, многожды переоббитые новым гобеленом и снова ободранные тяжелые кресла; круглый, грубо сработанный стол, раз-

движная столешница которого, в пятнах от чайника и утюга, была скрыта гобеленовой же, базарного качества, гэдээровской скатертью; рассохшиеся «венские» стулья, но с фанерными сиденьями, гомельского производства; письменный стол, огромный, дубовый, с наклеенными резными украшениями, грязным бильярдным сукном и «пластигласом» поверх него; тумбочки, этажерочки, полочки и диван-кровати с подкашивающимися ножками и почти неработающей механикой раскладывания... Вокруг были разложены картины, картинки, фотографии в рамках, календари, перевязанные бумажными шпагатами пачки книг и пожелтевшие, обтрепанные по краям стопки древней машинописи.

Авантюрный автомобильный свет клубился в этом жилье без стен, лучи вторгались в лишенный сокрытия интерьер, как скальпели работающих в несколько рук паталогоанатомов в брюшину, открывшуюся под отвернутыми кусками кожи и синевато-багровых тонких мышц.

Персонажи расположились в мизансцене следующим образом:



С четырех сторон, как было описано, изображенное освещается автомобильными огнями.

Что же до указанных выше действующих лиц, то они были, как нетрудно догадаться, хорошими нашими знакомыми, а именно:

белый ангел, сидящий в кресле, — не кто иной, как, конечно, Григорий Исаакович, в пожелтевшей своей парусине, а что вы хотите, если уже приличному человеку негде простирнуться, слава Богу, что оружие еще можно содержать, так тоже насчет масла, где вы теперь возьмете хорошую оружейную масло, тонкую, а?

черный же ангел, естественно, Гарик Мартиросович, только галстук розовый, в инструкции же так и сказано, слушай, «О спецповедении в сюжетных коллизиях типа кульминаций, развязок и иных», занять место по фабуле и действовать по обстановке, да?

а герой — он и есть герой: элегантный, нетрезвый, благородный, влюбленный и терзающийся, рефлектирующий, но бесстрашный, весь в твиде и страстях...

ну, с любимой все ясно, волосы светятся, глаза сияют, от страсти едва заметно вздрагивает, чуть влажная кожа чуть пахнет ночными цветами, грудь напряжена, пальцы судорожно сведены, преданна и нежна...

тем более, что все зрители — исключительно дамского же пола, уже однажды представившиеся нам собственными выступлениями на регулярной международной встрече АЛЛГ (Ассоциации Любимых и Любящих Героя)... впрочем, вы эту главу наверняка помните,

но вот что касается еще двоих участников эпизода, которые здесь впервые возникают, встречаются в действие лично и непосредственно, а именно:

так называемого бандита, сильно ожиревшего мужчины, возрастом между тридцатью и пятьюдесятью, в невнятном костюме — кожа, мятая шерсть, спортивная обувь, такие же брюки, еще какая-то дрянь, с исполненным обиды, страха и зависти взглядом,

и так называемого же интеллигента, очень некрасивого, широкобедрого молодого человека, во всем модном, с выражением лица, как ни странно, таким же, как у расположившегося рядом, за столом, предыдущего господина, то есть обиженным, напуганным и завистливым,

так вот, что касается этих, то о них речь впереди.

Внимательный, как принято говорить, читатель, разумеется, понимает, что над местом действия находится еще один его участник, уже не однажды появлявшийся, — тот, кто позаботился и о рождении, и о дальнейшем выживании героя, возникавший всегда вовремя и в нужном месте, то черный, то белый, объединяющий, таким образом, приметы обоих своих подчиненных, хранящих героя, — ну, не будем повторяться, здесь он, здесь, только показан быть не может, поскольку как бы парит над нашим рисунком.

Ну, и тот же внимательный читатель, понятное дело, ожидает, что еще выше повис, при-

стально следя за происходящим, неоднократно обруганный героем автор. Тут уж не до обид, когда судьба близкого человека решается, правильно?

Теперь дадим, наконец, для полного прояснения всего случившегося, каждому высказаться.

Бандит (высоким, плохо модулированным хамским голосом): — Все, понял? Пожили в квартирках, потрахались с бабами красивыми, хорэ. Дайте людям пожить, еврейчики. Чтобы справедливо все, понял, чтобы честно, без блядства вашего еврейского. Кому вас надо? Давай, доходи быстрее со своей сучкой, менты приберут. Братаны в хате твоей европейский ремонт заделали, понял, все красиво будет. Порядок, чисто, музыка, ну? Все, гасить вас будем, лысых, очкастых, черных, всех. Гасить! Гасить!!! В асфальт, в асфальт, в асфальт, сука! Чтоб не дышал, не дышал (заходится, сползает со стула, опрокидывает стол), не-е дыша-а-ал!!

Белый ангел (выложив на колено пистолет «Desert Eagle, Israel Military Industries, 375 magnum»): — Когда человек уже такой паскудный, что сам себе задыхается со своего паскудства, так его таки надо бояться. Это ж не человек уже, а все равно что тот хитлер, я вам говорю как пожилой человек...

Интеллигент (закинув ногу на ногу, слегка улыбаясь): — Вот еще одно, пусть мелкое, подтверждение того, что гуманизм отжил свое и умер. Человек зол, и если мы хотим, что-

бы искусство пережило гуманистическую иллюзию, мы должны раз и навсегда удалить эстетику от этики. Красота зла — вот что...

Черный ангел (поправляя галстук и подмышечную кобуру, перебивает): — Ну, так тоже нельзя, слушай, ты человек, да? Ты меня за человека считаешь, да?

Дамы (хором, некоторые со слезами): — Это ужас, ужас просто! Оставьте его, оставьте, у него гастрит, печень, аллергии, у него сон расстроен, пусть уж лучше с ней, она все равно его бросит, пусть, только бы живой, только бы живой...

Женя (отворачиваясь): — Да, пусть живой... Пусть предает, но будет жив... Живой... (уходит).

Любимая (кладет руку на грудь героя, справа, чуть ниже плеча): — Я люблю тебя.

Герой (плача, некрасиво кривя лицо — брови лезут вверх): — Выходи за меня замуж, выходи, ну их всех, пойдем отсюда, ты согласна ведь бродяжничать, на старости лет без дома, без ничего, в бедности, в неудобствах, ты же ведь согласна, правда, выходи за меня замуж, бросим их всех, идем, позвони всем, что ты уходишь, позвони и выходи за меня замуж (плачет в голос), выходи за меня замуж, любимая, пожалуйста, пожалуйста!

Тот, что над сценой (невидимый): — Ладно, ладно, хватит... Главное — жив. Я свое дело сделал, а дальше уж сами, господа, сами... Будьте счастливы, прощайте.

Тот, что еще выше (автор, имя редакции известно): — Да, да, будьте счастливы! Ох, бедные вы мои... Ну, идите. С Богом, ребята. С Богом.

К о н е ц

июнь 1994 — май 1995

АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ КАБАКОВ
Последний герой

Редактор А. С. Захаренко.
Художественный редактор Ю. В. Архангельский.
Технолог Е. Д. Бычкова.
Оператор компьютерной верстки А. В. Дюпин.
Зав. корректорской А. Ю. Минаева.
Зам. зав. корректорской Н. Ш. Таласбаева.
Корректоры В. А. Жечков, С. Ф. Лисовский.

Издательская лицензия № 061 053 от 15 апреля 1992 года.
Подписано в печать 22.01.96. Формат 60 × 90/16. Гарнитура Литературная.
Печать офсетная. Объем 22 печ. л. Тираж 10 000 экз. Изд № 216. Заказ № 2021
Издательство «ВАГРИУС». 103064, Москва, ул. Казакова, 18.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии
"Первая Образцовая типография"
Комитета Российской Федерации по печати.
113054, Москва, Валовая, 28.

Книги издательства "ВАГРИУС" вы можете приобрести
в московских магазинах "Москва", "Столица",
"Библио-Глобус", "Молодая гвардия",
на территории ВВЦ (б. ВДНХ).

По вопросам оптовых закупок обращаться
к эксклюзивному дистрибьютеру
издательства в "Клуб 36,6" телефоны:
Офис: (095) 261-24-90, 265-86-94
тел./факс: (095) 265-13-05
только для московских абонентов: 265-81-93, 265-20-38
крупнооптовый склад: (095) 523-92-63, 523-11-10
магазин и ассортиментный склад: (095) 230-89-00, 230-88-63
тел./факс: 237-36-11

Для переписки и заказов книг по почте:
107078, Москва, а/я 245, "Клуб 36,6"

В других городах обращайтесь к нашим
региональным представителям:

в Екатеринбурге:

ТОО "У-ФАКТОРИЯ" (3432) 22-25-53

ТОО "ЛЮМНА" (3432) 44-26-57

в Иркутске:

Бибколлектор (3952) 23-55-26

в Казани:

представительство "АСТ-ПРЕСС" (8432) 53-35-63,
37-26-09

в Киеве:

фирма "КИМО" (044) 219-49-87

в Новосибирске:

АОЗТ "ТОП-КНИГА" (3832) 39-63-60, 20-29-07

в Омске:

ПКП "ПРИНТ" (3812) 33-05-14

в Перми:

ТОО "ТИГР" (3422) 44-73-54

в Ростове-на-Дону:

ТОО "ЭМИС" (8632) 65-40-04

в Санкт-Петербурге:

ТОО "НЕВСКАЯ КНИГА" (812) 567-47-55, 567-53-30

в Сочи:

АОЗТ ТД "ОТКРЫТАЯ КНИГА" (8622) 997-81-93

в Твери:

ТОО "ОПТКНИГА" (0822) 41-14-26

в Тольятти:

АОЗТ "ЛАДА МАКОМ КОРПОРЕЙШН" (8469) 39-05-28

Маститый журналист Александр Кабаков проснулся знаменитым в одно прекрасное утро 1989 года – после выхода повести „Невозвращенец“, которая сразу вывела его в первые ряды российских писателей. Затем последовали „Сочинитель“, „Самозванец“, „Подход Кристаповича“...

Читатели Кабакова не только ценят его талант литератора, но и не сомневаются в его экстрасенсорных способностях – уже не раз автору удавалось почти безошибочно предсказать будущее нашей страны. Проза Александра Кабакова похожа на сон – она фантастична и в то же время реальна, легко узнаваемая действительность уживается в ней с самой необузданной фантазией. В „Последнем герое“ органично сочетаются мучительные раздумья интеллигента и светский „стеб“ столичного бомонда; разрывающая душу тоска по Любви и утомленная ирония многознающего ловеласа. Прибавьте остроту мысли и изысканный стиль, и перед Вами – последний роман Александра Кабакова.

